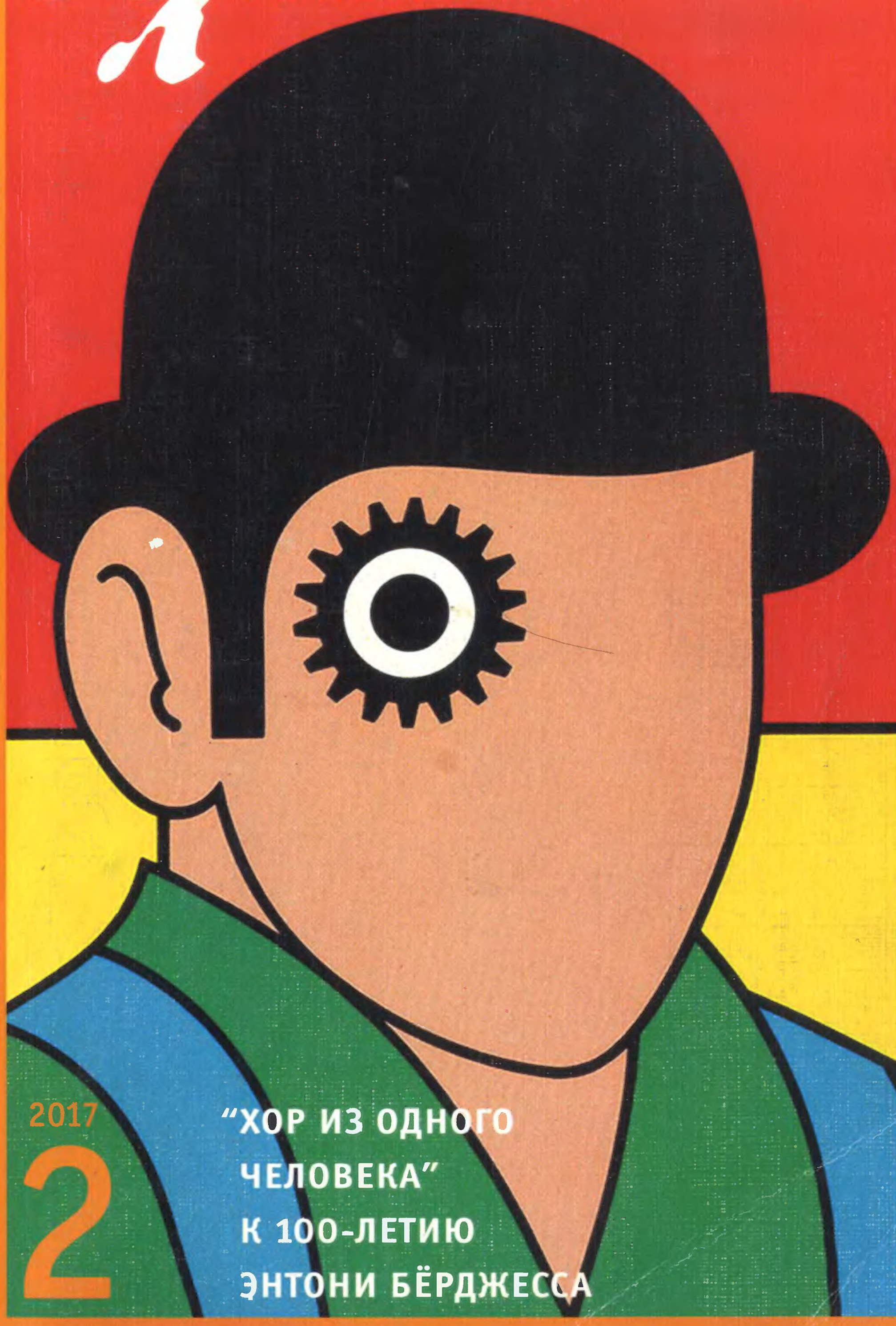
ISSN 0130-6545

16+

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



2017

2

“ХОР ИЗ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА”

К 100-ЛЕТИЮ ЭНТОНИ БЁРДЖЕССА

Основан в 1955 году

ИМЕНА ЛАУРЕАТОВ НАШИХ ЕЖЕГОДНЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЙ ЗА 2016 ГОД

Премия ***ИЛлюминатор***
присуждена
Геннадию Киселеву
за перевод романа ЭМАНУЭЛЕ ТРЕВИ *Кое-что из написанного*

Премия ***Инолит***
присуждена
Ольге Кулагиной
за перевод романов
ХОРХЕ ИБАРГУЭНГОЙТИА *Мертвые девушки*,
АНДРЕСА НЕУМАНА *Бариloче*,
ЭВЕЛИО РОСЕРО *Благотворительные обеды*
и рассказов ОЛГРЕНА НЕЛЬСОНА

Премия ***Инолиттл***
присуждена
Дмитрию Иванову
за эссе *Портрет господина У. Х.*
и
перевод фрагмента книги КЛАЙВА СТЕЙПЛЗА ЛЬЮИСА
Английская литература XVII века, за исключением драмы

Премия **имени С. К. Апта**
присуждена
Дарье Андреевой
за перевод рассказа ШУЛЬЦА ТОРСТЕНА *На роликах*

Премия **имени А. М. Зверева**
присуждена
Александру Пумпянскому
за статью *Тайна пересмешника. Подвиг и преступление Харпер Ли*

Почетный ***диплом критики зоИЛ***
присужден
Ксении Старосельской
за перевод
повести Ежи Пильха “Зуза, или Время воздержания”
и
документальной книги Ханны Кралль “К востоку от Арбата”

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[2]
2017

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

Хор из одного человека
К 100-летию Энтони Бёрджесса

Составитель номера – Николай Мельников

3 Николай Мельников *В тени "Заводного апельсина".*

11 Энтони Бёрджесс *Право на ответ.* Роман. Перевод Елены Калявиной

120 Энтони Бёрджесс *Встреча в Вальядолиде.* Рассказ. Перевод Александра Авербуха

Документальная проза

138 Энтони Бёрджесс *Твое время прошло.* Фрагмент автобиографии. Перевод Валерии Бернацкой

Статьи, эссе

203 Энтони Бёрджесс *Успех. Британский характер.* Перевод В. Голышева. *Джеймс Джойс: пятьдесят лет спустя.* Перевод Анны Курт

Интервью

217 *"Исследуя закоулки сознания".* Интервью Энтони Бёрджесса Джону Каллинэну. Перевод Светланы Силаковой

Писатель
в зеркале критики

251 Грэнвилл Хикс *Изобильный мир Энтони Бёрджесса.* Перевод Николая Мельникова

258 Питер Акройд *Какофония.* Перевод Николая Мельникова

259 Мартин Эмис *Бёрджесс в наилучшем виде.* Перевод Николая Мельникова

262 Пол Теру *Шедевр Бёрджесса.* Перевод Николая Мельникова

266 Анатоль Бруайар *Троекратный конец невинности.* Перевод Николая Мельникова

268 Гор Видал *Почему я на восемь лет моложе Энтони Бёрджесса.* Перевод Валерии Бернацкой

Среди книг
с Энтони Бёрджессом

278 *Козлиный мессия.* Перевод Анны Курт

280 *Произносится Vla-DEEM-ear Nah-BOAK-off.* Перевод Анны Курт

283 *Дурные сны Уильяма Берроуза.* Перевод Анны Курт

Авторы номера

286

© "Иностранная литература", 2017

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

До 1943 г. журнал выходил под названиями "Вестник иностранной литературы", "Литература мировой революции", "Интернациональная литература". С 1955 года – "Иностранная литература".

Главный редактор

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская

Н. Г. Мельников

К. Я. Старосельская

Общественный редакционный совет:

Л. Г. Беспалова

А. Г. Битов

Н. А. Богомолова

Е. А. Бунимович

Т. Д. Венедиктова

А. А. Генис

В. П. Голышев

Ю. П. Гусев

С. Н. Зенкин

Вяч. Вс. Иванов

Г. М. Кружков

А. В. Михеев

М. Л. Рудницкий

М. Л. Салганик

И. С. Смирнов

Е. М. Солонович

Б. Н. Хлебников

Г. Ш. Чхартишвили

Международный совет:

Ван Мэн

Матей Вишнек

Януш Гловацкий

Милан Кундера

Ананта Мурти

Кэндзабуро Оэ

Роберт Чандлер

Ханс Магнус Энценсбергер

Редакция :

С. М. Гандлевский

К. А. Жолудева

Е. Д. Кузнецова

М. С. Соколова

Л. Г. Харлап

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Николай Мельников

В *тени "Заводного апельсина"*

Энтони Бёрджесс (полное имя Джон Энтони Бёрджесс Уилсон) — один из тех английских писателей XX столетия, которому не только посчастливилось при жизни добиться мировой известности, но и удалось после смерти выйти за пределы своей эпохи и закрепиться в литературном каноне. Правда, своей посмертной славой он обязан одному-единственному роману — точнее, его скандальной экранизации, благодаря которой в сознании широкой публики намертво засела нехитрая формула: "Энтони Бёрджесс = 'Заводной апельсин'". Не будет преувеличением сказать: именно эта формула до сих определяет восприятие писателя в России — несмотря на то что, начиная с перестроечных времен, его романы довольно бойко издаются и переиздаются. Казалось бы, отечественным поклонникам Бёрджесса грех жаловаться: к настоящему времени в их распоряжении русские версии примерно половины его романов, причем некоторые переведены дважды — в частности, "Inside Mr Enderby" (1960)[1], "Honey for the Bears" (1963)[2], "Nothing Like the Sun. A Story of Shakespeare's Love-Life" (1964)[3], "MF" (1972)[4], — а зловещая антиутопия "The Wanting Seed" (1962)[5] и знаменитый "Апельсин" так и вовсе — трижды.

Правда, с переводами и переперевода́ми на русский бёрджессовским романам далеко не всегда везло: стараниями иных умельцев словесная парча "английского Набокова" перерабатывалась в дерюжку. Вспомним, как топорно один из переводчиков бёрджессовского шедевра передал специально изобретенный для романа язык nadsat — причудливую русско-английскую амальгаму, в которой сплавлены кокни и жаргон советских стиляг. Замена ядреных авторских неологизмов и загадочных для английского читателя русизмов на банальные американизмы ("мэн", "фейс", "мани" и проч.), которыми в восьмидесятые годы пробавлялись советские неформалы, превратила изысканный макаронический коктейль в убогую бормотуху. Да и сам перевод был сделан по кастрированному американскому изданию, исказившему авторский замысел: в нем отсутствовала заключительная двадцать первая глава, в которой лихой бёрджессовский головорез, уставший от бессмысленно-

© Николай Мельников, 2017

1. Мистер Эндерби изнутри / Пер. Е. В. Нетесовой. — М.: Центрполиграф, 2002; Мистер Эндерби. Взгляд изнутри / Пер. А. Комаринец. — М.: АСТ, 2016.
2. Мед для медведей / Пер. А. Фроловой — М.: Центрполиграф, 2002; Клюква для медведей / Пер. Е. Цыпина. — СПб.: Симпозиум, 2002.
3. Влюбленный Шекспир / Пер. В. Коршунова. — М.: Центрполиграф, 2001; Влюбленный Шекспир / Пер. А. Комаринец. — М.: АСТ, 2014.
4. МФ / Пер. Е. В. Нетесовой. — М.: Центрполиграф, 2002; МФ / Пер. Т. Покидаевой. — М.: АСТ, 2013.
5. Сумасшедшее семя / Пер. Е. В. Нетесовой. — М.: Центрполиграф, 2002; Семя желания / Пер. А. Комаринец. — М.: АСТ, 2015 (плюс неоднократно переиздававшийся перевод Н. Калинина "Вожделеющее семя").

го насилия и "старого-доброго sunn-vynn", начинает переосмыслять свою жизнь. А ведь именно эта глава, по мнению автора, "приближает роман к настоящей художественной литературе, к искусству, основанному на том принципе, что человеческие характеры склонны меняться".

Пострадали при русификации и беллетризованные жизнеописания двух гениев английской литературы, Шекспира и Марло, составившие своего рода "елизаветинскую дилогию". С романом о "сладостном Лебеде Эйвона" обошлись особенно бесцеремонно. В обоих переводах (центрполиграфовском А. Коршунова и АСТ-эшном А. Комаринец) поэтичное заглавие, представляющее собой цитату из 130 сонета ("My mistress' eyes are nothing like the sun..."), заменено на киношное "Влюбленный Шекспир" (хотя голливудская мелодрама не имеет ничего общего с книгой), а в первом, уж не знаю почему, заодно избавились от эпиграфа (первый катрен упомянутого сонета), от посвящения английскому прозаику Ч. П. Сноу и его супруге, писательнице Памеле Хэнсфорд Джонсон, а заодно — и от предисловия повествователя, в котором тот представлен пьянчугой-лектором, просвещающим малайских студентов.

Изданный посмертно, "Мертвец в Дептфорде" (1993) снискал похвалы англоязычных критиков за изысканный язык, тонко и ненавязчиво имитирующий стиль елизаветинской эпохи. Счастливо избежав произвольных сокращений и переименований, при переводе на русский лебединая песнь Бёрджесса, тем не менее, зазвучала фальшиво — из-за стилистических корявостей, вроде "Переезд королевы шотландцев и ее насильственная смерть *были приведены в исполнение* [курсив мой. — *Н. М.*] ее царственной соперницей" (с. 128)[1], или: "Он [памфлет Робина Грина] продается на *сейле* около собора Святого Павла" (с. 205), а также из-за нелепых анахронизмов и фактических ошибок, говорящих о том, что переводчица имела весьма смутное представление об описываемой эпохе. Например, после уличной потасовки, во время которой Марло и его друг Том Уотсон убивают своего обидчика, к ним подходит констебль "с двумя *полицейскими*, которые обнажили свои топорики, приготовившись подавлять бунт" (с. 238)[2]. (Напомню: время действия — восьмидесятые-девяностые годы XVI века, до основания муниципальной полиции Лондона Робертом Пилем (в 1829 году) остается двести с лишним лет; до этого времени поимкой преступников занимались предприимчивые частники, так называемые "охотники на воров".)

Фразу "...one led Kyd manacled" переводчица передает так: "...один из них повел Кида, *закованного в наручники*" (с. 328), не делая разницы между ручными кандалами (в которые и могли заковать арестанта XVI века) и относительно поздно (в начале прошлого века) изобретенными наручниками-браслетами.

Дуэ (Douai), город во Фландрии, во времена религиозных гонений ставший прибежищем английских католиков, она переименовывает в

1. Здесь и далее перевод романа цит. по изданию: Э. Бёрджесс. Мертвец в Дептфорде / Пер. Л. Ильковской. — М.: АСТ, 2015.
2. В оригинале: "Stephen Wyld, a decent small man that was constable of the precinct, had come **with his two men** with their bare bills for the quelling of riot" (Burgess A. A Dead Man in Deptford. — L.: Hutchinson, 1993, p. 168).

"Дьюи" (с. 43). Луи де Можирона, фаворита Генриха III, участника знаменитой "дуэли миньонов" и эпизодического персонажа трагедии Марло "Парижская резня", дважды обзывает Мерджроуном (с. 236).

Но самый забавный ляпсус, вопреки воле автора окрашивающий рассказ о трагической судьбе великого поэта в абсурдистско-комические тона, находим на 153-й странице, где Кристоферу Марло, ставшему шпионом всесильного Фрэнсиса Уолсингема, поручают встретиться с агентом Тайного совета в Голландии: "...он узнает вас. Он следил за вами во время вашей пьянки с мерзким Фоску и его бандой. Когда увидите его лицо, вспомните. Молодой человек, серьезный, однако ходит по тавернам и прогуливается вдоль берега моря. Он *встречает пароходы из Англии* и найдет вас"[1]. (До успешного испытания "Пироскафа" маркизом д'Аббаном — ровно двести лет! И вообще, **прекратите отсебятину! Во времена Шекспира не было сигарет "Друг"! Не было!!!**)

Стоит ли удивляться, что подобные переложения не вызвали особого интереса и не смогли укрепить репутацию Энтони Бёрджесса среди российских читателей? К тому же перевода удостаивались далеко не самые удачные его вещи, вроде никчемного пересказа Нового завета — романа "Человек из Назарета" (1979), переделанного из сценария к телефильму Франко Дзеффирелли, или "Трепета намерения" (1966), травестийной бондианы с механически пристегнутыми "философскими" разговорами о Добре и Зле.

Энтони Бёрджесс — позвольте уж говорить начистоту, без юбилейного елея! — из тех писателей, кто проигрывает в "Полном собрании сочинений" и выигрывает в "Избранном". Взыскательный художник и словесный виртуоз, по-джойсовски смело экспериментировавший с языком и романной формой, состязался в нем с беллетристом-попсовиком, ловким ремесленником, эксплуатирующим сюжетные схемы и штампы массовой беллетристики. Увы, последний порой одерживал верх. Подобно удачливому поставщику развлекательного чтива Кеннету Туми, протагонисту романа "Силы земные" (1980), Бёрджессу приходилось "жертвовать талантом ради весьма сомнительного творчества, но очень прибыльного ремесла". Особенно часто — в поздний период писательской карьеры, когда он наладил безотходное производство, переделывая киносценарии в романы, а романы писал как киносценарии: минимум описаний и авторских комментариев, скупо намеченные мизансцены и — диалоги, диалоги, диалоги... (Как тут не вспомнить его футурологическое эссе 1970 года, в котором он предсказывал, что роман XXI века будет "весьма похож на сценарий фильма", и обещал заняться написанием именно таких романов[2].)

И все же в высшей степени несправедливо приклеивать к одному из самых плодовитых и разносторонних писателей XX столетия ярлык homo unius libri, автора одной книги, затмившей все остальное творчество. Не "Апельси-

1. В оригинале: "...A young grave man that yet frequents *taverns* and walks the waterfront. He awaits **English ships**, he will find you" (Op. cit., p. 104).
2. Burgess A. The Novel in 2000 A. D. // New York Times Book Review, 1970, March 29, p. 2.

ном" единым жив читатель, не ленивый и любопытный... Ведь "остальное творчество" Бёрджесса — это, ни много ни мало, тридцать романов, двухтомная автобиография, сборник малой прозы (рассказы плюс историческая повесть об Атилле "Гунн"), десяток литературоведческих книг (в том числе монографий о Шекспире, Джойсе, Д. Г. Лоуренсе, Хемингуэе), несколько сборников эссе, критических статей и рецензий (стоит ли пояснять, что они включают лишь малую толику литературно-критической продукции сверхплодовитого автора: бльшая часть остается разбросанной в англоязычной периодике). И еще — посмертно изданные поэма "Бирн" (1995) и поэтический сборник "Революционные сонеты и другие стихи" (2002), а также сценарии, оперные либретто. И, разумеется, симфонии, джазовые пьесы, концерты для разных музыкальных инструментов, мюзиклы (не будем забывать, что и до того, как всерьез заняться литературой, и после завоевания мировой известности Бёрджесс мечтал о славе композитора).

О достоинствах Бёрджесса-композитора пусть судят музыковеды. Я же непоколебимо уверен в том, что среди неисчерпаемых залежей его литературных произведений можно отобрать немало вещей, которые по своим художественным достоинствам ничуть не уступают прославленному бестселлеру.

* * *

В качестве беллетристического "паровоза" номера вашему вниманию предлагается одно из таких сочинений, роман "Право на ответ" (1960), относящийся к наиболее продуктивному периоду творчества Энтони Бёрджесса — конец пятидесятых-первая половина шестидесятых — времени, когда он создал лучшие свои произведения. Стимулом стал безжалостный приговор врачей, предсказавших ему скорую смерть от неоперабельной опухоли мозга. Вместо того чтобы впасть в ступор и предаваться отчаянию, он принялся с утроенной энергией строчить роман за романом, дабы обеспечить своей непутевой алкоголичке-жене безбедное существование.

Кстати, именно первая жена Бёрджесса, Линн, подсказала ему фабулу "Права на ответ". Во время войны она знала две супружеские пары, распавшиеся из-за того, что уставшие от семейной рутины мужья решили оживить сексуальную жизнь и на время поменялись женами. Игры с обменом супругами закончились печально: один из экспериментаторов с новой "женой" не сошелся, а к старой вернуться не смог — ее сердце занял приятель; в результате бедолага покончил с собой[1].

Адюльтерная история, пригодная для махровой мелодрамы, послужила Бёрджессу отправной точкой для создания "черной комедии", по тональности и манере повествования родственной "нигилистической дилогии" раннего Джона Барта. Так же как и в "Плавучей опере" (1956) и "Конце пути" (1958), рассказ здесь ведется от лица разочарованного в жизни аутсайдера — средней руки бизнесмена-экспатрианта, мотающегося по миру в поис-

1. Burgess A. Little Wilson and Big God. — N. Y.: Vintage, 2012, p. 438.

ках теплого местечка и бывающего на родине лишь наездами. Глазами циничного, наблюдательного мизантропа-рассказчика, воспринимающего свою отчизну как зловонную клоаку и враждебно-отстраненно взирающего на своих сограждан, показано сытое убожество провинциального городка Средней Англии и растительный образ жизни его обитателей, загипнотизированных телевидением и одурманенных алкоголем:

"Выпивка, выпивка, выпивка, телевизор, кино. О боже, какая скука. Дай мне изменить место действия, дай мне добраться до Лондона. А что в Лондоне? Выпивка, ланч, выпивка, обед..."[1]

(В общем, картина в духе "Шангри-Ла", бессмертного шедевра "Кинкс". Любители рок-музыки поймут аналогию. Ну-ка, подпевайте, друзья!

...Life ain't so happy in your little Shangri-la

Shangri-la, Shangri-la la-la-la-la-la-la-la-la-la...)

Выдержанный в традициях социально-бытовой сатиры, этот, пожалуй, самый английский роман Бёрджесса, интересен не только тем, что в запечатлел Британию начала шестидесятых, эпохи зарождающегося "общества потребления" и воцарения массовой культуры, но и тем, что затрагивает ныне сверхактуальную тему непростых взаимоотношений европейцев с иммигрантами, "понаехавших" в метрополию из бывших колоний и протекторатов. В неспешном, почти бессюжетном повествовании постепенно намечается и вызревает конфликт, в котором переплетаются культурные, межэтнические, мировоззренческие противоречия. К концу романа атмосфера сгущается, нагнетается и, наконец, разражается катастрофа, заставляющая вспомнить о кровавых финалах шекспировских трагедий. (Неслучайно в рассказ вплетается шекспировская тема, позволяющая ярче высветить пошлость современности: один из персонажей, скуповатый и невежественный бармен Тед Арден, считается дальним родственником Барда по материнской линии.)

Под влиянием трагических событий переосмысляет свою жизнь и герой-повествователь: маска циничного и самодовольного брюзги спадает, обнажая лицо беспросветно одинокого человека, не чуждого состраданию и лелеющего хрупкую мечту о счастье взаимной любви.

Впрочем, воздержусь от детального анализа и подробного пересказа — это напрочь убьет удовольствие от чтения. Наберитесь терпения, дождитесь мартовского номера с окончанием романа — тогда сами все увидите и поймете. Уверен, что и "Право на ответ", равно как и более поздний рассказ "Встреча в Вальядолиде", в котором описана вымышленная встреча двух литературных гигантов, Сервантеса и Шекспира, не уронят в ваших глазах репутацию Бёрджесса-прозаика.

* * *

Составляя тематический номер, которым редакция "Иностранки" решила отметить столетний юбилей писателя, я придерживался принципа: как можно меньше уделяя внимание его скандальному шедевру, как можно более полно

1. Перевод Е. Калявиной.

представить те аспекты его творчества, которые до сих пор незаслуженно находятся в тени "Заводного апельсина". Ведь Бёрджесс — этот человек-оркестр, хор из одного человека, литературный перпетуум-мобиле, в течение тридцати лет вырабатывавший ежедневную норму в две тысячи слов, — способен заполнить практически все рубрики журнала. И как критик и эссеист герой нашего фестшрифта не менее интересен, чем романист. Пусть он считал себя исключительно романистом и о своей критической деятельности отзывался пренебрежительно — "Критикой или рецензированием занимаешься, чтобы провести время и платить за газ. Для меня это не профессия"[1], — его лучшим критическим статьям не откажешь в остроумии и проницательности. Недаром же в апреле 1979 года писатель получил "из изящных, но могущественных рук самой миссис Тэтчер" чек в 200 фунтов и диплом "Критик года"!

Вот почему добрая половина номера отдана различным жанрам документальной литературы, где явственно запечатлелись житейские воззрения юбиляра, его литературные пристрастия и взгляды на искусство: во-первых, эссе, в которых он рассуждает на темы, видимо, волновавшие его всю жизнь (национальный характер британцев и феномен успеха) и со знанием дела анализирует творчество своего любимого автора, Джойса (ему он посвятил в общей сложности шесть книг); во-вторых, критические статьи об именитых современниках — Владимире Набокове, Джоне Барте, Уильяме Берроузе; в-третьих, интервью, в котором наряду с откровенно эпатажными "твердыми суждениями" в духе монтрейского небожителя — "Хемингуэй — великий романист, по-моему, но он так и не написал ни одного великого романа..."; "Я презираю все, что явно эфемерно, но подается, словно непреходящая ценность. Например, 'Битлз'..."; "Я искренне считаю, что Америке следует сделаться монархией..." — рассыпан бисер тонких замечаний о собратьях по перу, а также даются ценные сведения о творческих планах, нереализованных замыслах, рабочем графике и прочих особенностях писательской кухни.

Особое место в подборке бёрджессовской нон-фикшн занимает фрагмент автобиографии, точнее, "исповеди" — именно так обозначил жанр своего двухтомного сочинения сам автор. Характерно, что из всех литературных произведений корифея английской прозы только оно и удостоилось награды: в 1988 году первая часть "исповеди", "Маленький Уилсон и большой Бог", несмотря на разноречивые отклики в англоязычной прессе, получила от британского ПЕН-клуба премию имени Дж. Р. Экерли. На мой взгляд, вполне заслуженно.

Читается "исповедь" на одном дыхании, как пикарескный роман. Вместе с непоседливым и неутомимым героем-повествователем мы странствуем по миру: из Манчестера попадаем на Гибралтар, где пережидаем Вторую мировую войну; далее — преподавательская рутина в колледже Банбери (Оксфордшир), от которой сбегаем в солнечную Малайю и еще дальше — в Бруней; затем возвращаемся на брега Туманного Альбиона, где переезжаем из одного провинциального городка в другой (Хов—Этчингем—Чизик); попутно делаем вылазку в страну победившего социализма, в колыбель трех рево-

1. Перевод В. Голышева.

люций (думаю, что наших читателей особенно заинтересует рассказ о развеселой туристической поездке Бёрджесса в Ленинград, которая вдохновила его на создание двух романов: "Мед для медведей" и "Заводной апельсин": как раз после общения с питерскими стилягами наш словесный ювелир и придумал "странный говор" nadsat, на котором изъясняется его обаятельный головорез Алекс); затем на некоторое время оседаем в Лондоне; под давлением непомерных налогов эмигрируем из Англии на Мальту; после реквизиции дома перебираемся в Италию; из-за угроз мафии бежим и оттуда; на автофургоне "Бедфор дормобиль" колесим по Европе; на два года улетаем в Соединенные Штаты и, наконец, поселяемся в Монако. Во время этих скитаний перед нашими глазами предстает пестрая человеческая фауна, представители самых разных национальностей, социальных слоев и профессий: университетские преподаватели и студенты, военные, чиновники, издатели, литературные агенты, писатели, режиссеры, продюсеры и проч., и проч.

Привлекая своей событийной насыщенностью и сюжетной занимательностью, "исповедь" отличается и предельной степенью самораскрытия автора. В англоязычной, да, пожалуй, и в мировой литературе второй половины XX века автобиографическая книга Энтони Бёрджесса — единственная в своем роде по беспримерной откровенности автора, не боящегося выставлять себя в дурном свете, делающего общим достоянием свои психологические травмы, разочарования, комплексы, а также самые сокровенные подробности физиологической жизни. В том числе и многочисленные эротические эскапады (за что один из рецензентов насмешливо назвал автора "Дон Жуаном из Манчестера"[1]). Опровергая расхожее мнение о скрытности и лицемерии англичан, Бёрджесс честно признается в своих прегрешениях (пьянство, внебрачные связи и проч.), подробно повествует о неудачах и унижениях на тернистом пути профессионального литератора.

Автобиографическая дилогия Бёрджесса, охватывающая почти весь XX век, значима и как перворазрядный человеческий документ, и как памятник ушедшей эпохе — ценный исторический источник, из которого можно почерпнуть немало любопытного о социально-бытовом укладе и нравах английского среднего класса, об образе жизни колониальных чиновников накануне распада Британской империи (Бёрджесс около шести лет преподавал в колледжах Малайи и Брунея), наконец, о механизмах книжного рынка и волчьих законах литературного мира, беспощадного к новичку, ибо массовый читатель ищет в книгах не высокое искусство, а "секс, насилие и достоверную информацию", издатели и литературных агенты "помешаны на деньгах" — "ходкий товар они ставят выше произведений высокой художественной ценности", а критики пристрастны и придирчивы.

Начиная с первых глав второго тома "исповеди" (именно они выбраны для юбилейного номера), автор ведет тяжбу с кровожадным племенем критиков, которые "мстительны по самой природе", и с мазохистским сладострастием цитирует ругательные отзывы о своих сочинениях, порой признавая

1. Lewis R. A Don Giovanni burning with resentment // Spectator, 1987, № 8277 (February 28), p. 30.

правоту зоилов, порой оправдываясь и нейтрализуя их упреки. "Лучше, чем кто-либо, я знал, что книга [роман "Наполеоновская симфония" (1974). — *Н. М.*] неудачна — точно так же, как на более высоком уровне неудачей были "Поминки по Финнегану", но ведь искусство не может развиваться без того, чтобы кто-то время от времени не рисковал потерпеть фиаско"[1], — так болезненно, спустя шестнадцать лет после выхода экспериментального романа, чья композиция имитирует "Героическую симфонию", Бёрджесс вспоминает о том холодном приеме, которым удостоили его детище рецензенты.

Писатели — существа капризные, ранимые и себялюбивые. Сами нередко выступая в роли въедливых критиков, от других они требуют если не безоговорочного признания и обожания, то как минимум — "всеобъемлющей доброжелательности" (цитирую рассуждения Уильяма Сомерсета Моэма об идеальном критике из его книги "Подводя итоги")[2]. Создатель "Заводного апельсина" и "Наполеоновской симфонии" не был исключением из правил.

Получить представление о том, как непросто юбиляру приходилось на пути к успеху, сколь неоднозначной была его писательская репутация и как непросто складывались его отношения с соседями по "Граб-стрит", можно не только из выбранных для публикации глав "исповеди": заключительный раздел фестшрифта "Писатель в зеркале критики" контрапунктом дополняет и развивает эту, столь значимую для автора тему.

Из одной только англоязычной бёрджессианы можно составить целую библиотеку литературно-критических сборников, но журнальные объемы, как известно, ограничены. Посему в относительно небольшую критическую подборку, вопреки благодушной юбилейной традиции, составленную по принципу pro et contra (как говаривал Вольтер, о мертвых либо ничего, либо правду!), вошли наиболее репрезентативные прижизненные статьи о Бёрджессе — главным образом, рецензии на еще не переведенные произведения. (Большинство авторов — "братья-писатели", причем не из последних: Питер Акройд, Гор Видал, Пол Теру, Мартин Эмис). Возможно, хвалебные и ругательные статьи англо-американских критиков, да и другие материалы номера, помогут будущим исследователям Энтони Бёрджесса лучше сориентироваться в его фантастически многообразном и неравноценном творческом наследии. Возможно, заинтересуют его потенциальных издателей, переводчиков и, главное, читателей.

Если так и будет, и талантливый художник наконец-то выйдет из тени своего opus magnum, то составитель, и все, кто работал над специальным бёрджессовским номером, сочтут свои труды ненапрасными.

1. Burgess A. You've Had Your Time. — L.: Heinemann, 1990, p. 296.
2. Моэм У. С. Избранное. — М.: Радуга. — С. 492.

Энтони Бёрджесс

Право на ответ

Роман

Перевод Елены Калявиной

Глава 1

Я рассказываю эту историю по большей части ради собственного блага. Мне самому хочется уяснить природу того дерьма, в котором, похоже, пребывает множество людей в наши дни. Мне не хватает интеллектуальной оснастки, опыта, и я не владею терминологией в достаточной степени, чтобы сказать — социальное ли это дерьмо, религиозное оно или нравственное, но его присутствие несомненно — присутствие в Англии и, по всей видимости, на "кельтской окраине", по всей Европе, да и в Америке тоже. Я способен унюхать смрад этой клоаки, в отличие от тех, кто никогда не эмигрировал из нее, — тех добрых человечков, которые при своих телеящиках, забастовках, футбольных тотализаторах и "Дейли миррор" обладают всем, что их душе угодно, за исключением смерти, — поскольку я всего четыре месяца провожу в Англии, теперь каждые два года, и всякий раз зловоние бьет мне в нос, распространяясь в теплом воздухе, сразу после приземления и недель шесть после того. Затем помалу гнилостный дух ползет вверх, подобно туману, обволакивающему поезд, и я, зевая у телевизора в домике моего отца и приходя изредка в паб за пять минут

The Right to an Answer © Anthony Burgess, 1960
© Елена Калявина. Перевод, 2017

до открытия, ощущаю проклятие, разношенное, как пара башмаков, я сам становлюсь гражданином этой клоаки, и единственное мое спасение — необходимость сесть на самолет "БОАК" в Лондонском аэропорту или отправиться в круиз "Пиэнд-Оу" — Кантон—Карфаген—Корфу — из Саутгемптона и тем самым сократить мое пребывание в Англии.

Сейчас я чувствую себя так, словно в каждой руке у меня по сэндвичу, и я не знаю, от которого откусить сначала. Мне хочется побольше рассказать вам об этом дерьме и одновременно хочется, чтобы вы узнали, как же так вышло, что у меня (мне это частенько говорят) такая завидная житуха — два года солнца или, по меньшей мере, экзотики и необременительной работы, с последующими четырьмя месяцами изоляции и достаточно нагулянный аппетит, чтобы прожевать внушительный пудинг, именуемый "тоской по отчему дому". Этот большой пышный пудинг — не такая уж и тяжелая пища — сплошные фрукты и никакой муки, это длинный перечень развлечений в "Ивнинг стандард", путешествие — теплое темное пиво в корабельном баре — из Ричмонда в Вестминстер, вечернее надиралово в полуподпольных клубах размером с сингапурский туалет (сверкающая в электрическом свете струя мочи после бесчисленных "еще по одной", мною заказанных), танцующие под музыкальный автомат мужние жены, которые не прочь порезвиться, пока их не умчит такси в шесть часов (в электродуховке с таймером как раз поспела запеканка для благоверного), и все такое прочее. Любой, кстати, кто завидует моей завидной двойной жизни, любой, кто достаточно молод, мог бы и сам попробовать так пожить. Колониальных гражданских служащих повсюду пруд-пруди, но торговые компании по-прежнему страстно предпочитают блестящих молодых людей (хорошее образование не обязательно, но желательно, приветствуется правильное произношение, светлые волосы), чтобы продавать бриллиантин, сигареты, мотороллеры "Ламбретта", цемент, швейные машины, лодочные моторы, очищающие воздух растения и ватерклозеты в тех жарких странах, которые только что добились своей бóрзой независимости. Я уже давно не "блестящий молодой человек", но Компания явно все еще находит меня полезным. (Я начитан, читаю запоем. Я могу быть очаровашкой, могу пить что угодно.) Мне даже разрешено за счет компании раз в два года летать из Токио и обратно на удобно откидывающихся сидениях первого класса (мне уже за сорок, и я путешествую "по-стариковски"). Пройдут годы, и я удалюсь на покой, хотя один Бог знает, где это будет, с весьма солидной пенсией. Кстати, меня зовут Дж. У. Денхэм.

Ну а теперь — второй сэндвич, но в него так просто не вгрызешься. Пообкусываю по краям, ведь зубы-то уже не те. Сразу по

прибытии, в поездной копоти и гоготе аэропортовского бара, я вступаю в послевоенное английское дерьмо. Оно возникает от избытка свободы. Наверное, это звучит глупо, если поразмыслить о том, как мало свободы осталось в современном мире, но мои рассуждения не о свободе политической (не о праве костерить правительство в местном пабе). Я не считаю политическую свободу такой уж важной, во всяком случае, она важна для одного процента общества, не более. На востоке меня забавляло то, как граждане новоиспеченных независимых территорий, задрав штаны, бежали в страны, по-прежнему стонущие под британским ярмом. Им не нужна была никакая свобода, они хотели стабильности. Нельзя иметь сразу и то и другое.

Я здесь не проповеди читаю, я хочу рассказать историю, но не могу обойти стороной эту тему. Действительно, невозможно иметь и свободу, и стабильность одновременно. То, что отвечает за стабильность, неосязаемо, но утратив ее, начинаешь страдать. Думаю, сама идея принадлежит Гоббсу[1], но теперь я поминаю сию фамилию с большой опаской из-за обычного дурацкого недоразумения, случившегося как-то вечером в клубе, когда все подумали, что речь о крикете[2].

Вы страдаете от дерьма, великого демократического дерьма, где нет ни иерархии, ни шкалы ценностей, все настолько же хорошо, насколько все плохо. Однажды мне довелось прочесть научную статью, в которой утверждалось, что идеальный порядок возможен только при низких температурах. Выньте продукт из морозилки, и он вскоре испортится. Он вырвался из цепких лап холода, державших его в узде, и теперь становится весьма динамичным, бурлит и пенится, как политический митинг, но приходится его выбросить. Это дерьмо. Но весь ужас в том, что можно употребить тошнотворный продукт в пищу, съесть дерьмо. Правда, от этого недолго и окочуриться. Митридат, пожалуй, единственный ядоед, который дожил до старости[3]. Надругавшийся над стабильностью долго не протянет.

В начале моего повествования я проводил очередной отпуск в пригороде довольно большого и чопорного города одного из центральных графств, куда мои родители переехали после того, как отец ушел на пенсию (он был типографом в Се-

1. Томас Гоббс (1588–1679) – английский философ, создатель теории гражданского общества. (*Здесь и далее – прим. Е. Калявиной и Н. Мельникова.*)
2. Сэр Джон Берри "Джек" Хоббс (1882–1963) – английский профессиональный игрок в крикет.
3. Античная легенда, повествующая о смерти понтийского царя Митридата, гласит, что царь, проигрывая изматывающую двадцатипятилетнюю войну с Римом, был в конце концов предан всеми. Пытаясь избежать пленения и позора, правитель Понта принял яд, но тот не подействовал из-за выработанного с детства иммунитета – Митридат всю жизнь принимал яды, чтобы избежать отравления.

верном Уэльсе), переехали, в основном, по настоянию моей сестры, муж которой руководил школой в нескольких милях от города. Мать умерла внезапно, в самый разгар моего рабочего срока (я присматривал за филиалом Компании в Осаке), и я даже не смог приехать на похороны. Отец и сестра никогда не любили друг друга, к тому же Берил была истинной маминой дочкой. А ко мне мама не питала теплых чувств с тех самых пор, как, еще в Северном Уэльсе, когда мне было шестнадцать, застукала меня в сарае с девчонкой, жившей через три дома от нас. Позор, бесчестие и т. п. Как бы там ни было, Берил получила в наследство мамины восемьсот фунтов и вложила их в липовый коттедж в деревне в двенадцати милях от бедного старого овдовевшего отца. Сестрицу свою я всегда терпеть не мог. И однажды выучил наизусть стихотворение какого-то графомана о женщине того же сорта по имени Этель, заменив Этель на Берил. Помню две строфы оттуда:

Дочерь из дочек Берил! Всегда и везде
Почтенье дочернее так и течет
Из плоти, отмытой в жирной воде,
И пирога, что не ест даже кот.

Чрево и мать станут прахом сполна.
Чем же насытить дочурки нутро?
От любви безмерной она должна
Заполучить все добро[1].

Я не огорчился. У меня в банках Гонконга и Шанхая денег больше, чем Берил когда-нибудь сможет увидеть в своей жизни. Я о том, что она, конечно же, переживет меня, но *моих* денег ей не видать.

Мой овдовевший отец так и застрял в этом захолустном доме, который он никогда не любил. Он готовил себе сам, переложив прочую хозяйственную докуку на приходившую раз в неделю востроносую женщину, которая всякий раз громко пыхтела, вытряхивая половики. Отец не знался с местной общиной, но считал бессмысленным переселяться куда бы то ни было. Только громоздкий дубовый стол был выселен из отцовского "логова" наверху — выселен через окно, одно это уже было великим свершением — даже опосредовано для человека его лет. Он заботливо расставил книги (тут было несколько раритетных изданий, которые он сам и набирал), хотя на самом деле книгочеем

1. Все стихи, кроме отдельно оговоренных случаев, даны в переводе Александра Ситницкого.

отец не был никогда. Если он говорил, что некая книга "прекрасна", то это касалось только полиграфии. Он вбил поглубже в стены дюбеля для крюков, на которых развесил свои картины (Милле, Холман Хант, Роза Бонёр). Здесь ему было ни лучше ни хуже, чем в любом другом месте. Чуть погодя он снова увлекся гольфом. Владелец маленькой фабрики, работник местного супермаркета или коммивояжер, торгующий медицинским оборудованием, подвозили его воскресными утрами на игру. А в воскресенье пополудни он играл в шарики с викарием из Высокой церкви[1]. У отца вошло в привычку каждый вечер к девяти ходить в "Черный лебедь", чтобы выпить полторы пинты горького эля и обсудить с друзьями по гольфу спортивные телепрограммы. Викарий появлялся в пабе лишь раз в неделю — воскресным вечером после службы, прямо в облачении, — он опрокидывал пинту, приговаривая: "Господи, до чего иссушает эта работа!". Мне думается, что так он старался подчеркнуть свою принадлежность к Высокой церкви.

"Черный лебедь" среди местных жителей был известен, как "Флаверов козырь" (вероятно, камешек в огород пивовара Флауэра[2] из Стратфорда-на-Эйвоне). И совершенно закономерно, что владел этим пабом некий Арден из деревушки неподалеку от Уилмкоута — той самой, откуда была родом Мэри Шекспир, в девичестве Арден, дочка тамошнего фермера. Стоило только взглянуть на Теда Ардена, чтобы увидеть, что Уильям наш Шекспир и ликом, и челом (если уж не тем, что под этим челом) удался в Арденов. Крепкая ветвь, эти Ардены, а вот Шекспиры, по всей видимости, жидковаты оказались. И брови, выгнутые, как скрипичные эфы, и ранние залысины, и глаза с развесистыми веками — все у Теда Ардена было точь-в-точь, как у Шекпира на самом известном его портрете, а еще хозяин паба был наделен особым обаянием, которое, невзирая на неистребимый мидлендский говор, почти полную неграмотность и отсутствие многих зубов, определенно открывало ему все двери — фамильное обаяние Арденов, наверняка его унаследовал и сам Шекспир. Люди любили делать Теду приятное:

1. Высокая церковь (High Church) — название одной из трех партий в англиканской церкви. В отличие от Низкой (Low Church) и Широкой (Broad Church), из которых одна строго держится протестантского взгляда на церковь, как она определяется в символических 39 статьях веры англиканизма, а другая впадает в мистицизм, граничащий с рационализмом. Высокая церковь на первый план выдвигает идею церкви как богоустановленного общества, имеющего строгую иерархическую организацию и обладающего особым, от апостолов унаследованным, священным авторитетом.
2. Чарльз Эдвард Флауэр (1830–1892) — пивовар и филантроп, построивший Шекспировский мемориальный театр в 1864 г. — в ознаменование 300-летия со дня рождения Шекспира.

коммивояжеры привозили ему из Лондона заливных угрей; диковинные настойки, наливки и наборы подставок под кружки попадали к нему прямо с континентальных ярмарок; косматые тертые калачи — завсегдатаи бара — притаскивали ему диких кроликов, уже ободранных и потрошеных ("Ты взглянь, скока жира у их вокруг почек-то!" — говаривал Тед восхищенно). Именно обаяние добыло ему жену, которая, как говорится, была леди до самых кончиков ногтей. Вероника Арден обладала патрицианским голосом, звеневшим, словно ключ в часы закрытия. По-мальчишески худощавая, белокурая, без единой сединки в свои сорок шесть, она напоминала пучеглазого юного поэта. Какие-то неведомые болезни изнуряли Веронику, она перенесла несколько операций, о которых не распространялись. Когда поздним вечером она появлялась за стойкой (ровно за час до сутолоки перед закрытием), мужчины, сидящие за столами, вздрагивали, как будто чувствуя, что обязаны встать — так она действовала на людей. А когда она, одетая для Ежегодного бала лицензированных рестораторов, в роскошном платье и драгоценностях, в меховой накидке на плечах, ожидала, пока Тед подгонит автомобиль, возникало такое ощущение, что она оказывает тебе слишком большую честь — если кто и шлепнул там или сям пару лишних пенсов за бочковое пивко, то я очень сомневаюсь, чтобы хоть раз он на то посетовал.

Супруги Арден были душой, сущностью этого паба. В те вечера, когда им приходилось отлучаться, заведение оставалось на попечении безобидного малого, приветливого, как ледник, и тогда становилось тем, чем было на самом деле — трактиром, пристанищем безотрадных горластых пьяниц, с нужником во дворе, куда частенько приходилось прогуляться под дождем, с неистребимой рыбной вонью в "лучшем зале", сочащейся из хозяйской квартиры наверху, поскольку Тед обожал рыбу и готовил ее себе ежедневно. При Теде этот рыбный запах обретал лоск — было в нем что-то раблезианское или что-то, напоминающее о бесшабашных морских портах. А в его отсутствие запах был просто вульгарен — как пердеж губами или древнеримский сигнал, заунывный, словно тягучее органное остинато. Рыба была еще одним подношением Теду от посетителей — дуврская камбала, палтус, копченая селедка ("Сто лет как их не едал, моих рыбочек"). Однажды я пригласил супругов на обед в отель в Рагби и познакомил Теда со скампи — крупными креветками, обжаренными в панировке. Он был потрясен — новый мир открылся ему. Попивая кофе с бренди, он заметил:

— Скампи ихние просто охеренно изумительные.

— Эдвард, окстись, — укорила его Вероника, — ты сейчас не в общем баре!

— Извиняюсь, голубушка, но они взаправду такие и есть! — и продолжил, идя к машине: — Утречком я первым делом сяду на телефон. Охеренно изумительные. Закажу себе этих скампиев к ланчу.

Было большим удовольствием услужить Теду. Он всегда умел быть благодарным. Можно понять, почему Шекспир так хорошо ладил с графом Саутгемптоном[1].

"Черный лебедь" стоял в эпицентре разлагающейся деревни, грязного пятнышка, которое оплетал жемчужно-чистенький пригород. Деревня скукожилась до того, что стала меньше акра. Она походила на крошечную резервацию аборигенов. Имбецилы злобно пялились сквозь немытые окна на клочки травы; день-деньской распевали петухи; маленькие девочки в передничках из прежних эпох обхрумкивали огрызки яблок; казалось, что у всех местных мальчишек "волчья пасть". И все же, эта деревня казалась мне куда здоровее, чем окружающий ее пригород.

Кому дано описать величие этих подпирающих друг друга боками одноквартирных домишек, эту штукатурку с вкраплением серой гальки на торцевых стенах, эти калитки, которые запросто можно перешагнуть, этих глиняных истуканов в игрушечных садиках? Этот ветер, пронизывающий все пространство вокруг, ветер древнего холма, погребенного под слоями щебня, ветер хлесткий, будто край мокрого полотенца. Он перемешивал серый бульон над красными крышами, и в этом супе бурлили телеантенны, похожие на макаронные изделия в виде больших букв X, Y, H, T...

Был воскресный вечер. Мы с отцом угорали от газового камина в гостиной, поклевывая носами перед голубым экраном. У отца теперь было целых два телеканала на выбор — недавнее нововведение, — и мы переключились с би-би-сишной викторины на коммерческий канал, восхваляющий жесткие действия американской полиции. Отец не стал покупать специальную новую антенну, но коммерческий ретранслятор оказался неподалеку, так что и прежняя одноканальная антенна ловила его сигнал довольно легко. Одна беда — все изображение двоилось. В шаге за спиной у каждого персонажа находился его Dopelganger – его "второе я". Местные электрики утверждали, что все из-за шпиля деревенской церкви — он, словно передатчик некоего враждебного государства, все искажал и коверкал, и путал. Не то чтобы электрики особенно пеняли на шпиль, нет, они просто советовали жи-

1. Генри Ризли, 3-й граф Саутгемптон (1573—1624) — один из покровителей Уильяма Шекспира и предполагаемый адресат его сонетов.

телям заменить антенны. Мой отец, имея в партнерах по гольфу настоятеля Высокой церкви, вообще не обращал на помехи особого внимания, да и зрение у него сдавало.

Фильм о жестокости полиции закруглился послесловием бугая полицейского в фетровой шляпе. Он сообщил нам, что полицейские подразделения Штатов нам друзья, и долг каждого честного американца содействовать им в напряженных усилиях, направленных на то, чтобы стереть с лица земли кокаиновый трафик. Потом мартышки рекламировали чай, потом был балет мыльных хлопьев, какая-то дурында с "конским хвостом" на голове заглатывала целиком шоколадку и стонала: "Ооооооо!". От газового чада из камина у меня наступило помрачение, мне явственно почудилось, что мой слуга-японец трясет меня за плечо и говорит: "Господин, проснитесь!". Я сбросил с себя новоанглийское наваждение и как раз, когда дебильно-радостный голос дикторши объявил: "А теперь вы увидите его живьем! Итак, вместе с Харви Гринфилдом у нас..." — выключил телевизор. Голос иссяк, а изображение ведущей перевернулось, точно игральная карта. Отец качнулся, закашлялся всем телом (было такое впечатление, что этот кашель расплющивает его, будто паровой молот) и вышел в прихожую за шляпой и плащом. Шляпа у него была старомодная, с плоской тульей и загнутыми кверху полями, а карманы плаща пузырились, набитые полупустыми сигаретными пачками, спичечными коробками и грязными носовыми платками. Он и в самом деле нуждался в присмотре. Я вышел в столовую за мундштуком, к которому недавно приохотился, и вот отец вернулся в переднюю, уже одетый, чтобы посмотреть, готов ли я. Окурок сигареты догорал у самых его губ — длинный хвост пепла вот-вот опадет на ковер. Таинственное явление, которое я так и не сподобился постичь: он мог выйти из комнаты без сигареты, а вернуться секунду спустя с крохотным бычком, припекающим губы. Это было похоже на топорный монтаж кадров в кинофильме.

Вероятно, у него просто было пагубное пристрастие к бычкам, только ему не хотелось, чтобы кто-то видел, как он их прикуривает. Я не знаю. Мой отец был частью Англии, а Англия, наверное, самая загадочная страна на свете. Мы вышли молча, оставив пепел на ковре, горячую желтую пещеру в камине, барометр, стукнувшийся о стену от порыва влажного деревенского воздуха. Отец с особой тщательностью запер дверь, а потом спрятал ключ под коврик, кряхтя и отдуваясь по-стариковски. Мы свернули на Клаттербак-авеню, мимо почтового ящика — вещественного напоминания о большом мире, навстречу моросящему дождю, слегка запыхавшись, потому что улица шла немного в гору (странно было вспоминать, что вообще-то Клат-

тербак-авеню на самом деле была холмом), а потом резко забрали вправо на булыжную тропку, ведущую к старой деревне. Старая деревня прицепилась к нам, как проститутка, едва мы завернули за угол. А потом показался и "Черный лебедь", он же "Гадкий селезень", он же "Флаверов козырь".

Традиционные "семь потов" и неуют воскресного вечера в пабе в одно мгновение крепко саданули нам в глаза и глотки. Симпатичный развозчик молока, работающий здесь официантом по выходным, в галстуке-бабочке и короткой зеленой куртке, исполненный рвения и достоинства, как раз доставлял поднос с грушевым сидром к столику у дверей. Отец тяжко прокашлялся, будто прочищая горло, и жестокая буря пронеслась в стаканах газированного сока. Но встретили отца довольно сердечно.

— Добрый вечер, Берт.

— Вечер добрый, мистер Денхэм.

— Как там житуха-то, старина?

— Телек сегодня что-то малость барахлит, да, Берт?

Гольфистов, сидящих за столиком у дверей, постоянно освежали порывы холодного ветра, когда приходили новые посетители вроде нас с отцом. Лучшие столики — по центру и теплые столы у огня занимались еще с самого открытия. Отцовские кореши потеснились, и он уселся на табуреточку, извлеченную из укрытия под столом, а я втиснулся между двумя незнакомцами на длинной скамье, подпирающей стену. Налетел рьяный в своей службе официант, и я заказал на всех. Так правильно, так заведено. Я был возвратившимся на родину набобом. Гольфист-коммивояжер по медтехнике сказал:

— Если ты не против, старина, я бы тяпнул рюмашку скотча. Хватит мне на сегодня пива. Уже, наверное, с баррель выдул.

— Двойной?

— Пожалуй, старина.

Мысленно я ухмыльнулся этакому провинциальному шику "рюмашек" крепкого. В тех краях, где я ныне обретался, пиво быстро превратилось в напиток для богачей — в Калькутте мне доводилось платить 17.06 за бутылку. Я старательно потягивал свою полупинту горького, пытаясь внушить себе, что оно мне действительно нравится, это теплое пиво старой Англии. Эмигрантские грезы о пенистой кружке — это традиция. ("И вот, что я первым чертовым делом сделаю, как только причалю: выпью чертову большую пинту бочкового 'Басса'. Господи, мне бы сейчас хоть глоток!") Я знал, что

скоро, когда отпуску моему будет месяц от силы, я вернусь к легкому светлому и "рюмашкам". Наверное, это связано то ли с малокровием, то ли с нарушением пищеварения. Я чувствовал себя виноватым в пренебрежении к британскому пиву. Я очнулся, обнаружив, что отец зовет меня с другого конца стола. Слов было не разобрать: стук тарелок, звон стаканов, кашель, женское щебетание преграждали им путь.

— Что, папа?

— Мистер Уинтер, возле тебя. Он в типографском деле.

— О!

"Мистер Уинтер — печатник, принтер", подумал я, начав куражиться над Уинтером еще до того, как разглядел его как следует. Чуть за тридцать, моложавый, скулы пылают пятнами румянца от трактирной жары. Подбородок округл и чуть мягковат, маленький рот так же бесформен, как и плохо скроенный костюм. Глаза карие, крапчатые, цепкие — славные глаза, подумал я, а крылья носа вечно настороже (так женщина раздувает ноздри, когда, вернувшись в комнату, обнаруживает в ней запах, которого не было перед ее уходом). Прямые волосы слишком тщательно расчесаны, взбиты, этакие соломенные волосы — настоящее потрясение после изобилующего вороной мастью Востока.

— Рад знакомству.

— Взаимно.

— Выпьете?

— О, благодарю, я уже порядочно выпил.

На дне его кружки осталось еще около трех дюймов пива: парень был точно не из пьющих. Об этом же явно свидетельствовал его голос — чистый, ни резонанса, ни мокротной хрипотцы или смешков от души, из самого нутра. Мне было любопытно, что его тревожит: он рыскал взглядом от двери к бару, куда мужчины возвращались, отлив — поодиночке, а женщины — после более сложного ритуала — хихикающими группками.

— Мой отец — наборщик, — сказал я.

— Да-да, я знаю, мы часто об этом беседуем.

Его взгляд не со мной, он продолжает смотреть в сторону бара, как будто фигура или фигуры вот-вот возникнут из погребка тапера или материализуются в эктоплазме из ноздрей Теда Ардена. А затем возвращается к двери, как к наименее вероятному источнику чьего-то явления. А Тед — я приметил — был занят бутылками, пивными помпами, стаканами под ними, между делом весело позвякивая то тем, то этим, словно исполняющий некую современную пьесу перкуссионист, который со знанием дела снует между ксилофоном и глокеншпилем, треугольником и эолофоном, большим барабаном и тамбурином. Однако Тед успевал при этом очаровательно принимать дары как от счастлив-

чиков, мужественно попиравших одной ногой рейку стойки, так и от менее удачливых – тех, кто теснился позади, кому не досталось ни прилавка, ни стола и требовалась третья рука, если хотелось закурить, одновременно поглощая горячительное. В краткий промежуток времени между моим приходом и возгласом "По последней!" я заметил, как Теду вручили потрошеную дичь, чатни домашнего приготовления, пук хризантем и книжку, внешне напоминавшую религиозный трактат. При виде последней Тед взревел, как ненормальный: "Вот это вещь, а? Потрясно, да? Веселенькая херовина!". Вероника была в общем баре, слишком далеко, чтобы сделать ему внушение. (Позднее выяснилось, что буклет назывался "Что тори сделали для рабочих?", и все его страницы были девственно чисты. Тед смеялся бы точно так же громко, но не громче, будь это буклет о лейбористах. Он был очень похож на Шекспира.)

Уинтер-принтер рассеянно принял мое угощение, взгляд его все так же блуждал. Будучи почти иноземцем, я воспользовался правом задавать вопросы там, где англичанину надлежало помалкивать.

– Что-то случилось? – спросил я. – Вы кого-то ищете?

– Что, простите? – отозвался он, как человек воспитанный. – О, – румянцы на его щеках разгорелись еще ярче, – собственно, да. Свою жену, собственно. – Тут он стал по-настоящему пунцовым.

Не знаю, откуда у меня возникло стойкое впечатление, что его настоящая фамилия была не Уинтер, а Уинтерботтом[1]. Злоязыкие парни или мальчишки дразнили его Стылозадым – вот он и отбросил этот "зад". Это было просто мое подозрение.

– Извините, – сказал я, – мне, наверное, не следовало спрашивать.

– Да нет, – ответил он, – все нормально. Правда.

Он утопил свое смущение в поставленной мною пинте. Фуга воскресного вечера входила в стретту[2]. Женщины болтали все громче, смеялись все бесстыднее, мужчины толковали о войне и об "этих черномазых" – египтянах, индийцах, бирманцах, все насущнее становилась необходимость заказать еще по одной, причем я не заметил, чтобы Тед как-то по-особому привечал своих одаривателей. А потом Уинтер-принтер произнес:

– О, она здесь! – И зарделся снова.

1. В буквальном переводе с *англ.* первый вариант фамилии героя ("Winter") – "зима", второй ("Winterbottom") – "зимний зад".
2. Стретта (итальянское stretta, букв. "сжатие") – род имитации в полифонии, в которой имитирующий голос вступает до окончания темы в предыдущем голосе. Таким образом проведения темы как будто "сжимаются".

Он правильно сделал, сосредоточившись не на входных дверях, а на баре. Ибо — киномонтаж куда лучше нудной последовательности событий — просто из ниоткуда внезапно возникли четверо, и, в усугубление и без того загадочной обстановки вокруг, у каждого из них в руке уже был бокал. Компашка донельзя веселая. Уинтер сверлил взглядом одну из женщин, явно вынуждая ее посмотреть в его сторону, и, добившись своего, помахал ей и смущенно улыбнулся, а та с куда большей уверенностью в себе шутливо подняла бокал с чем-то, похожим на "Классический летний фруктовый крюшон Пиммс № 1", будто за его здоровье. Это была аппетитная, призывно улыбавшаяся во весь рот женщина лет тридцати, скандинавская блондинка, но отнюдь не ледышка, хотя лед и подразумевался — приручен-ный, одомашненный ледок зимних спортивных забав: румянец от катания на коньках, от жара поленьев, от горячего грога, красивые крупные бедра под юбкой, кружащейся на катке в вихре вальса, бедра, согревающие твою руку, словно муфта. Мутоновая шубка сброшена: зеленый костюм под нею подчеркивал все ее пышущие здоровьем прелести, в которых не было недостатка. Я плохо знаю женщин своей собственной расы — для меня они сущая экзотика, загадка, зато восточные женщины — просты и понятны. Оглядываясь назад, я думаю, что никогда не был "близок" (в том смысле, в каком понимает близость газета "Новости со всего мира") ни с одной англосаксонской женщиной (кельтские женщины — другое дело, у них гораздо больше общего с восточными). Главным образом мой физический контакт с англичанками сводится к одному и тому же воспоминанию: чья-то жена у меня на коленях в чьей-то машине на обратном пути из сельского паба под созвездием Ориона или под рождественской луной, морозные узоры на безосколочном стекле — кусок того пышного пудинга, который я перевариваю по возвращении. Эта женщина, миссис Уинтер, разумеется, присоединилась к прочим мимолетным и давним обитательницам моего воображения — я в мгновение ока настолько явственно ощутил тактильный образ ее тела, что понял: именно "зимняя" фамилия ее мужа (подсознательно отложившееся впечатление) вызвала во мне приятные "ледяные" ассоциации. Мне почему-то страсть как захотелось узнать ее девичью фамилию, а затем, когда я понял, что ничего не может быть легче, страстное желание улетучилось.

Мужа она поприветствовала. Теперь она вновь обратилась к своему кавалеру. Это был кудрявый шатен, этакий собирательный образ игрока-вояки; я машинально отправил его на Восток, нарядив в открытую рубашку и шорты, носимые в тех широтах круглый год: сокрытое богатство его здоровых волосатых ног, пропадающее даром в холодной, одетой Англии, ук-

расило бы собой любой барный стул в тропиках. Чем он занимается? – подумал я и решил, что он, наверное, конторский служащий, чья жизнь начинается только после пяти вечера. Должно быть он, подумал я, вылезает из автобуса, как из постели, берется за гантели или эспандер, наспех глотает ланч по субботам, впрочем – без малейшего намека на несварение в драке за мяч во время матча по регби. Однако мужики, которые регулярно тренируются, как правило, не очень хороши в постели, а этот, несомненно, в постели был хорош.

Я повернулся к мистеру Уинтеру-принтеру и, не сообразив сначала подумать, спросил:

– Чем он занимается?

– Э-ээ? – Лицо его стало почти черным, как на плохом фото в газете, костяшки пальцев, сжимавших кружку, заострились и побледнели. – Вы о чем?

– Простите. Просто мне показалось, я где-то видел его раньше. То ли на футболе, то ли еще где...

– Кого?

– Да вон того.

– Он – электрик, – ответил тот, чуть ли не сконфуженно, будто поясняя мужское превосходство, силу (вроде "Он поэт" или "Он оперный тенор") мужской привлекательности представителей определенных профессий.

– Это Джек Браунлоу. – Такая краска стыда куда более пристала бы блудной дочери, кающейся во грехах.

– А...

Будучи человеком благоразумным, я прекратил расспросы. Зато Уинтера прорвало, его рот кривился, как у мальчишки, извергающего излишки выпитого пива на бетонные плиты заднего двора общего бара. Неужели мой здоровый бронзовый загар и корпулентная фигура вдохновляют на откровенность или все дело в моем безумном восточном взгляде?

– Видите ли, это моя жена, а другая женщина – жена Джека Браунлоу. – Эта другая женщина была довольно непритязательной компактной брюнеточкой, о таких говорят "пикантная", они так и пышут жаром – что твой конвектор. – А рядом с ними Чарли Уиттиер, он, знаете ли, холостяк. Беда в том, знаете ли, что я не умею играть в теннис, я не люблю теннис, – страстно выдохнул он, – а они играют в теннис.

– Но не сейчас же, – ляпнул я. – Нет, правда, теперь же не сезон, Уинтер, – пояснил я, а затем невольно (тут клише неизбежно) покраснел до корней волос и повернулся, чтобы снова взглянуть на Чарли Уиттиера.

С этим Уинтером как по минному полю ходишь, право слово. Как я заметил, Чарли Уиттиер был вогнут, будто некая тяжесть тянула вниз его тело от самого подбородка. Пуловер

засосала впадина грудной клетки, а все нутро как будто вычерпали, оставив сплюснутую оболочку. Тело его под костюмом цвета ржаного хлеба стремилось к двухмерности. Нос и выпуклый лоб слишком поздно это поняли и тщетно протестовали. Я, кажется, видел его на теннисном корте — одушевленные портки с несоразмерным попугайским клювом, стремительные, катящиеся кубарем.

— Не сейчас, нет, — согласился Уинтер. — Но я не буду, понимаете, не буду играть с ними ни в какие их игры. Этот Чарли Уиттиер, — прибавил он, большим глотком подливая горючего в поднимающееся презрение, — большой любитель умасливать. Но я не стану. Не игра это, что бы они там ни говорили.

Да, я могу признать некую эротическую небесполезность Чарли Уиттиера, этого тела, изогнутого, как огромная пригоршня. Но зачем выбирать его, если вот он, другой — Джек Браунлоу — ухмыляется и шепчет что-то Уинтеровой жене, а та смеется и закусывает губку. Наверное, Чарли Уиттиер был ходячей самоисчерпавшейся метафизикой этой циничной пригородной любви в духе безнадежно устаревшего и забытого Ноэля Кауарда?

— А кто такой Чарли Уиттиер? — поинтересовался я.

В этом пабе можно было бы наяву разыгрывать "Счастливую семейку" — здесь собралось много солидных, добрых ремесел, не чета этому вашему туманному "работает где-то в Сити".

— Вся правда в том, — сказал Уинтер, — что он тот, кто он есть на самом деле. "Отмороженный мясник" — так называют его настоящие мясники.

Мне известно, что это значит. Человек, торгующий мясом, но далекий от поэзии скотобойни. Неграмотный продавец книг. Закройщик готового платья. Недомясник, не имеющий ничего общего с тем человеком, который женился в свое время на прародительнице Теда Ардена. А ведь он вполне мог и кожи дубить, и шить перчатки, этот молодой Шекспир, игравший в игру "Заколоть теленка", не так ли? В эту минуту Тед Арден стал звонить "отбой". Он бомкнул в некое подобие колокола с "Лутины"[1], возопив с шутливым отчаянием в голосе:

— Ах, голубчики, давайте тут все мне, закругляйтесь, а то из-за вас у меня лицензию отымут. Ну-кось все мне допиваем

1. Колокол в страховом зале корпорации "Ллойд", который используется в церемониальных случаях. Ранее использовался для привлечения внимания к важному сообщению: один удар производился для сообщения о гибели судна, два удара — для сообщения о хороших новостях. Колокол был снят с корабля "Лутина", затонувшего в 1799 г. в Северном море с грузом драгоценных металлов, большая часть которого была утрачена.

свои стаканчики, ой-ой, что за шум-гам, законы не мной писаны, ну-ка, давайте, не бузим, дверь — там, а то полицейские машины караулят за углом, дома, что ль, у вас у всех нету?

Посетители были явно в добром расположении: они, поперхиваясь, опрокидывали свои стаканы и пинты, изо всех сил стараясь угодить Теду, а тот вознаграждал самых скорых допивальщиков обаятельнейшими улыбками и похвалами:

— Дивно, дивно, голубчик ты мой, я бы правую руку отдал бы, чтоб так глотануть!

Затем Тед стал выпроваживать своих посетителей к главному выходу, звонко чмокая в щечки милых женушек, а мужья их при этом блаженно лыбились. Тед Арден не был "отмороженным мясником".

Миссис Уинтер подошла к нашему столу и поздоровалась с моим отцом — к моему вящему удивлению — с почти дочерней теплотой. Отец, порозовевший от жары, пива и кашля, произнес с одышкой:

— Мой сын, уф-ффф, вернулся из заграницы, уф-ффф.

— Откашляйся как следует, Берт, — сказал один из его друзей-гольфистов и постучал отца по спине.

Дилинькали стаканы, сгребаемые со столов. Эхом донесся звук колокола из общего бара.

— Рада с вами познакомиться, — сказала миссис Уинтер, а потом повернулась к мужу и произнесла, качая головой с дурашливой грустью и нежно улыбаясь: — Ах, Билли, Билли, глупыш, что молчишь?

Уинтер покраснел, губы у него дрожали. Потом его жену обволокла толпа — толпу эту стремительно расцеловал, приласкал и умаслил Тед Арден. Уинтер-принтер сидел молча и смотрел невидящим взглядом на влажное полотенце, наброшенное на сифоны. Затем вышел через заднюю дверь, ни с кем не попрощавшись. Никто, кроме меня, и не заметил этого. Отец сказал мне:

— Роланд обещал меня подбросить до дому. — Он снова зашелся в кашле.

— Хорошо, — ответил я. — Встретимся там.

— Прости старина, места маловато, — сказал мне гольфист-коммивояжер по медоборудованию, — это же всего-навсего "форд-префект".

Он горестно посмотрел на меня краем глаза, будто зная, что у меня, где-то далеко, на моем загадочном и прибыльном Востоке, имеется машина куда просторнее, да еще и с водителем. Я постарался скроить извиняющуюся мину. Когда я собрался уходить, Тед приобнял меня и шепнул:

— Не нужно так рано, если не хочется. Давайте еще тяпнем по половиночке перед сном со мной и миссис. Погоди только, пусть вся шелупонь разойдется.

Инстинктивно я почувствовал, что мне оказывается высочайшее благоволение. Я склонил голову, словно на воскресной службе.

Глава 2

Не бывает в наше время бескорыстных подарков, за все приходится платить. И время, которое ничего не стоит, оказывается дороже всего. И с чего, в самом деле, я должен был счесть привилегией приглашение остаться после закрытия, чтобы угостить "по половиночке" Теда и его миссис? Я ведь мог себе позволить уставить отцовский домишко всем этим вульгарным пойлом из Тедова паба, устроить маленький бар в гостиной, пить себе в холе и неге, ни на кого не оглядываясь... Но в Англии принято считать, что пьянствовать дома — ненастоящее удовольствие. Мы молимся в церкви, а надираемся в пабе. Исполненные глубинного иерархического почтения, мы нуждаемся в хозяине в обоих "святилищах", дабы тот верховодил нами. В католических церквях и континентальных барах хозяева все время на своих местах. Но Англиканская церковь исторгла Истинное Присутствие, а лицензионное право наделило трактирщика ужасающим священным могуществом. Тед предлагал мне эту вожделенную благодать, отсрочку смерти — которая и есть время закрытия, — жалуя мне с барского плеча продолжение жизни. Однако мне на самом деле не шибко нравилось расплачиваться за это сметанием окурков на совок (тяжко отдуваясь при каждом наклоне) или оттиранием губной помады со стаканов из-под грушевого сидра. Эта работа для мальчишки-поденщика. Никто, впрочем, не просил меня это делать, просто я решил, что от меня ждут некой добровольной помощи. Седрик, субботне-воскресный официант, снял зеленую куртку, являя щегольские подтяжки, и насвистывал, вытанцовывая с метлой. Был тут еще дебильного вида помощник, отмывавший стаканы с жуткой скоростью, сверкая при этом своими кретинскими очочками. А еще обрюзгший детина с расквашенным носом боксера, одетый в тельник осиной расцветки. Он ворчал себе под нос, как снулый пес, отдраивая прилавок в общем баре. Вероника опустошила кассу и пересчитывала выручку, а Тед колдовал над измерительными стержнями в погребе. Прошло немало времени, прежде чем я дождался выпивки. Я пару раз намекнул: "Уж теперь-то, наверное, миссис Арден, вы и джентльмены не отказались бы от стаканчика чего-нибудь" (я был еще не настолько накоротке с Вероникой, чтобы называть ее по имени). Но Вероника только бездумно кивала, не отрываясь от подсчетов, боксер ворчал, а дебил демонстрировал мне

открытый рот и посверкивал очками. У меня возникло ужасное подозрение, а вдруг никто из них не любит выпивку, вдруг им нравится только торговать ею? Но вот, наконец, хозяин взошел из погреба, и лучи его истинного присутствия озарили и согрели каждый уголок бара.

Мы выпили за стойкой в общем баре, буквально "по кружечке" водянистого мягкого пива, которое Тед сам откачал и горделиво поднял, демонстрируя на просвет.

– Дивное! – сказал он. – О трактирщиках всегда судят по ихнему мягкому, – прибавил он назидательно. – Именно любители мягкого приносят денежку. Это их надо холить и лелеять.

Пойло потягивали с почтением, но, думается мне, без особого удовольствия. Затем я спросил, могу ли я иметь честь угостить присутствующих. Вероника сказала, что выпьет "порт-энд-бренди", дебилоид попросил темного пива, боксер – "ром-энд-лайм", Седрик – "Виски Мак"[1]. Я был подобен джину, вылетевшему из восточной бутылки, дабы с готовностью исполнить самые сокровенные, фантастические желания. Я взглянул на Теда: нос у него дергался, как у кролика. Он сказал:

– Тут на полке есть одна бутылка, вон, на верхотуре, так я всегда хотел знать, что в ней.

– А на бутылке не написано?

– Смешные каракульки там, голубчик мой. Никто так и не смог прочитать. Мы тут показывали ее индусу, из тех, что ковры продавали, так и он не сподобился. Правда, – прибавил Тед, – я всегда знал, что индус он невсамделишный.

– Так почему бы вам не снять бутылку с полки? – сказал я.

– Ага! – сказал Тед. – Вы ж прибыли из дальних стран, так что должны раскумекать, чего там понаписано. Эй, Селвин, – сказал он. Селвином звали дебилоида, – не так-то уж глупо, правда, Селвин?

– Де дада, я глупый с-под пива, – быстро и неразборчиво прогундосил Селвин, голос у него был как спущенная басовая струна.

– Слазь-ка, на верхнюю полку, голубчик, – попросил его Тед, – сыми с нее ту бутыляку со смешными каракулями.

Он повернулся ко мне:

– Купил их на укционе, когда "Корона" погорела. Кучу старых бутылок. Ээ, голубчик ты мой, – сказал он Селвину, – на стулик стань.

Но Селвин оседлал прилавок, протопал по нему большими своими черными башмаками, и уже, вроде как, карабкал-

1. "Порт-энд-бренди" – коктейль на основе виски "Паспорт скотч" и бренди, "Виски Мак" – смесь виски и имбирного вина в равных частях.

ся по полкам. Забравшись под самый потолок, он ухватил бутылку, сверкнув стеклами очков, и спросил:

— Ода?

— Она-она, голубчик мой. Поостерегись там, когда слазить будешь.

— Лови! — Бутылка со свистом рассекла воздух и приземлилась прямо Теду в руки.

Это было какое-то бесцветное пойло с кириллицей на этикетке.

— Буду слазидь вдис, — прогундел Селвин, будто часы бомкнули на башне, и слез он довольно ловко, случайные бутылки только чуть позвякивали о черные башмаки.

— Это, — сказал я, — что-то вроде водки. Ну, вы знаете, русская выпивка.

Боксер заворчал:

— Я считаю, русские такие же отличные парни, как и мы. Ведь что такое коммунионизм? Это когда каждый старается изо всех сил на благо остальных, я так это понимаю. Разве это неправильно? — он вызывающе посмотрел на Седрика.

— Я вас умоляю, — произнесла Вероника. Голос у нее был подобен лопнувшей ми-струне, — не надо политики в столь поздний час, будьте так любезны.

— В каком-то смысле, — ответил Седрик, — все люди одинаковые. Нет высших и низших. И никто не обслуживает, так сказать. Так вот, я не считаю, что это правильно.

— Пожалуйста, — сказала Вероника более резко. — Только не в моем доме, если не возражаете.

— Думал, дебось, ди достаду? — Селвин больно ткнул меня локтем в бок, зияя открытым ртом и сверкая очками.

— Нет, я знал, что достанешь! — улыбнулся я, стараясь его ублажить. — Слушайте, — сказал я Теду, — а давайте откупорим ее и выпьем с томатным соком и каплей вустерского?

— Я о таковском не слыхал, голубчик.

— "Кровавая Мэри", — пояснил я, — водка в красном. Как русские пьют. Так и употре... — Тут Селвин еще сильнее ткнул меня локтем.

— А одкудова ты здал? — спросил он.

— ...блять, — закончил я

— Одкудова ты здал, что я достаду, когда я ди делал того дикогда. — Он триумфально распахнул рот в сторону мрачного боксера. — Ты бы ди достал, Сесил, — сказал он.

Это было уже чересчур: Сесил, Селвин и Седрик. Дело заходило слишком далеко.

— Сквернословие гораздо хуже политики, миссис Арден. Я-то думал, что уж чего-чего, а сквернословия вы не потерпите, особенно от чужака. — Он смерил меня строгим взглядом.

— Это ж паренек Берта Денхэма, — сказал Тед, — только из заграницы. Ты видел его в курилке раньше.

Он очистил пробку мастерским поворотом кисти, оседлал бутылку, будто лошадь, и напрягся, чтобы откупорить. Сдавленный хрип вырвался из его горла.

— Он выругался, я слышал, — настаивал Седрик. После того как сказал про какую-то разэтакую Мэри.

— Я сказал "употреблять", вы ослышались. А "Кровавая Мэри" — была такая королева Англии, — объяснил я. — Так ее прозвали за то, что живьем сжигала протестантов.

— Все они одним миром мазаны, — сказал осино-полосатый Сесил. — Что католики, что англикане. Сам-то я воспитан Примитивным методистом[1].

— Давайте не будем о религии, прошу вас, — сказала Вероника, — у меня голова раскалывается.

Пробка вылетела.

— Неужели, голубушка? — спросил Тед трагически-заботливо. — Что ж ты молчала. Прими пару таблеточек аспиринчику, выпей чайку и в постельку.

Он поставил бутылку на прилавок. Из горлышка вспорхнули струйки дымка, пахнущие анисом, тмином, денатуратом, ацетиленом. У меня помутилось в голове. Селвина передернуло. Седрик сказал:

— А знатно шибает!

Тед заключил Веронику в нежнейшие объятья, исполненные беспомощного сострадания.

— Бедная ты моя старушечка, — сказал он, прижавшись губами к ее туго обтянутому кожей лбу.

Вероникины глаза, распахнутые голубые очи юного поэта, заволокло дымкой.

— Ничего, болит не так уж сильно, правда, — сказала она, улыбаясь с истинно женской вымученной нежностью, — но я все-таки лягу.

— Аспирину, дружочек?

— Нет, все равно не поможет. Все та же старая беда. — Присутствующие сочувственно закивали, будто и в самом деле знали, о чем речь. — Не засиживайся слишком, Эдвард.

— Нет-нет, голубушка. Тяпнем по маленькой — и все.

Вероника пожелала всем доброй ночи и удалилась, тонкая, словно шпага тореадора. Все вздохнули с облегчением.

— А-ааа, — спохватился Тед, щедро плеснув бесцветного алкоголя в бокалы, — томатный сок!

1. Примитивные методисты — неепископальная протестантская церковь, возникшая в Англии в 1812 г.

— Томатный сок, — сказал я. — С солью. И вустерский соус.

Присутствующие наблюдали за действиями Теда с таким напряженным вниманием. будто у них на глазах ставили опасный химический опыт. Тед окрасил водку в красный цвет, приправил, перемешал ее длинной ложечкой и осмотрел стаканы, словно прежде должен был изучить их. А затем сообщил:

— Что ж, выглядит чертовски кроваво, как положено.

— Сколько с меня? — спросил я. Мне всегда приходится заново обучаться английскому обычаю платить за напитки до того, как они будут выпиты. — И кстати, за "порт-энд-бренди" для миссис Арден, который она так и не выпила.

— Завтречком выпьет, голубчик. Ну-ка, поглядим: за это — пять бобов, за то — три за каждый, трижды пять — пятнадцать, пятнадцать и пять — двадцать. Точнехонько фунт, голубчик мой, и спасибочки вам, сэр.

Он принял от меня деньги, а затем ухватил за ножку бокал с "Кровавой Мэри". Мы все решительно ухватились за свои бокалы — все, кроме Седрика. Тот держал ножку бокала двумя пальцами, словно стебель экзотического цветка. Я отхлебнул половину и сразу почувствовал, что взлетаю. Череп мой раздулся под напором наполнившего его гелия. Комната осторожно закружилась, накренилась, колыхнулась, а потом встала на прежнее место. Что бы там ни было, в этой бутылке, это была не водка. Седрик поперхнулся и забрызгал нас.

— Держи ее при себе, Седрик, — сказал Тед.

— Ох, — задохнулся Седрик, — ох и крепкая.

Селвин с томатными "усами" произнес:

— А бедя родили бежду дочью и ддёб. Бедя родили со штукой вкруголовы.

— Ладненько, — ответил Тед, — уже слыхали об том.

Он безмятежно допил свой коктейль и заметил:

— Томатный сок чуток горчит. Перестоял малость в банке.

Селвин очень сильно пхнул меня локтем.

— Я родился, и у бедя вкруголовы была штуковида дадетая.

— Ага, — сказал я, — сорочка.

Я осушил бокал. В самом деле, это было весьма недурно, что бы это ни было.

— Оди говорят бде — образида, — громко сказал Селвин. — А у бедя вкруголовы была штуковида, и боя бать продала ее за шесть с половидой педсов.

Он выпил еще без дальнейших комментариев, а потом прибавил:

— Я богу видеть, что другиииие ди бооогут! Я видел бужика без оловы — од прошел сквозь стеду среди бела дня на Паркидсод-стрит, — он обратился к Сесилу, — ага, Сесил? Это быо деделю до того, как Картер получил докдад.

Сесил прихлебывал “Кровавую Мэри” мелкими глоточками — так мучимый жаждой человек прихлебывает горячий чай. У Седрика видок был не из лучших.

— Мне бы стакан воды, — сказал он, — если можно. Чудно́е питье, как бы вы его там ни называли.

— А еще, — не унимался Селвин, — я богу видеть штуки у людей вкруголовы. Зеледая — у Сесила, сидяя — у Теда, у Седрика — дикакой дет, и типа грязно-розовая — у тебя, бистер.

— Наверное, где-то тут есть прачечная, в которой отстирывают ауры, — сказал я, — надо бы мне и мою туда отправить.

— Попробуем-ка ее саму по себе, — сказал Тед, — томатный сочок малость подгулял.

— Аура божет спортиться, — снова пихнулся Селвин, — типа штуковида вкруголовы.

Седрик глотнул было воды, но тут же сплюнул.

— Чем бы оно ни было, это пойло воды не любит. Пойдука я лучше во двор, — сказал Седрик, — я ел яичницу сегодня в полдник, и миссис сказала, что ей не понравились яйца, когда она их разбивала, и... О черт, — он с ужасом поглядел на мой левый манжет, будто увидел прямо на нем ту злосчастную яичницу, и пулей вылетел за дверь.

Тед осклабился, продемонстрировав множество плохих зубов.

— Это только нам с вами по плечу, голубчик, — сказал он. — Остальные еще не готовы. Будемте!

Бокал его опустел, мой тоже. Напиток в самом деле был хорош. Я его распробовал.

— Это, — сказал Тед, — будет стоить шесть бобов, голубчик.

Я нарыл в кармане кучку серебра.

— А этим джентльменам?

— Я богу еще выпить, — сказал Селвин и подтолкнул свой заляпанный красным бокал.

— Девять бобчиков.

Последняя капля укатилась в глотку Сесила, словно в водосточную трубу. Он медленно опустил стакан со словами:

— Этого больше не надо. Чего мне действительно хочется, так это еще рома с лаймом.

— Возьми себе сам, — сказал Тед. — Стало быть, всего вместе одиннадцать и шесть пенсов, голубчик.

Сесил смешал себе выпивку и подошел ко мне с серьезной миной.

— А у вас там, где вы жили, — спросил он, — были черненькие?

— Там были и черные, и коричневые, и желтые, — ответил я. — Зависит от места, где живешь, вообще-то.

— У старика Джеки Кокса, — влез Селвин, — у дего вкруголовы было желтое. Желтое-прежелтое. Желтеддое.

— Нет-нет, — сказал Сесил, — я имел в виду, черные женщины у тебя были?

— Ну да, однажды, — признался я. — В Лаосе дело было.

— И как оно? — спросил Сесил.

— Н-ну, — начал я, и все присутствующие навалились на стойку, затаив дыхание, но в эту минуту появился Седрик, чуть посвежевший, но озадаченный.

— Высвистало все подчистую, — сказал он, — и яйца, и все остальное. Слушайте, там этот парень в нужнике сидит — прямо в штанах и плаще. Дверь нараспашку. И выходить не хочет.

— Что за парень?

— Да тот, что работает у Роудона. Уинтерботтом.

— Уинтер-принтер-спринтер-полпинтер, — внезапно сказал я и сам обалдел.

Напиточек куролесил вовсю.

— Виноват, — сказал я.

— Бедолага, — сказал Тед. — Вот же несчастный чертяка. Она умотала с ключами, и он не может домой попасть. Надо же — в свой собственный дом! — прибавил он. — Стыдобища несусветная, вот что это такое.

Теда тоже разобрало от выпитого, карие глаза его наполнились слезами.

— Тащи его сюда, — сказал Тед. — Рази ж можно оставлять его на всю ночь в нужнике, бедолажечку такого.

Он плеснул из бутылки себе и мне.

— Шесть бобов, — сказал он бесстрастно. И прибавил: — Да что ж это делается в наших краях-то? Что ж так часто? Женами меняются, мужьями меняются. Как ни крути, неправильно это. Ты бы так сделал? — спросил он Селвина. — А ты сделал бы, Сесил? — А вы бы так сделали? — спросил он меня. — Конечно же — нет, не сделали бы. А вот ты — делал! — сказал он Седрику.

Седрик уже не казался таким бледным, как прежде.

— Всего-то один раз, — сказал он. — После вечеринки. Нас было три пары, и все так перемешалось. Я и не особо хотел, на самом-то деле.

— Не хотел, но делал, — сказал Тед. — Не представляю, чтобы такое могло случиться со мной и моей миссис. Заплывшие мозги и руки в брюки, вот что это такое. Когда заняться нечем. Когда детишек нет в доме. Будемте, голубчик, — сказал он мне. — Это потянет шесть бобов.

На этот раз я не был уверен, что должен платить. Если они собираются водить меня как обезьянку на веревочке только потому, что я вернулся с Востока, то не на того напали. Я попытался донести до них свою мысль:

— Обезьяны всех видов, размеров и пород водятся в джунглях Борнео, — я произнес это удивительно утонченным, даже рафинированным тоном, что на меня совсем не похоже.

Тед сказал:

— Тащите его сюда, бедолагу. Мистер Денхэм шикует. Пусть и он приобщится.

И, вперив взор в цветистый плакат с девушкой в нижнем белье, рекламирующий сидр, он продекламировал странным механическим голосом прорицателя:

— О, римляне, сограждане, друзья — вот в чем вопрос. О, Англия, люблю ее, но странною любовью! Он был богат, хоть составлял доход всего каких-то сорок фунтов в год[1].

С жаром он воскликнул:

— Что вам принесть, голубчик? Оружие или стариковские книги? Тыщи у него были старинных этих пистолей, голубчик. Лучшая коллекция пистоликов во всех окрестных графствах. Так что будете глядеть, а? — Но тут ввели Уинтера-принтера, съежившегося и жалкого, до синевы продрогшего в своем кучем плащике на уличном толчке. — Входи, входи, голубчик, — громко сказал Тед. — Входи, обогрейся. Мистер Денхэм как раз шикует, — тут он снова принялся щедро разливать из диковинной бутылки.

Ну и черт с ними. Я швырнул на прилавок горсть серебра, монеты покатились, лязгая, будто звенья разорванной цепи. Тут вступил Селвин:

— Я видел Стариду Билли Фрибада, того, у которого была лавка, которая теперь у Пибоди. Так ебу борду боталкой раздавило. — Электрические стеклышки слепили в упор. — В серых сапогах, од в дих десять лет по улице ходил.

— Ладно, Селвин, — сказал Сесил, дыша ромом, — больше ни слова об этом.

— А я ево видел, — сказал Селвин и пхнул меня, уже не стесняясь. — Бедя родили бежду дочью и ддём!

Уинтер-принтер подавился, хлебнув свою порцию пойла, проникшего прямо из-за железного занавеса.

— Крепковато для него, — самодовольно изрек Седрик.

Я выдул свое, не поперхнувшись, но комната качнулась у меня перед глазами, словно боксерская груша. А когда она вернулась на место, я увидел аппетитные виноградины слов, целыми гроздьями свисающие у меня над головой. Я сорвал одну — и она превратилась в текст.

1. Набор неточных цитат из Шекспира, Байрона, Голдсмита и т. д.

— Прелюбодейство, — неужто я вознамерился прочесть проповедь? А, гори оно все огнем, я их тут всех пою — так или нет? Значит, я призван возглавить эту паству — так или нет? В общем и целом, — продолжил я, — простительно. Но Уинтер — печатник. Как и мой отец, упокой Господи его душу, — похоже, я решил, что для красного словца моему отцу лучше упокоиться. — Сердце его разбито, — сказал я, — дни свои он окончил в нищете. А из-за чего? Из-за прямоты и неподкупности. Он не смог принять современный мир — все его жалкие извращения и глумление над подлинными ценностями. Печатники не такие, как все. Они рождены, чтобы нести мистерию этого мира своему поколению. Разве типографии — это не храмы? Боксеров, трактирщиков и молочников можно купить и продать, а их ложа могут быть осквернены клеймом зверя. А еще, — тут я обратился к Селвину, — у тебя какая профессия?

— Побощник путевого обходчика, — мгновенно ответил он, — был раньше, да старой железке. Терь я главдый чаёвдик и подбетальщик в "Дортод и Репфорт". И деплохая работка ваще, учти, тут божно и да сторону пойти. Типа мыльдые шарики толкать ученикаб. Или типа карандаши от фирбы. Или туалетдую бубагу от фирбы — даилучшего качества и все такое, три дюжиды в деделю как биленькие, — перечислял он, загибая пальцы.

Я возвысил голос:

— У печатника есть долг перед обществом. Стало быть, у печатниковой жены есть долг перед печатником. Логично, не так ли? Вот именно.

Уинтер сидел, открыв рот чуть ли не шире, чем дебилоид-Селвин. Тед полулежал на стойке: не слыша, он завороженно следил за моими шевелящимися губами и по-кроличьи подергивал носом. Сесил мощными струями испускал ромовый выхлоп через ноздри, пытаясь перевести дух.

— Так, — сказал я, — мы искореним прелюбодейство среди печатников. Еще по одной на посошок. Всем по последней. Прикончим бутылку. — Послышался стук туфли этажом выше.

— Сей же час, голубушка, — отозвался Тед, — прикончиваем.

Тед налил всем, кроме Седрика. Подняв бокал, он твердо сказал, обращаясь к Уинтеру:

— Не терпи это. Ты не должен сносить ее сумасбродства, или его. Я видал, как мужиков и получше него разъясняли.

Уинтер заплакал. Похоже, он плакал по-настоящему. Я сказал:

— Пойдем со мной. Можешь спать на отцовской кровати. Он бы не возражал. Он тоже был печатником, упокой, Господи, его душу.

Совершенное мной отцеубийство было воспринято как должное. Когда мы допили, Седрик сказал:

— Тамадой — вот кем бы я хотел быть. Загребаешь кучу денег. Лучший отель, все расходы. — Он объявил тонким изысканным голосом: — Леди и джентльмены, президент желает выпить вина за здоровье этих ледей. — Туфля сверху застучала снова, на этот раз более настойчиво.

— Вот и славненько, — сказал Тед. — По коням, голубчики. Мне всегда хотелось узнать, что же в этой бутылке.

— Но мы так и не узнали, что.

— Ну теперь уж без разницы, голубчик, ведь она пустая. — Он перевернул бутылку, и последние капли тихими слезинками скатились на прилавок.

Тед выпроводил нас через двери общего бара во двор. Издали доносились отзвуки кошачьего концерта. Кораблик полумесяца без руля и без ветрил метался в бурной пучине небес. Седрик сказал:

— Подброшу этих двоих на своей маши-ыыыне. Понимаешь, мы живем на другом конце города.

Этим длинным "ыыыыы", он как будто пытался отобразить размеры самого автомобиля. Я притворился, будто здорово впечатлен тем, что у него имеется машина. Селвин сказал:

— Седрик был сильдее ужрабши, когда герци Эдидборо прибыл к даб. — Спущенная виолончельная до-струна бамкнула в сельской ночи.

— Ага. На мэрском банкете. Я стоял прямо за спинкой кресла Его Высочества.

Селвин уставился на месяц, словно тот внезапно свистнул, чтобы привлечь его внимание, что, наверное, было к лучшему, учитывая своеобразные таланты Селвина. Он сказал:

— А я богу увидеть таб человеков. А еще я видел, кто живет да тоб боке луды. Оди кабута зеледовато-сидий дыб. Во сде оди мде сдились.

С меня было довольно. Я уже предчувствовал, что Седрик вот-вот начнет допытываться у меня о сексуальных предпочтениях негритянок, поэтому подхватил Уинтера под руку и поволок его прочь, бросив Седрика на старом крыльце черного хода, пока тот нашаривал в кармане ключ зажигания.

— Доброй ночи, — проорал я напоследок, но никто не ответил.

Нигде поблизости я не увидел припаркованной машины — не иначе, ее угнала банда грабителей. Уинтер вдруг затараторил:

— Честное слово, в этом нет никакой необходимости, честное слово. Я вполне сам могу о себе позаботиться.

— Ляжешь спать в кровать моего отца, — сказал я. — Не можешь же ты всю ночь слоняться по улице.

— Вы не можете уложить меня в одну кровать со своим отцом. Это неправильно. К тому же я не хочу спать с вашим отцом.

Внезапно я остановился, и до меня дошло, что мой отец все еще жив, но какое-то странное суеверное чувство, словно некий намек на воскрешение Лазаря, охватило меня при этом.

— Да, — ответил я. — Это я упустил. Тогда ты можешь спать в передней. Или я посплю в передней — телек посмотрю или еще чего поделаю, а ты можешь лечь на мою кровать. Или вот что, погоди-ка! А давай лучше добудем твои ключи?

Уинтер хихикнул и сказал:

— В это время телек не показывает уже. Видать, тебя долго не было.

— Ключи! Как насчет твоих ключей? Разбудим эту шлюху и спросим с нее.

— Не называй мою жену шлюхой, — Уинтер возразил мне запальчиво, как и полагается в таких случаях, но не очень убедительно.

— Ладно, она не шлюха. Но прелюбодейка, — внезапно я вкусил сладость этого слова. — Прелюбодейка — вот она кто. Чертова прелюбодейка. Женщина, совершившая прелюбодеяние. Пошли — застанем ее на месте прелюбодейского преступления. И его застанем. И ты сможешь бросить первый камень.

Мы забрались уже на самую сельскую окраину, повернули за угол и оказались на Клаттербак-авеню. Я снова держал Уинтера под руку, и он сносил эту мою бесцеремонность с кротостью Алисы, сносившей бесцеремонность Герцогини, и так же терпеливо он сносил мои варварские вопли о прелюбодеянии. Я был для него лишь заезжий сумасброд с Востока, и бухой к тому же — временной карман в пригородном потоке, как Тедов паб или как та деревня, пределы которой мы только что покинули.

На улице не было ни души, кроме нас. Разве что кошка, звякнувшая пустыми молочными бутылками у чьего-то порога, да часы на церковной башне, пробившие четверть чего-то, да собака, завывшая тоскливо.

— Они ведь где-то здесь, так ведь? — спросил я.

— Я так не сказал, — ответил Уинтер с какой-то угрюмой робостью.

— А твой дом где? — спросил я его. — Где-то здесь, да?

— Где-то здесь, да, — вынужденно промямлил он, соглашаясь.

— Так пошли к тебе, — сказал я, — сваришь нам по чашечке какао или еще чего. Я умею плести чертиков из кусочков про-

волоки. — Я оглядел дома, вдоль которых мы шли. — Они все на одно лицо, — сказал я. — Полагаю, на самом деле совершенно без разницы, в который мы зайдем. Я думаю, они и внутри все одинаковые. В каждом летящие глиняные уточки на стенке. И телек.

То, как дрогнула его рука, и как, почти неощутимо, он ускорил шаг, словно ноги его пытались попасть в такт с биением сердца, безошибочно свидетельствовало, что мы приблизились к тому самому дому — дому, в котором жена Уинтера и муж другой женщины лежали, согревая друг друга прелюбодейскими объятиями. Уютное зимнее продолжение летнего теннисного микста. Я остановился. Он попытался высвободить руку.

— Они тут, да? — спросил я.

— Ничего не делай, — предостерег он, — предупреждаю тебя.

Я крепко держал его под руку, а он дергался, пытаясь вырваться. Я заорал посреди ночной тишины, обуянный жуткой радостью.

— Прелюбодейка! Прелюбодей!

— Ох, да заткнись ты, заткнись! Я вызову полицию!

— Сбросьте сюда ключ, — разорялся я, — чертовы грешники!

— Перестань, перестань! — рыдал Уинтер. — Я звоню в полицию, я позвоню, вот увидишь, — и, конечно, он рванулся к телефону-автомату на углу улицы.

Но я клещами зажал его предплечье и орал:

— А ну выходите, вы оба! Веди же себя, как мужчина, — призвал я Уинтера.

Мне почудилась какая-то возня, какие-то сонные голоса, вопрошающие, что происходит. Вспыхнул свет, но не в искомом доме.

— Прелюбодейские твари! — воззвал я. Засветилось еще одно окно, потом еще. — Будь же мужчиной, черт тебя побери, — убеждал я, — сражайся за то, что тебе принадлежит по закону!

Но тут какой-то мужик в пижаме и ботинках на босу ногу заковылял по неровному булыжнику прямо к нам.

— Эй вы, — сказал он, и я при этом заметил, что во рту у него ни единого зуба, — проваливайте отсюда! Только вас нам тут не хватало.

— В мире слишком много прелюбодейства! — сказал я. — И я не думаю, чтобы мы были представлены.

— Щас я представлю свой большой палец твоей жопе, — сказал мужик. — Валите отсюда. Людям завтра на работу, не все тут лоботрясы, как вы.

— Прелюбодей, — обличил я его, но уже без прежнего ветхозаветного пыла, я сказал это слово почти обыденно, поскольку мужик уже был совсем близко.

Он неуклюже — шнурки на его ботинках были развязаны — перешагнул крошечную калиточку своего дома. Тут я совершенно потерял ориентацию в пространстве, я уже не мог сказать, где чей дом.

— А что с того, если и так? — ответил мужик. — Это свободная страна, не так ли? А теперь убирайтесь, пока я не вышел из себя.

В эту минуту где-то открылось окно, и женский голос крикнул: "Лови!" — и что-то звякнуло о булыжную мостовую.

— Вот и все, что нам было нужно, — сказал я. — Доброй ночи, сэр, премного благодарны вам за содействие.

— Смердите, как передник барменши, — сказал беззубый мужик в ботинках и пижаме.

Он неуклюже перешагнул свою калиточку и заковылял обратно к своему дому по неровному булыжнику.

Женский голос, голос, звучавший так, как будто его накрутили на бигуди, спросил:

— Что там такое, Чарли?

— Ложись. Какие-то чертовы пьянчуги.

Дверь хлопнула с треском — точь-в-точь пощечина нерадивому производителю плохой фанеры. Я ползал по тротуару в поисках ключа, до того чистому, вымытому дождем, высушенному ветром тротуару, хоть садись на нем обедать. Свет фонаря через дорогу выхватил ключ из темноты — в шаге от калитки.

— Ну вот, — сказал я поникшему Уинтеру, — я восстановил тебя в твоих правах, — и я преподнес ему ключ с пьяной учтивостью.

Он ключа не принял. Даже не взглянул на него.

— Это не мой ключ, — сказал он.

— Ты даже не посмотрел.

— Он не может быть моим, — сказал Уинтер. — Это не его дом. Ты же не слушал меня, да? Ты же лучше знаешь, да? — подлинный гнев сквозил в его голосе, дьявол выглядывал из-под личины печатника. — Это дом кого-то другого.

— Боже ты мой, — восхитился я. — Тут что, и впрямь на воре шапка погорела?

Я переступил через ближайшую калитку, прокрался по дорожке к двери и сунул ключ под коврик. Кто-нибудь найдет его когда-нибудь и кому-нибудь отдаст. Когда я вернулся к калитке, Уинтера и след простыл. Ему некуда было идти, но он ушел.

— Вот же гадская страна, где люди входят и выходят через потайные двери. Слишком много здесь чертовых погребов и подземелий, — пьяно подумал я.

А потом, избрав курс на луну, зигзагами направился к дому.

Глава 3

Звон, слышный и в аду, умолкни![1] Проснулся я разбитым — без бодуна, но зато с огромным чувством вины. Я помнил очень немногое из того, что наболтал или натворил под действием кириллицы, и только благодаря неким евангелистам-синоптикам[2] мне удалось в конце концов сложить воедино картинку моего вчерашнего "жития". Самым красноречивым оказался беззубый человек в ботинках и пижаме, который мало-помалу проявился из зубастого и костюмированного торговца керосином, заговорившего со мной в городском баре и давшего подробнейший отчет о моем ноктюрне на Клаттербак-авеню. Беззлобно, конечно, однако с явным удовольствием. Чарльз Доз его звали, и он согласился со мной, что в мире слишком много прелюбодейства.

— По зрелому рассуждению, я понимаю это так: война заставила нас забыть, как все было раньше, и вот они проворачивают дельце с разбавленным молоком, и даже микстура от кашля уже не та, что раньше. И консервированный лосось. Вы видели где-нибудь консервы из лосося или сосиски, как до войны?

Однако в это засушливое и ветреное воскресенье я был убежден, что сильно обидел какую-то даму или кого еще, и даже боялся выйти из дому. И только во время запоздалого завтрака, когда я сыпанул в суповую тарелку немного овсяных хлопьев, ветер, проворным змеем просочившийся под дверь кухни, принес имя Уинтера. И тогда распутство заголосило из "Новостей со всего мира", а я сидел, зажатый отцовским креслом, и кусал ногти перед электрокамином. Отец мой, добрый и целомудренный человек, ушел играть в свой ветреный гольф. В полпервого он с друзьями отправится в "Роял Джордж", в Чалбери, к "девятнадцатой лунке"[3], а потом его подбросят до сестриного дома, куда мы с ним званы на ланч сегодня и каждое воскресенье. Машины у меня не было, и я внезапно содрогнулся от мысли, что мне нужно вот прямо сейчас выйти из дому, пройти с полмили, потом стучать зубами на перекрестке в ожидании нечастого автобуса, который ходил до "Прелата и

1. Цитата из стихотворения А. Хаусмана "Бридон-хилл":
   Над Бридоном как прежде
   Колокола в ладу:
   "Все в Божий храм придите"...
   Звон, слышный и в аду,
   Умолкни! Я иду...
   Перевод Е. Калявиной.
2. Синоптики — первые три евангелиста (Марк, Матфей и Лука), повествования которых составляют одно целое, дополняя друг друга.
3. По правилам в гольфе нет девятнадцатой лунки — так в Англии традиционно называется паб при гольф-клубе.

кабана" (где не было ни прелата, ни кабана, ни даже паба с таким названием), а оттуда еще полмили топать пешком к деревне, населенной пассажирами с сезонными проездными билетами. И все это ради сестриной дурной стряпни, улыбки зомби на лице зятя и древнего лохматого пса, который громко пердел, лежа под нашими стульями. И еще, конечно, изображать семейную солидарность (хотя Берил была безразлична к отцу и не выносила меня, на что мы с отцом отвечали взаимностью), потому что вся эта мистика вдруг стала важна отцу после смерти матери. Так что я быстро побрился, повязал галстук и, по самые уши погрузившись в воротник пальто, побрел сквозь доставучий песчаный ветер к автобусной остановке, моля Бога, чтобы никого не встретить.

В ожидании я сучил ногами на остановке и, поглубже засунув руки в карманы, вслух крыл Англию на чем свет стоит и приплясывал на ветру, который напрасно стучался в воскресные магазины. Сигаретные пачки, футбольные программки, автобусные билеты проплывали мимо в пылевых призраках субботы. Женщина с красно-коричневым лицом и молитвенником цвета бланманже тоже ждала автобуса до "Прелата и кабана" и с красно-коричневым неодобрением поглядывала на меня. Через двадцать минут перед нами разверзся автобус из города, почти пустой, и он заглотнул нас, этот зев воскресной тоски. И вот так мы воскресничали, громыхая и скрипя в пустоте выходного дня, я — на втором этаже, комкая одиннадцатипенсовый билет и изучая рекламу зимних коммерческих курсов, прилепленную к стеклу. Мной овладело беспокойство, я подумал, что, скорее всего, никогда не осяду в Англии — после токийских эротических шоу и ломтиков зеленого перца, загорелых ребятишек, плещущихся у придорожных водокачек, жужжания кондиционеров в спальнях, огромных, как танцевальный зал, ничтожных налогов, пряных закусок, ощущения себя большим человеком в большой машине, баров в аэропортах Африки и Востока. Был ли я прав, чувствуя себя виноватым? Кто я такой, чтобы рассуждать о безответственности современной Англии? Я рассматривал деревушки, ковыляющие мимо, ветер теребил клочки рекламных плакатов давно минувших событий. Все что мне нужно было — это, конечно, выпивка.

Я получил ее в холодном пабе на полпути от конечной остановки автобуса к дому сестры. Мне пришлось пробиться через толпу мужиков в шапках, которые оживленно беседовали в общем баре о древнем Артуре. Я чувствовал себя пришельцем, обиженным даже хозяином: когда заказывал двойной виски и продемонстрировал визитки в бумажнике — воцарилось враждебное молчание.

К сожалению, виски разбудил кириллическое пойло, и моя речь стала неразборчивой, когда я спросил сигареты, а рука со всеми ее пальцами — неуклюжей, когда я подбирал сдачу. Казалось, что за мной наблюдают сквозь прорезь прицела. Пришлось спросить еще виски, чтобы доказать способность поглощать алкоголь (как же мы бываем глупы, когда опасаемся сомнений в своей мужественности), и когда я выходил, то толкнул дверь, вместо того чтобы потянуть на себя.

— Дерни ее, приятель, — сказал кто-то, и мне пришлось повиноваться. Я навернулся о скребок для ног и, когда дверь захлопнулась, послышался громкий смех. Мерзкое, острое лезвие ветра полоснуло со стороны сестрицыного дома. Я испытывал стыд и ярость. На Востоке же царила вежливость, двери открывались как следует, и не было никаких скребков.

В доме сестры тоже громко смеялись. Я услышал, когда постучался. Но на сей раз смеялись зрители в радиопередаче, и этот смех размазал мою депрессию, как джем, по черствой галете моей ярости.

Дверь открыл отец с воскресной газетой в руке, обессилевший от гольфа. Он порывисто кашлял, от чего вспыхивал уголек сигареты у него во рту. Увидев, что это я, он покашлял, кивнул и вернулся в дом читать спортивные новости.

В гостиной стоял запах дряхлой псины, земной укор размытым влагой картинам немыслимых псов на стене. Добропорядочный черный телефон застенчиво сверкал из-за цветастых штор — этакий самодельный шатер Берил для долгого безмятежного трепа с подругами, если они у нее были. Я заметил выжженное на фанерке стихотворение, расхлябанное по форме и высокопарное по содержанию:

В этом мире вздора, где
Словно камни, две есть меты:
Доброта, коль друг в беде,
Мужество, когда в беде ты.

Здравый школьный юмор Берил был представлен макароническим образцом в рамке: *Я – хохотирен, ты – улыбато, он – смейон.* Слышно было, как Берил в кухне в конце коридора мурлычет выхолощенную версию “Зеленых рукавов”, и пары сочной зелени рвутся из-под шума картофелемялки. Я снял пальто и услышал, как спустили воду в туалете на втором этаже и как потом защелкнулась дверь. По ступенькам, застегивая ширинку, спустился Генри Морган, муж Берил.

— Йо-хо-хо, — сказал я, — как поживает король пиратов?

Ему это никогда не нравилось.

— Эверетт уже там, — ответил он и, подумав, кисло улыбнулся мне задним числом.

— Кто такой Эверетт?

— Он работает в местной газетенке. Был когда-то большой шишкой, вроде. Берил сейчас ведет колонку сельских новостей. Два пенса за строчку.

— Должно быть, солидный вклад в семейный доход.

— Да не очень, вообще-то. Скорее почета ради, как нам кажется. Иди же, познакомься с Эвереттом. Ему уже не терпится тебя увидеть.

Мы вошли в гостиную, где нас горячо встретил пес. Мне не хотелось ехидничать по поводу обстановки, в комнате было тепло, а тепло никогда не грешит дурным вкусом. Но этот самый Эверетт защищал огонь в камине, как будто кто-то мог стащить его, и поджаривал себе задницу, листая одну из книг Моргана. За час он мог бы перелистать их все. Эверетт поднял взор, в котором горело безумие, — этакий огрызок человека в коричневом ворсистом спортивном пиджаке с карманами, которые, судя по дребезжанию, были набиты шариковыми ручками. Ему было пятьдесят с хвостиком, к лысине приклеился пустой нотный стан из пяти жгутиков волос, под армейскими очками скрывались совсем белесые глаза, глаза, почему-то навевавшие мысли о "георгианских стихах". И тут выскочило имя, потому что кто-то в этом городе когда-то упомянул, что Эверетт написал стихи, которые этот кто-то учил в школе, и что имя Эверетта можно найти в георгианских антологиях — незначительное имя, по правде, но все еще представляющее более благородную традицию искусства, чем программы на радио, которое Генри выключил наконец. Нас представили друг другу. Отец в глубоком кресле у камина насупился над спортивными колонками, пальцы его рассеянно плескались в шерсти вонючей старой собаки, будто в воде канала.

— А вот и один из торговых князей, — хихикнул Эверетт. Его голос намекал на приглушенные звуки фортепиано — una corda[1], думаю, что-то в этом роде. — *Высоко, на троне Ормуза и Индии, или тех стран, где роскошный Восток щедрой рукой осыпает своих варварских царей жемчугом и золотом*[2].

Он протараторил эти строки, как человек начисто лишенный чувства слова, и опять захихикал, поглядывая на Генри в ожидании аплодисментов. "Переврал первые две строчки", — отметил я с жалостью, но только улыбнулся и сказал:

— "Книга вторая", не так ли? Я читал это на вступительных экзаменах.

1. Una corda (*итал.*) — одна струна, термин используется для обозначения в нотах, когда необходимо левой педалью фортепьяно приглушить звук.
2. Из поэмы Джона Мильтона "Потерянный Рай". (Перевод А. Н. Шульговской.)

— О, — ответил Эверетт, — но слышали бы вы Гарольда с "Потерянным Раем"! Во времена старых добрых "Дней поэзии" в книжном магазине — и это полагаю единственное, чего мне не хватает в ваших заграницах — родственные души объединялись в любви к искусству; я имею в виду совместное чтение стихов, держа, пусть и слабой рукой, зажженный факел. Культуру то есть. Хотя, конечно, нас в этом городишке, — он печально улыбнулся, — так мало, крайне мало. Но каждый старается. Человек пишет традиционно, но всегда готов изменить традицию. Паунд, Эзра, как вы знаете, Паунд сказал: "И мало пьют из моего ключа"[1]. Красота, — оценил Эверетт, очки его обратились к окну. Глаза исчезли, и я вдруг увидел Селвина из минувшего вечера и начал что-то припоминать. Какие-то яйца, какая-то аура или что-то в этом роде. Кто-то внутри уличного сортира. Пес посмотрел на меня снизу вверх сквозь волосатую паранджу и пёрнул.

— Благодарю за стрелку[2], — вспомнил и я.

Эверетт откликнулся:

— Возможно, небольшую заметку для "Термеса". Взгляд вернувшегося из ссылки на изменившуюся Англию. Или какие-нибудь диковинные сказки Востока, может. Нам надо встретиться где-то в тихой обстановке.

— Вы же не забудете? — спросил Генри Морган. — Черкнете о моей выставке "Литературное творчество"? Хоть абзац или пару?

— А что это? — спросил я, изображая интерес.

— О, — отозвался Генри, — у нас наилучшие результаты. Они просто самовыражаются, как им нравится. По аналогии с рисованием. Я хочу сказать, вы не нагружаете ребенка перспективой и пропорциями и прочим. Просто даете им рисовать. Ну, или писать. И результаты просто....

Вошла Берил, в фартуке, несомненно довольная своим "кулинарным творчеством". Вы не сильно обременяете себя температурой в духовке, или приправами, или тем, чтобы как следует вымыть капусту, просто самовыражаетесь, как вам нравится. У Берил всегда довольный вид. У нее и лицо в самый раз, чтобы изображать довольство, — толстые щеки для улыбки и полон рот зубов. Мне трудно сказать, хорошенькая она или нет. Я думаю, что хорошенькая, наверно, но она всегда оставляла у меня впечатление какой-то неопрятности,

1. Цитата из стихотворения Э. Паунда "Вилланелла. Час психологии":
   Красота такая редкость.
   И мало пьют из моего ключа.
2. У. Шекспир. Укрощение строптивой. Акт V, сц. 1. Перевод М. Кузмина.

как нестиранное нижнее белье и чулки со спущенными стрелками или как немытые волосы.

Она обратилась ко мне:

— Привет, бра.

В детстве это была обычная апокопа для “брат”, но потом она научилась “произношению согласно орфографии”, так что теперь это “бра” напоминало остывший суп, поданный на рассвете в затрапезном борделе.

— Привет, Баррель, — ответил я. Скоро, надеюсь, это извращение ее имени будет соответствовать ее объемам.

— Все готово, — сказала она, — прошу за стол.

Это был сигнал для отца зажечь новую сигарету, энергично закашлять и загромыхать в туалет на втором этаже.

— Папа, — сказала Берил вдогонку, — суп на столе.

— Суп на столе, — повторил Эверетт. — Милый Гарольд из этого мог бы чего сочинить. Сейчас... Он испил света из окна, напомнив мне Селвина, и сымпровизировал со многими паузами и смешками:

Суп на столе, и рыба томится.
Что пожелаешь, то и случится —
Сердце огня забудется сном.
С полпудика груди и пудинг потом.

— Вот тебе урок “Литературного творчества”, — сказал я Генри, сильно ткнув его в бок — этому трюку я научился у Селвина.

Берил смотрела на Эверетта с восхищением, и ее сияющие женские глаза говорили: “Глупый мальчик, растрачивающий свой ум на стишки. Вот к чему он пришел в этом мире, к поэзии. Ох, мужчины, мужчины, мужчины...”

Отец, кашляя, тяжело спустился по лестнице, сопровождаемый фанфарами сливного бачка в туалете. Мы приступили к ланчу.

Еда была претенциозная — что-то вроде свекольника с крутонами, недожаренная свинина с сильно разящей капустой, картофельные фрикадельки, консервированный горошек в крошечных пирожках, жидковатый крыжовенный соус, бисквит в загустевшем вине, такой липкий, что все мои зубы сразу загорелись, — ужасная какофония на двух мануалах органа. Дряхлая собаченция ходила от стула к стулу, соперничая с капустой и отцовским кашлем, пока Эверетт рассуждал о поэзии и “Избранных стихах 1920—1954 годов”, которые Танненебаум и Макдональд готовы опубликовать, если только сам Эверетт будет готов вложить несколько сотен фунтов, застраховав их от определенных финансовых потерь. “Ага, — подумал я. — Это он меня пытается подцепить

на крючок". В раздражении я скармливал псу свинину кусок за куском.

— Это расточительно, бра. Ты хоть знаешь, сколько сейчас стоит свиное филе? Мы, знаешь ли, в деньгах не купаемся.

Ну вот, старая песня на новый лад. Я ничего не сказал. Я поставил недоеденное дежурное блюдо на пол, и пес, сплошная шерсть и язык, поглотил фрикадельки и капусту и соус, но проигнорировал пирожки с горохом. Берил побагровела:

— Ты никогда не умел вести себя за столом.

Я улыбнулся, поставил локти на стол, оперся подбородком на руки и спросил:

— Что на десерт?

Эверетт с радостью оторвался от тарелки.

— Стихи! — объявил он.

Должен сказать, что не было в работе его ума ни грана натуги, ни грана наигранности — стишки рождались естественным образом, выскакивая из ритмической сетки речей его собеседников. И вот что он сочинил между укусом липкого бисквита и острым приступом зубной боли:

Десерт? Ведешь ты себя не как все —
Локти на столе, соус на лице.
А сейчас и вообще локти в соусе
И "Что на десерт?" — Ты узнаешь в конце.

Потом он разглагольствовал о великих днях меценатства. И как доктор Джонсон мог самонадеянно попросить Уорена Гастингса[1] стать меценатом для ост-индского клерка, который перевел какие-то стишки с португальского, он подбирался ко мне все ближе и ближе, и я не мог не восхититься тонкостью его рыболовных навыков.

Неожиданно, без предупреждения, безотносительно ко всему, что говорилось, отец нарушил молчание и завел долгий, поистине захватывающий разговор о современных шрифтах — *Goudy Bold, Temple Script, Matura, Holla and Prisma.* Потом он поведал туманно о шрифте на десять пунктов, именуемом "корпус" и о четырехпунктном "диаманте", и "миньоне" о семи пунктах, и Эверетт вынужден был повторять: "Да, да, я понимаю, вполне понимаю, как интересно".

Отец вытащил карандаш и собрался проиллюстрировать на салфетке разницу между "Кентавром" и "Плантином", когда мой зять встрял в беседу:

— А что там с Уинтерботтомом, которого ты споил вчера?

1. Уоррен Гастингс (1732–1818) — первый английский генерал-губернатор Индии (1773–1785). Вместе с Робертом Клайвом вошел в историю как основатель колонии Британская Индия.

Я посмотрел на него отсутствующе, ибо отсутствовал.

— Да, — настаивал Генри, — мне рассказали этим утром в церкви.

— В какой церкви? Где?

— В нашей церкви, здесь. Ласк, наш органист, был у вас в церкви на причастии, потом к одиннадцати он приехал сюда на заутреню. Он рассказал, что Уинтерботтом спал на паперти. И парнишка-звонарь раззвонил, что ты там тоже был прошлой ночью.

— Что еще за парнишка-звонарь?

— Да малый, слегка двинутый такой очкарик. Который видит, как мертвые восстают из могил, как он говорит.

— Генри, — сказала Берил с гордостью, — утром проводил урок.

— Я не очень хорошо помню, — ответил я. — Тропическая амнезия. Такое случается подхватить на Востоке. Но откуда ты знаешь Уинтера-принтера?

— Из школьного журнала, — ответил Генри. — Славный парнишка. Он сказал, что у него часы спешат, и потому он пришел в церковь раньше.

Эверетт начал цитировать что-то траурное из А. Э. Хаусмана.

Берил сообщила:

— Кофе будем пить в другой комнате.

Мы встали, и Эверетт сказал:

— Совершенный пентаметр. Однако не так много рифм. Гробница-темница. А жаль.

Я уже был сыт по горло поэзией, и несварение расползалось, как горелое пятно на газете, когда разжигают камин.

— А чем вы там занимаетесь? — спросил я Эверетта.

— В "Гермесе"? А, веду литературную страницу, статейки пописываю. Об упадке сильных мира сего. Это слабый отзвук минувших дней — времен "Порыва"[1] и "Адельфи"[2] и поэтической колонки, которую я редактировал когда-то. Я обязательно покажу вам кое-что из моего. Но погодите, я же уже предложил встретиться, не так ли? Вернувшийся изгнанник, и его видение филистимлян Англии.

— Конечно же, — вдруг он обратился с непререкаемой убежденностью к Генри, — это же муж Элис, Элис из клуба.

— Ну да, — сказал Генри, — Уинтер, она говорит, но мы-то все знаем, что он Уинтерботтом.

1. Анархистский журнал, выходивший два раза в месяц с 1916-го по 1917 г. в Сан-Франциско.
2. Литературный журнал, издававшийся в Лондоне с 1922-го по 1955 г.

— Вы не поверите, — обратился Эверетт ко мне, — но в нашем пуританском городишке действительно есть клуб.

— Клуб, — откликнулся я. — Место, где можно выпить, когда пабы закрыты?

— Да, — ответил Эверетт. — Полиция не в большом восторге, но даже они понимают, что хорошо иметь место, куда можно повести заезжего бизнесмена. Разве не абсурд, что в таком богатом индустриальном городе, как этот, нет места с приличной кухней, куда можно повести человека и выпить с ним потом. И вот приходится ехать в "Леофик" в Ковентри. Хотя здесь уже есть один приличный индийский ресторан, и это нечто, но еще есть "Гиппогриф".

— Что есть?

— "Гиппогриф". Клуб на Бутл-стрит. И его я имел в виду, думая о встрече с вами, а потом мы поболтаем. Почему бы не завтра? Скажем, в четыре часа. И я могу помочь с членством. Если вас интересует эта затея. Как долго вы пробудете здесь?

— Меня интересует эта затея, — сказал я, — спасибо. — И вдруг сообразил, что я сильно обидел миссис Уинтер и что она может там оказаться. Лучше мне туда не ходить. Я спросил:

— А какое отношение ко всему этому имеет миссис Уинтер?

— Элис? О, она барменша. И дочь трактирщика. Она обслуживает после полудня. Потом ее сменяют в шесть.

Появилась Берил с кофе, и Эверетт, взяв чашку, продекламировал:

> Овсянка в тарелке. Будь, кофе, пахуч.
> С тобой нам блеснет спасения луч.

Сообразив, что все это не совсем к месту, он захихикал и сказал:

— Великолепный ланч, великолепный, великолепный.

— Ну, слава богу, что хоть кто-то так думает, — заметила Берил, глядя на меня.

— И псина тоже, — безжалостно ответил я.

Собака спала, время от времени тихо попукивая. Папа спал тоже, сжимая в руке газетный заголовок УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ПРИВЯЗАЛ ЖЕНУ К БИДЕ.

Я спросил у Эверетта:

— Как ее девичья фамилия? Миссис Уинтер, я имею в виду.

Он энергично помешал кофе.

— Так, минутку. Был такой уютный старый паб "Три бочонка", он обслуживал исключительно американцев, сержантов, пострадавших от химических атак. Хозяина звали, кажется, Том Нахер. Нахер на Уинтерботтом. Неплохой обмен.

Глава 4

Я проснулся в понедельник, чувствуя себя хорошо и невинно, к тому же на удивление здоровым. Стряпня Берил наградила меня несварением – горящий уголь за грудиной, омерзительное тепловое излучение по всему подреберью, кислотная отрыжка, периодически впрыскивающаяся в рот, как автоматический слив в писсуаре, и я очистился во время моциона, пройдя полпути или около того, возвращаясь домой. Не то чтобы я сам нарочно решил идти пешком. Генри Морган предложил подвезти отца в своем спортивном трехместном автомобиле, и Берил сказала, что составит им компанию, чтобы "проветриться". В этом вся Берил! Будь у них четыре места в салоне, она бы решила остаться у очага с каким-нибудь жутко женским журналом или жизнерадостным наркотиком а-ля доктор Панглос[1] от "Ридерз дайджест".

Хорошо я чувствовал себя, потому что поупражнял не только печень, но и терпение. Я позволил Берил кусать меня безответно. Я не дал вовлечь себя в гнусную перепалку о деньгах. Я даже вызвался мыть посуду, но, похоже, Берил сочла это еще одним доказательством всей полноты моего лицемерия, еще одним симптомом мерзости, накопленной мною вместе с деньгами. Я чувствовал себя хорошо, потому что был понедельник, и мне снова напомнили, что я свободен от английского пуританства, что ощутимая теология – "Воскресенье есть шаткий Эдем, понедельник – падение", не властна ни над моими нервами, ни над желудком.

Воскресный кошмар остался далеко позади – деревушка лежала в пудингово-мясном ступоре посреди пустынного послеполуденного бесптичья: жирные тарелки, неубранные постели, колокол вечерни, яркие лампы, будто нарочно зажженные, чтобы обнажить со всей прямотой понедельника скудость всего, о чем сумерки на чайном подносе шутили по-воскресному развязно.

Мне приснился приятный сон про мои университетские дни, про тот год, когда я изучал английский, провалил на первом курсе экзамен и лишился стипендии, приснились мои друзья Маккарти и Блэк, с которыми мы, скинувшись по полкроны с носа, напивались каждый пятничный вечер и декламировали шлюхам англосаксонскую поэзию. Я проснулся под ласковый понедельничный дождь, вспоминая без печали, что и Маккарти, и Блэк давно умерли – один на Крите, другой – в море и что моя жизнь после войны подарила мне свободу, все стало по ба-

1. Доктор Панглос – герой повести Вольтера "Кандид, или Оптимизм".

рабану, честное слово. Отец кашлял в постели. Я пошел в туалет и с удовольствием опростался, потом спустился на кухню приготовить чаю. Пока чайник закипал, в дом проникла, подобно рассерженному миру, утренняя газета, и я прочел огромные, дурные, как приветствия в любовных письмах, заголовки. Потом я отнес чай отцу, спустился опять, чтобы выпить его и самому, сидя перед электрическим камином, и внимательно почитать комиксы. Сущие мифы — эти новости в газетах.

Отец всегда сам готовил себе завтрак. Он спустился, показавшись мне отчего-то особенно постаревшим и разбитым в этих обвисших штанах на помочах и рубашке без воротника. Но он собственноручно поджарил яичницу с ломтиком бекона, напевая между кашлем, потом сел к столу, поставив перед собой блюдо, плавающее в свином жиру, и поперчил его из пакетика. Потом пришли письма — настоящие, из реального мира, после вымышленного, газетного, — и одно из них мне, от моего начальника. Перец почему-то всегда унимал отцовский кашель, так что чтение весточки от его сестры из Редрута сопровождалось лишь тяжкой одышкой и причмокиванием. Моя фирма требовала, чтобы я в среду явился в Лондон — ничего серьезного, но Чалмерс в Бейруте ушел на пенсию, а Холлоуэй в Занзибаре серьезно болен, и возможно перераспределение в высшем руководстве. Я почувствовал головокружительное облегчение от возможности сбежать в Лондон не для поисков распутных развлечений, но по делу — я еще не полностью освободился от английского пуританства.

Я отварил два яйца и только собрался поесть, как зазвонил телефон. Спрашивали меня, и это был Эверетт.

— Денхэм, — сказал он, — доброе утро, Денхэм. Дрянное утро, не так ли? Вот что, я, может быть, опоздаю. Мне надо встретить поезд, знаете ли, дочка, она только что снова ушла от мужа, о, это долгая история. Но все равно, будьте там. Вы же придете? Я приду с ней. Я видел Мэннинга вчера вечером, он там всем заправляет, так он сказал, что с радостью выдаст вам временный членский билет. Так или иначе, я всегда к вашим услугам, дорогой мой, пока вы тут с нами, и всегда с радостью. Ни о чем не думайте.

Ясное дело, я для него много значил. Голос Эверетта сопровождался стуком печатных машинок, большой занятой мир. Я продекламировал:

> Спасибо, что вы позвонили мне.
> Но яйцо каменеет уже на огне,
> А на тарелке — другое....

Я хотел сказать, что второе яйцо затвердевает, как земля в ожидании человека, который ступит на нее, но не смог сра-

зу найти рифму. Эверетт хихикнул, смутившись, как если бы поэзия была уместна в воскресенье, но никак не утром в понедельник, если не считать, конечно, ее товаром на продажу. Он сказал, что мы еще увидимся, и повесил трубку.

Я отправился в город на автобусе, оставив отца в садовом сарайчике заниматься чем-то необъяснимым, но полезным. Дождь угомонился, но улицы еще были скользкими, в разводах нефтяных радуг. Я зашел в банк снять еще пятифунтовых банкнот, потом стоял, как голодранец, в городской библиотеке, читая "Крисчен сайенс монитор", потом отправился за первой утренней выпивкой в забегаловку, облюбованную разного рода торговцами. Официантами там служили беженцы из Венгрии, а негр из Вест-Индии собирал грязные бокалы — все мы там были теплая компания беженцев. Неожиданно меня пронзила тоска по пряному Востоку и вспомнилось, что Эверетт что-то говорил об индийском ресторане. Я спросил бармена, огнегривого ирландца, а тот справился у одного из бизнесменов (пакистанца, судя по всему), а потом вернулся ко мне и доложил, что ресторан "Калькутта" находится на Эгг-стрит около Птичьего рынка. Я пошел туда и съел там безвкусный дал[1], жесткую курицу, жирный пападам[2] с рисом, застывшим, как пудинг. Обстановка могла вогнать в депрессию — коричневатые засаленные обои, календарь с бенгальской красоткой (голой, безумно сдобной, лет этак тридцати восьми), — и было очевидно, что несколько индийских студентов лакомятся особым карри[3], приготовленным для своих.

Управляющий был из Пондишери, он называл меня месье, и мои нарекания его не слишком-то впечатлили. По меньшей мере, один из официантов был с Ямайки. Обозлившись, я убрался в паб, где хозяйка шастала в бигуди, и пил там бренди до закрытия. Утреннее хорошее настроение улетучилось. Когда дверь паба закрылась, день широко разинул пасть — и эту дыру следовало чем-нибудь заткнуть. Клуб, конечно. "Гриффин", "Гиппократ" — или как там его. Недоподвыпивший, а потому злой, я ни о чем не мог думать, кроме обличительных нападок на прелюбодейство. Потом я несколько успокоился, вспомнив о том, какую свинью

1. Дал (также дхал, даал) — традиционный вегетарианский индийский пряный суп-пюре из разваренных бобовых.
2. Пападам — очень тонкая круглая выпеченная лепешка из чечевичной муки, распространенная в различных регионах Индии и Непала.
3. Карри — название разнообразных распространенных на юге Индии пряных густых жидких блюд из тушеных овощей, бобовых и/или мяса. Карри обычно приправляются пряной смесью приправ и, как правило, подаются с рисом. Смесь приправ для карри также называется карри.

подложил некой прелюбодейке, и рассмеялся добрым полуденным смехом над всеми Нахер-Уинтерботтомами прямо в кислую физиономию окружающей меня серой улицы. И так хорошо и смиренно было мое доброе отношение к Берил, что я решил и впредь быть великодушным ко всем женщинам, даже когда они согрешат. Я чувствовал, что впадаю в сентиментальность, так что пришлось пойти на центральную улицу с большими магазинами, где уже зажигали огни, и в чувственном порыве купить "Летящие облака" и "Три замка" в табачной лавке, где управляющий был одет, как шафер на великосветской свадьбе. Над фонарями великое умирающее зимнее небо гремело, словно орган. Я зашел в молочный бар выпить чашку чаю, сел возле удобной хромовой стойки с кружками, и вскоре кто-то толкнул меня в бок.

— Ага-аа — обрадовался Селвин, — дебось дикода не дубал, что увидишь медя здесь, бистер?

Перед ним стояла какая-то бурда, украшенная кремом, его глаза прятались за огнями фонарей с улицы, отражающихся в его окулярах, идиотский рот был открыт. Одет он был во что-то вроде джинсовой униформы заключенного, вид имел победоносный и виноватый одновременно.

— Думаешь, дебось, что у бедя выходдой? А вот и детушки. Я придес посылку бистеру Гуджу на Йенри-стрит.

Раззявив рот в беззвучном хохоте, он изобразил какой-то судорожный танец, крем мрачно плясал вместе с ним. Потом он сказал:

— Некода мде тут болтать с вами, бистер. Увидибся вечером в субботу.

Он засмеялся гулко, как далекая корабельная сирена или пустая пивная бутылка, притворившаяся флейтой.

— Ты тада таак даклюкался, — сказал он мне и обратился к молочному бару, — он тада таак даклюкался.

— Позволь мне угостить тебя еще одним стаканом этого крема, — сказал я. — Что же я натворил?

— Крээб? Это ди крээб. Это, — он открыл меню и громко прочел: — "Болочдый коктель 'Золотое величие'". Тедова биссис проклидала Теда да чем свет, — продолжил он, — Сесилу было дурдо, а у Седрика башида оказалась за пять улиц, и од ее еле дашел. А вот я, как огурец, бистер. Даже в колокол зводил наутро. Ага-а! — он победоносно пихнул меня в бок.

— А я?

— Ты ушел болтаться по улицаб, бистер, — и он шестью гулкими порывами прогудел снова, как в бутылку: — До никтооо ди сказаал твоебуу пааапе.

Анемичная барменша в отбеленном поварском колпаке, утомленные посетители — читатели утренних газет, все это не

вызывало ни малейшего интереса. Я уже смертельно устал от безответственности, возложенной на меня пригородной Англией (Тед Арден? Селвин? Напиток с кириллицей?). Мне же полагается быть взрослым, человеком, на которого можно положиться, уважаемым старшим служащим в уважаемой экспортной фирме. Я встал с вертящегося стула, решив немедленно ехать в Лондон. Когда я выходил, Селвин крикнул вдогонку:

— Ты ди допил чай! — а потом повторил окружающим: — Од ди допил чай!

Я знал, где находится станция, Лондонское направление, надо бы позвонить отцу или отправить телеграмму. ("Решил поеду сегодня. Скоро вернусь".) Когда я шел по пути к железке, этой иллюзии свободы, мне казалось странным образом, что я возвращаюсь в детство. Может, из-за уютной тусклости газетного магазинчика, комиксов в проеме двери, так похожей на ту, у которой я замешкался однажды в зимнем странствии домой из начальной школы. Прокопченные сумерки города резонировали на моей шкуре, как камертон. В памяти останется последний урок дня — изорванная хрестоматия под муниципальными фонарями, колокольчик булочника, муррр, сказала кошка, робин-бобин, тени детской, доля оборвыша, за цыганской звездой кочевой, и еще какие-то незатейливые и современные невинные стишки таких поэтов, как Дринкуотер, Дэвис, Ходжсон, Эверетт[1].

Ясное дело, мой разум готовил меня к появлению Эверетта, как оркестр готовится к вступлению побочной темы. Эверетт чуть ли не галопом летел, чтобы нагнать меня, запыхавшись.

— Нет, — выдохнул он. — Все не так, ну что же вы. Мы же должны были встретиться в "Гиппогрифе". Это мне надо было на вокзал. Я *подумал*, что, может, я позвонил слишком рано...

— Ваша дочь, — сказал я.

Девочка, которой он посвящал стихи, мечтая о ее будущей красоте, воспевал ее надрывающую сердце невинность, шаловливые ноги под клетчатой юбкой, прямые льняные волосы. Женщина, снова ушедшая от мужа.

— Сколько вам лет? — спросил я.

— Пятьдесят семь.

— Ну да, — сказал я, — вы казались мне таким старым, когда я учился в школе. А Гарольду Монро[2]?

— Гарольду? Гарольд умер. Он скончался в 1932 году.

1. Повествователь упоминает Эверетта наряду с реальными английскими поэтами "второго ряда": Джоном Дринкуотером (1882–1937), Хью Сайксом Дэвисом (1909–1984), Ральфом Ходжсоном (1871–1962).
2. Гарольд Монро (1979–1932) — английский поэт и издатель, открывший книжный магазин "Лавка стихов" в Блумсбери.

Мы входили на платформу, цыганская звезда кочевая сияла на огромном белом циферблате.

— Мы рано, — сказал Эверетт. — Она приедет не раньше пяти.

— А следующий поезд в Лондон?

— В восемь-десять, кажется. Я надеюсь, вы не собираетесь покинуть нас так скоро?

— Как сказать.

Нас окружали праздничные плакаты с прошлого лета.

— У меня там дела. Завтра, наверное.

Эверетт купил перронный билет, я был без гроша, он купил и мне.

— Есть время выпить чаю, — предложил он, и мы с шумом зашагали по прогнувшимся доскам застекленного моста к лестнице, ведущей на четвертую платформу.

Мы вошли в грязную чайную, обставленную в готическом стиле, и Эверетт заказал чай. Официантка обслуживала нас с усталым пренебрежением: к посетителям она относилась, словно к тупому бесконечному фильму, способному только с помощью заказов и денег установить редкий стереоскопический контакт с ее реальным, но еще более тупым мирком. Эверетт проводил меня к столику и заговорил печально, но настойчиво.

— Моя дочь Имогена, — сказал он, — боюсь, она и правда сделала не слишком удачный выбор, выйдя замуж. Но я искренне надеялся, что дела пошли на лад в последнее время, потому что она не приезжала домой уже более года.

— У вас еще дочери есть? — спросил я, поскольку был уверен, что Эверетт, выбирая имена, не опустился бы ниже Корделии, Пердиты, Миранды, Марины[1]. Но он покачал головой и сказал, — мое единственное дитя.

— А ваша жена еще жива?

Он снова покачал головой, но в этот раз это означало что-то другое. Он добавил:

— Я бы не удивился, если это так. Трудно вообразить, что эту женщину возможно убить.

— О! — Мне понравилась эта поэтическая откровенность.

— Ну что я могу сказать Имогене, ну правда? Она знает все о матери. Она знает, что всегда может пулей вылететь с чемоданом, и, как ни странно, к отцу, чья жена делала абсолютно то же самое, унеся в итоге гораздо больше, чем просто чемодан.

— Что это значит?

— Все. Уйму всего. Даже абажуры.

1. Имогена, Корделия, Миранда, Марина, Пердита — имена шекспировских героинь.

— Понятно. Видно, это долгая история.

— Если задуматься, о браке написано совсем немного стихотворений, — сказал он. — Вроде эта тема не совсем естественна для поэзии, не то, что любовь, измена и вино. Это может означать только, что брак — явление неестественное.

Он снова размешал чай, как будто отчаянно хотел выудить что-то сладкое, хоть откуда-нибудь.

— Отцовство, однако, совсем другое дело.

— Могу только вообразить.

— Никогда не приходилось? — невинно спросил он. — Неужели вы не народили цветных ребятишек в ваших недолгих чужеземных путешествиях?

— Возможно. Я не знаю. Но это же ненастоящее отцовство, разве не так?

— О да.

Он опустошил чашку.

— Она захочет выпить по-настоящему, как только прибудет, — сказал он, — вся в свою мать. Но мы можем повести ее в клуб, конечно.

— Сколько ей лет?

— Имогене? О, двадцать восемь, тридцать, около того.

Казалось, он потерял интерес к разговору о своей дочери, угрюмо глядя на стену с желтой инструкцией железнодорожных правил. Но когда стали слышны предвестники приближающегося поезда — оживившиеся носильщики, неразборчивая речь объявлений, неистовое кипение горячего чая, — он снова пришел в нетерпение и выбежал, стремглав, на платформу.

Я последовал за ним. Поезд надвигался. Я увидел, как машинист надменно выглянул из уютного пекла, обменявшись — как солдат и тыловой служащий — секретными взглядами с официанткой из чайной. Пассажиры, лишенные иллюзий прибытия, выходили безрадостно в серый пар; пассажиры, жадные до иллюзии, локтями расталкивали друг друга, прокладывая себе дорогу. Девушка подбежала к Эверетту с криком “Папочка!”.

Поэт и дочь поэта обнялись. Значит, это и есть Имогена. Думаю, в самый раз процитировать стихи Эверетта, написанные ей — семилетней, хотя сам я впервые прочел их только после этой первой встречи с нею:

В душу запали твоя добродетель
На этой, рвущей душу земле,
И чада ее, утенок и мышка,
Теленок, еще не чующий ног.
Касаясь тебя, прикоснуться я смог
К ужасной тайне рождения во мгле.

Боюсь, что уходишь ты, миру неся
Девственный дар твоей красоты
Средь взрослых зверей. О, как боюсь
Скребущихся в дверь прожорливых рук.
Каких раздирающих душу мук
Мне стоит тот выбор, что сделала ты.

Я был представлен, полюбовался властным лицом в свете фонаря, растрепанными рыжеватыми волосами, ладным податливым телом. Она мне улыбнулась и сказала, обращаясь к отцу:

— Господи, все что угодно за стаканчик, и все они, разумеется, вечно закрыты?

— Ох, я думаю, мы что-нибудь придумаем ради тебя, — отозвался ее папа, ухмыляясь. — Так ведь, Денхэм?

— *Вы* придумаете, конечно, — ответил я.

Она взяла Эверетта за руку, и они быстро пошли к ступенькам, Эверетт — с одним из ее чемоданов. Я подхватил другой, хотя меня не попросили и не поблагодарили. Видимо, она считала мужчин бесплатным к себе приложением. Ну и черт с ней. Потом я вспомнил, что собирался впредь по-рыцарски великодушно относиться к дамам, как бы порочны они ни были. Когда мы поднялись по ступенькам и проходили через турникет, я смог рассмотреть ее красоту более внимательно. Она не подвела Эверетта — дочери поэтов не имеют права на уродство, и даже в большей степени, нежели поэтессы, обладают правом на красоту. Мы сели в такси и, пока мы двигались к Бутл-стрит, Имогена энергично рассказывала отцу о жизни в Беркенхеде, с которой она теперь распрощалась, со злостью, о муже, который вроде бы служил в бюро перевозок, и — без удержу — о природе их сексуальной жизни. Водитель, не отделенный стеклом, с большим интересом навострил левое ухо.

— Но что же не так? — спросил Эверетт.

— Просто терпеть его не могу, вот и все, — ответила Имогена.

Она говорила на литературном английском, как репертуарная актриса.

— Да и никогда не могла, полагаю, нет, честное слово.

— Что ж, — вздохнул Эверетт, — тогда надо развестись. Но вроде бы у тебя нет никаких реальных оснований, не так ли? Кроме того, мы не в Америке живем, если не забыла.

— Я давала ему основания, — заявила Имогена пронзительным леденящим голосом, — множество. Но он и слышать не желает. Говорит, что любит меня.

Последний выкрик вылетел из открытого окна такси, когда мы остановились на светофоре.

Мужчина пересекавший улицу, заслышав это, прищелкнул языком, одновременно дернув склоненной головой.

— Ты, — крикнула Имогена, — не суй нос не в свои дела. Нахальный мудила!

В такси возникла атмосфера торопливо-смущенного покашливания, и мы рванули на зеленый. Мы свернули в боковую улицу, в одну из тех, где стеклянные витрины сплошь заполонили рояли, омытые холодным белым светом, потом в другую, и остановились у кофейни.

— Ну, Господи, нет, — простонала Имогена, — только не опять эти помои.

— Вы удивитесь, — сказал я, — что это пойло делает с недорослями, оно гораздо мощнее пива.

Она окатила меня взглядом, скроила недовольную мину и сказала:

— Я вам не недоросль.

Потом, пока водитель вытаскивал ее чемоданы из багажника, она заметила то, что уже увидел я рядом с кофейней — что-то, напоминающее вход в преисподнюю. Красная стрела указывала на погреб с надписью: КЛУБ “ГИППОГРИФ”. ВХОД ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ.

Эверетт заплатил за такси и сказал, чуть горделиво:

— Это я предложил название. Я, видите ли, один из отцов-основателей. Идемте вниз.

Чемоданы Имогены остались на моем попечении. Неуклюже спускаясь за отцом и дочерью по узким подвальным ступенькам, я чувствовал, что мы отправляемся на краткий отдых в ад, а Эверетт, подобно Вергилию, служит нам проводником. Он постучал в дверь, в стеклянном окошке появилось лицо, кивнуло, и нас впустили. Мэннинг оказался лысым, учтивым человеком в хорошем костюме. Слишком гладко выбрит, сигарета прилипла к губе. Клуб был что надо — скрытое дневное освещение, обои с рисунками кофейных столиков на бульваре и французскими булками, кресла с подушками в полумраке, молчащий сейчас музыкальный автомат. У стойки два маленьких местных бизнесмена накачивали мартини огромного американского коллегу, за стойкой стояла миссис Уинтерботтом, очень хорошо одетая, веселая и кокетливая. Она улыбнулась Эверетту и мне (стало очевидно, что меня она вообще не помнит), а Имогену одарила взглядом неописуемым — взглядом, которым привлекательная женщина оценивает красивую незнакомку. В полумраке я заметил вест-индского гитариста. Когда Эверетт отправился заказывать выпивку, гитарист ударил по струнам медиатором и затянул какую-то наивную карибскую песню.

— Спой нам “Дом на просторах”[1], — потребовал американский бизнесмен, но заунывная песенка не прервалась.

Теперь я мог видеть в сумерках моложавую пару, евшую друг друга глазами между задумчивыми глотками джина с тоником, и тощего человека в очках на лице труженика, напряженно читавшего какую-то газету, хотя оставалось загадкой, как он видит мелкие буквы в этой амурной дымке. Мы с Имогеной сели на диванчик у стены поближе к бару, и Эверетт принес выпивку. Он и я в вечерней жажде пили темный эль, она, расслабившись, потягивала двойной розовый джин.

— Ах, — сказала она, — так-то немного лучше.

Я угостил их сигаретами.

— Мистер Денхэм, — объяснил Эверетт, — живет далеко, на Востоке. Я пригласил его сюда поболтать, и чтобы он поделился со мной чувствами человека, вернувшегося из ссылки. Все знают, как все изменилось в Англии с момента его последнего приезда. Для “Гермеса”, — добавил он.

— О, — воскликнула Имогена. — Мне вас оставить наедине?

— Нет, нет, — испугался я. — Никакой особой спешки. В любом случае, — добавил я, — есть ли смысл сейчас скрывать то, что вскоре станет общеизвестно?

— Нет, — туманно ответила она, — наверное, нет.

Потом радостно улыбнулась и сообщила:

— Но вы не знаете папочку, как я. Он не для интервью пригласил вас. Он пригласил вас, чтобы поговорить о стихах, разве не так, папочка?

— Я думаю, Имогена, — сказал Эверетт, — тебе *следует* сесть подальше. Я представлю тебя Элис, и ты можешь поговорить с ней.

— Не поймите меня превратно, — Имогена повернулась ко мне. — Он и пенни не выручит за свою книгу стихов, не так ли, папочка? Это его долг, — сказала она, — перед литературой.

Каждый слог она произносила отдельно, четко, словно пародируя декламаторов прошлых времен — “ли-те-ра-турой”. Так произносил бы это слово бармен Седрик, если бы стал тамадой.

— И, — добавила Имогена, — чем-то и вы можете помочь. Вы выглядите весьма состоятельным. Вы швыряете деньги только на выпивку и на женщин.

Видимо она презирала все — литературу, любовь, даже деньги.

1. “Дом на просторах” — гимн штата Канзас (стал официальным в 1947-м); был написан как ковбойская песня в 1874-м. Официально авторы не установлены, но авторство слов приписывается Брюстеру Хигли, а музыки — Дэниэлю Келли.

— Что вы имеете в виду? — спросил я. — Как я могу "выглядеть состоятельным"?

— Вы — холостяк, — ответила она. — Ни одна жена не позволила бы мужу выйти из дому с таким узлом на галстуке. Но на вас отличный костюм и маникюр у вас профессиональный. И вам до смерти скучно. У вас дорогой портсигар и дорогущая зажигалка. У вас целая пачка "Летящих облаков". Вы вернулись с Востока. — Казалось, что она вдруг обозлилась. — Да какого черта! Самое меньшее, что вы можете сделать — это потратить пару сотен фунтов на моего отца. Разве это не святая обязанность богачей помогать бедным гениям, а?

Американский бизнесмен развалился на стуле, ухмыляясь.

— Вот-вот, — сказал он, — выдай им.

Другой из их компании заржал. Имогена запальчиво огрызнулась:

— Держи свой грязный нос подальше. Никто не спрашивал твоего мнения.

— Я думаю, — вмешался Эверетт, — этого хватит. Я думаю, ты сказала достаточно, Имогена. Мистер Денхэм — мой гость. Ты смутила и его, и меня.

— Я не дитя, — заупрямилась Имогена, — что хочу, то и говорю.

Потом она надулась.

— Ну ладно, извините.

Она взглянула на американца, засмеялась с неземной кротостью и сказала:

— Извини, Техас. — И потом обратилась не то ко мне, не то к отцу: — Выпьем еще.

— Могу ли я вставить слово? — спросил я. — Как насчет временного членства?

— Он же может, правда, Фрэд? — спросил Эверетт Мэннинга, который тревожно реял над нами.

Мэннинг кивнул, и пообещал:

— Я принесу анкету.

Я отправился к бару и обратился к аппетитной пышке нордической красоты, которую я был уже удостоен называть по-простому — Элис.

— И один себе, — сказал я, созерцая ее в мирке из сверкающего стекла и гортанных мужских шуток, и помня, что она дочь трактирщика.

Я вообразил ее прошлое: хорошенькая девчушка расцветает в кругу пьяниц, ее приводят в бар, чтобы все восхищались ее новым платьицем, доброкачественная еда из хозяйской кухни в малой гостиной, крепкая молодая женщина, дышащая крепчайшим виски, потом всегда окруженная восхищенными мужчина-

ми, которые после двух пинт быстро теряют застенчивость, всегда блюдущая себя, всегда напоказ, всегда сама по себе. Она взяла себе скотч, улыбнулась мне и сказала:

— Будем здоровы!

Я отнес выпивку к столу и услышал, как американец сказал:

— Я не занимаюсь нефтью, эпоксидная смола — это другой продукт.

— Что крадут? — спросила Имогена.

— Да не крадут. А продукт. Эпоксидные смолы могут склеивать. Например, возьмем ветровое стекло самолета. Вы же не станете там использовать заклепки?

— Почему бы и нет? — ответила Имогена.

— Нет, нельзя из-за турбулентности вокруг заклепок, неужели непонятно?

— Нет, — сказала Имогена. Но, — обернулась она к отцу, — я вас, мальчики, оставлю вдвоем. Пересяду к Техасу — пусть он расскажет мне все про *трубулентность* или как ее там.

Она подхватила выпивку и направилась к барной стойке.

Деляга, стоявший рядом с американцем, склонился в глубоком пьяном поклоне, словно парикмахер, предлагающий сесть в кресло. Вест-индский гитарист прикончил бокал портера и затянул унылое калипсо о Карибской политике. Не переношу народное искусство в больших количествах. Я упомянул об этом Эверетту, и он сказал:

— Мне в самом деле ужасно неудобно за все это, да и вам наверно тоже.

— Не обращайте внимания, — успокоил его я. — Мне приятнее говорить об этом, чем о моих чувствах вернувшегося скитальца. Кроме того, я отсутствовал-то всего два года.

— Да, — согласился Эверетт, расслабляясь, но все еще сидя на стуле, будто кол проглотив, — я не думаю, что все так быстро меняется, не так ли?

— Да уж, — ответил я. — Грешные продолжают зарабатывать деньги, а праведные продолжают в них нуждаться. Только число грешников умножилось. Как бы то ни было, сколько вам нужно?

— Не могу сказать, что это выгодное вложение, — ответил он. — Вы ничего не получите от этого, если не считать, скажем, духовной удовлетворенности. Три сотни фунтов вполне достаточно.

— Вы хотите сказать, что я выброшу три сотни фунтов на ветер?

— О, — сказал Эверетт, — мы ведь должны заботиться о ценностях, разве не так? И независимо от того, дурна моя поэзия или хороша, остается проблема принципов, правда же? В на-

ши дни, когда даже сын мусорщика учится в университете, наверняка греховно и неправильно замалчивать безвестного Мильтона. О нет, — добавил он, ухмыльнувшись и хохотнув, — я не утверждаю, что я — Мильтон или даже близко.

— Не замолчанный, и не безвестный, — сказал я. — Ваше имя на слуху. Думаю, какие-то ваши стихи даже войдут в антологии. Кое-что выживает, потому что в том есть необходимость.

Я отпил немного темного эля.

— Кому-нибудь ваше "Избранное" нужно?

— Да, — ответил Эверетт, каким-то образом одновременно затаив дыхание, — отдельное стихотворение или даже вошедшее в антологию значит очень мало. Важен весь корпус, картина всей личности поэта. И она должна быть предъявлена миру, моя поэтическая персона, я имею в виду. Я ждал слишком долго. Может, и времени у меня осталось не так уж много.

Было слышно, как Имогена сказала одному из дельцов:

— Ладно, не нравится — вали отсюда.

— Я должен подумать, — сказал я. — Да я и не так уж богат. Я не могу просто так выбросить три сотни фунтов.

— Вы не выбросите их.

— Не выброшу?

Я вдруг разозлился, темперамент Имогены оказался заразен. Я подумал: все, что я нажил, я нажил среди москитов и мошкары, змей в спальне, в долгой изнурительной жаре, скуке, раздражении от работы с местными чиновниками. Кто такие эти милые домоседы, милые доброхоты, чтобы пытаться выдурить мои деньги, и раздражаться, если это у них не получается?

— Они будут потрачены в честь и во славу Эверетта, на толстенную книгу Эверетта, на неподдельный поэтический талант, — импровизировал я, — в лучших традициях. Недостаток оригинальности компенсируется добросовестным мастерством, хотя темы зачастую шаблонны.

— Так, — сказал он, — не хотите, как хотите.

— Я этого не сказал, я сказал, что должен подумать.

Было слышно, как Имогена говорит американцу.

— Ну ведь никто вас сюда не звал, разве не так? Если вам не нравится эта гребаная еда, то почему бы вам не...

Мэннинг уже засунул трехпенсовик в музыкальный автомат, тот играл очень громко, обилие басов сотрясало стекла. Я говорил отчетливо, Имогена тоже, Эверетт сидел в раздраженном молчании.

— Да скажи ты ей, — обратился американский бизнесмен к Эверетту, заглушая автомат, — что все путем, просто скажи ей.

Казалось, Эверетт не слышит. Три бизнесмена взяли свои пальто из маленького алькова, где еще поместился и телефон. Они и Мэннинг исполнили сожалеющую пантомиму, рты от-

крывались и закрывались с бесшумной энергией. Имогена и Элис были поглощены беседой, головы сдвинуты, губы время от времени прижаты к уху собеседницы — кивок, кивок, улыбнулись, нахмурились, глаза в глаза, музыкальный автомат для них не существовал. Дельцы ушли — без обид, все равно пора было уходить. Я посмотрел на часы — уже был седьмой час, и пабы открылись. Вечер? Выпивка, выпивка, выпивка, телевизор, кино. О боже, какая скука. Дай мне изменить место действия, дай мне добраться до Лондона. А что в Лондоне? Выпивка, ланч, выпивка, обед...

Песня закончилась, застигнув Имогену и Элис за оживленной трепотней.

— Нет, моя дорогая, это он так думал о себе, но на самом деле ни бельмеса не соображая.

— Да, да, я знаю.

— Я хотела просто показать на примере...

Они почувствовали необычную тишину и захихикали. Обе были очень красивы — светлая и темная головки, склоненные друг к дружке, взгляды обращены к нам, отличные зубы сверкают.

— Слава богу, вы выключили этот чертов грохот, — сказала Имогена.

Мэннинг ухмыльнулся, его трудно было оскорбить. Эверетт сидел мрачный, не прикасаясь к темному элю.

— Мы еще встретимся, — сказал я, — когда вернусь из Лондона. Я дам вам знать.

Он угрюмо кивнул. Мэннинг открыл дверь на тройной стук. Вошла девушка, улыбаясь через всю комнату Элис, ее свободе. Я подумал, что вошедшая не слишком привлекательна. Надо ли мне пригласить их пообедать, думал я, — Элис, Имогену, Эверетта? Потом я решил не приглашать, черт с ними со всеми. Когда я брал пальто из алькова, то заметил, что молодящаяся пара все еще поедала друг друга глазами — темная, безмолвная трапеза, пролетарий в очках читал (один бог знает как) газету, Вест-индский гитарист улыбнулся мне и протянул матерчатую кепку:

— Укажите чушь оважения к музыке, са. Большое спащибо, са.

Я покинул клуб и медленно поднялся на сверкающую улицу. Снова шел дождь.

Глава 5

— Простите, у нас не было возможности сказать вам об этом, когда вы вернулись, — сказал Райс. — Как долго вы уже здесь, месяц?

— Около того, — ответил я.

Райс кивнул, руки в боки, ноги расставлены, сам на фоне стенной карты, испещренной флажками, каждый дюймом своим — глава экспортного отдела. Он сказал:

— Я понимаю, что у вас могут быть планы, скажем, махнуть в Биарриц, или затеряться на Сицилии, или еще где. Но я не должен вам напоминать, что ваш отпуск — привилегия, а не право.

— Точно, как в армии, — согласился я.

— О нет, — возразил Райс, начиная расхаживать взад-вперед, подобно лектору. — Вы хорошо знаете, Дж. У.

Четыре шага от Камчатки до Ванкувера. Поворот и еще полтора шага — и вот он уже у Канарских островов.

— Мы семья. И наша организация вполне демократична.

Он руководил отделом экспорта около восемнадцати месяцев.

— В любом случае, — сказал он, — Чалмерс сильно нас подвел. Мы не смогли уговорить его не уходить на пенсию, но он хоть пообещал пооколачиваться с нами еще год. А у Холлоуэя, похоже, дела очень плохи.

— Что с ним такое?

— Сердце. Мы всегда говорили, что он не может нести такую нагрузку в Занзибаре. Не бесконечно.

Сам Райс тоже не был двужильным: седина и боевитость могли и его доконать. Впрочем, коллекция современной китайской керамики у него была замечательная.

— И что же вы предлагаете?

— Мы не предлагаем вам поменять место. — Он погладил Японию, как ручную мышку. — Мы все вами довольны, вы же знаете, Дж. У.

Я поклонился не вставая.

— Мы переводим Тейлора из Коломбо в Занзибар. Бейрут — еще одна головная боль, но думаю, мы найдем решение. Коломбо — вот куда вы поедете. Вы там бывали раньше, Дж. У. Мы посылаем туда новобранца, но хотим, чтобы вы поехали с ним. Парень по имени Уикер. Он понятия не имеет, как управляться с тамилами или сингальцами, но человек он хороший, и мы думаем, что если его натаскать за месяц-другой, то дальше он справится. Так или иначе, мы хотели бы, чтобы вы присмотрели за ним.

— Когда вы хотите послать меня?

— На следующей неделе. И вы избежите ужасов зимы, — он театрально передернул плечами, стоя спиной к Африке. — Вы же знаете, что мы готовы все сделать, чтобы снова дозоры обходили владенья. Скучно здесь сидеть. Необходимо, но скучно.

— О да. Где мне остановиться в Коломбо? Я так понимаю, что этот парнишка Уикер снимает квартиру?

— Вы можете взять повыше. “Маунт лавина”. Вам понравится. А Уикер должен оставаться при лавке, там, где кипит жизнь.

— Значит, я проведу Рождество в Коломбо. Отлично.

Я встал, и Скандинавия вместе с боевитым орлиным лицом Райса взглянули на меня свысока. Райс предложил:

— Почему бы нам не пообедать вместе в ресторанчике, хотя мои отбивные закончились, как и алкоголь. Если вы сможете смотреть, как я ем вегетарианский ланч...

— Так вы сделались индуистом наконец? Но я не удивлен. Вам всегда нравились индийцы, если я верно помню.

Райс знал, на что я намекаю — на интрижку в Куала-Лумпуре, много лет назад. Так что он ответил сдержанно.

— Я остепенился. Но вот желудок догнал меня. Доктора уверены, что могут помочь. Правильная диета и так далее.

Он немедленно забыл о своем приглашении, и мы пожали друг другу руки.

— Мы пришлем вам билеты на самолет. С открытой датой возвращения, — он мрачно улыбнулся, готовый сразиться со всем миром, возглавляя свой батальон. — Спасибо, Дж. У.

Он позволил мне самому открыть дверь. Я прошел мимо длинного рабочего стола, слабо улыбаясь многочисленным клеркам, как человек, который гораздо выше их всех, и вышел на Лиденхолл-стрит.

Эта история по большей части описание того, что случилось, когда я вернулся — вернулся в Англию, в Лондон, в провинцию к отцу, так что вам вряд ли интересно, как я провел эти несколько дней в Лондоне.

Я остановился в отельчике рядом с Рассел-сквер, заправляла там вдова-итальянка, которая обычно ждала меня в столовой с двумя бокалами коньяка, когда я возвращался вечером, чтобы поболтать за обеденным столом, заваленным номерами “Иль Джорно”. Она, пожалуй, была чуть ли не единственной женщиной, с которой я поговорил за эти несколько дней в Лондоне. Я упомяну о другой женщине чуть позже, но только из-за трюка, который она проделала со мной, трюка, который мне еще не встречался. Большую часть времени я, если и разговаривал, то с мужчинами. Завтракать я предпочитал в каком-нибудь пабе, сидя на высоком стуле у стойки, на которой передо мной расставлялись ломти говядины, ветчина, салаты и блюда с пикулями, умело нарезанными официантом в высоком белом колпаке. Другие едоки мужеского пола теснились рядом, чавкая над газетами. Есть что-то устрашающее-животное в пребывании среди раз-

горяченных безмолвных мужиков, поднимающих стаканы, причмокивающих в безгласных тостах самим себе, выдыхающих всенепременное "ух" после глотка и закусывающих наколотой на вилку красной говядиной и маринованным огурчиком. Сидя там с виски или джином рано или поздно я ухитрялся вступить в разговор с каким-нибудь одиночкой или с таким же изгнанником, как я сам, и беседа шла о мире, воздушных путях, способах доставки грузов, питейных заведениях за тысячи миль от этого бара. Тогда я чувствовал себя счастливым, что я уже дома, потому что дом для людей, подобных мне, — это не одно место, но все места, где нас нет.

После полудня я выпивал в одном из двух клубов, членом которых я состоял (первый преимущественно для шахматистов, второй — для прогнивших и чрезвычайно велеречивых театралов), или шел в кино. Вечером я обедал — медленно и пышно — в "Рулс" на Мейден-Лейн. Накануне вечером я съездил в отцовский дом, чтобы собраться в Коломбо. Я шел по Стрэнду в согласии с самим собой, согласии чуть ли не спиритуалистическом (я съел голубую форель, свиную котлету с цветной капустой в белом соусе, камамбер, выпил коктейль — джин с итальянским "Шато дю Папе" и бренди, выкурил редкую сигару).

Погода стояла мягкая для зимы, и, когда я медленно шел по улице, ко мне пристали, и я охотно поддался. Все этим вечером казалось священным — вульгарные гостиницы, коммерческие рекламы, редкая безликая отрыжка после выкуренной сигары. Пристававшая оказалась прекрасной, как ангел, и вроде не старше двадцати пяти. Она назвала гостиницу, и мы туда пошли, держась за руки. Я снял комнату на ночь, — с отдельной ванной, как она настояла, — и мы поднялись на лифте на третий этаж. Когда мы оказались в спальне, она не озаботилась снять мутоновую шубку (шуба, соответственно, походила на аналогичную у миссис Уинтерботтом). Вид у нее теперь был застенчивый и вороватый одновременно.

— Выпьешь? — спросил я.

— Нет, благодарю, — отвечала она. Ее произношение было поставлено долгими трудами.

— Мне надо, — сказала она, — глянуть, в порядке ли ванная.

Не снимая шубки, она ушла в ванную. Я предположил, что она хочет проверить, есть ли там биде или что-то вроде. Она вернулась почти сразу, улыбаясь, без шубы.

— Это стоит пять фунтов, — сказала она.

— А теперь платят вперед? — спросил я. — Спрашиваю просто из любопытства. Я долго отсутствовал и потерял связь с действительностью.

— Нам надо себя защищать, — ответила она. — Бывают всякие неприятные ситуации, мужчины просто уходят, просто так. И что мы, бедняжки, должны делать?

— Не связываться с мужчинами, которым нельзя доверять?

— Не знаю. Но я бы предпочла, чтобы вы заплатили сейчас, если не возражаете.

Я отдал ей одну из моих пятифунтовых банкнот. Она аккуратно положила ее в сумку, потом села ко мне на колени и поцеловала меня в левую щеку. Сытый и налитой вином, я ответил ей пылко. Она увильнула и сказала:

— Раздевайтесь, ложитесь в постель. Я в ванную.

— Но ты же только что оттуда.

— Я знаю. Но я должна... ну, вы понимаете, — сказала она.

Она снова скрылась в ванной, взяв сумку, и заперла за собой дверь. Разоблачившись, я лег в постель и стал ждать. Ждал я долго. Потом встал и голый подошел к двери ванной:

— Ты там? — позвал я.

Имени ее я не знал. Ответа не было. Я покрутил дверную ручку. Она не отозвалась. Я надел брюки и пиджак и вышел в коридор. Там никого не было. Но я уже понял, что случилось. Ванная вела в другую спальню. Она вошла и вышла спокойно, и теперь наверно в такси далеко-далеко. Мне следовало чувствовать себя дураком, но я не мог сдержать ухмылки, в конце концов я узнал что-то новое на будущее. Но будущего не было — во всяком случае для меня. Я оделся, спустился на лифте, и отдал ключ клерку со словами:

— Я просил комнату с ванной. А там ее не оказалось. Разве так дела делают?

Клерк взглянул на ключ и сказал:

— Номер 306 с ванной. Вы, должно быть, ошибаетесь.

— Не говорите мне, что я ошибаюсь. Поднимитесь и сами посмотрите. Моя жена ушла в отвращении, отказавшись ночевать в комнате без ванной, да еще меня обвинила в этом. Видите, сколько вы доставили мне неприятностей? Никогда больше здесь не остановлюсь.

И, повеселев, я удалился поискать выпивку, пока все не закрылось. Я нашел бар, где почтенного вида человек с литургической тяжестью играл на хаммондовском органе Ричарда Роджерса[1], и выпил там стаканчик или два с моряком торгового флота из Ливерпуля. Он поведал мне о своем кореше — парне, который в драке пользовался головой, но другой

1. Ричард Чарльз Роджерс (1902—1979) — американский композитор, написавший музыку более чем к 900 песням и 40 бродвейским мюзиклам.

шельмец спрятал рыболовные крючки под курткой. “Видели бы вы бедолагу после драки, крючки в глазах, ужас, ужас”. Потом я вернулся в гостиницу, где меня уже ждали итальянская вдова и два бокала с коньяком. Она положила очки для чтения на мятую “Иль Джорно”, и мы обсудили мировые проблемы и бесстыдство современных девушек. Во время дискуссии я решил, что включу те пять фунтов в цейлонские командировочные. Я пожелал вдовице buona notte[1], лег в кровать и проспал всю ночь, как младенец.

Следующий день был субботний, и поезд на Мидлендс, к которому я едва успел, был переполнен. Силы иссякли. Воздух был чист и на вкус отдавал жареными грибами. Я купил грибов в киоске зеленщика у привокзальной автобусной остановки по пути к отцовскому дому и заодно — фунт мясного филе. Все это я и приготовил с картофельным пюре для запоздалого ланча. Отец укашлял гулять, так что мне пришлось сидеть одному в гостиной, отравляясь телевизором и почти доведя себя до слез. Отец докашлялся до заката, и к чаю у нас были сыр и сельдерей. Во время ужина принесли “Вечерний Гермес”, и, пока я мыл посуду, отец читал его у камина. До кухни донесся его голос:

— Тут кое-что про тебя, приятель.

— Где? И что пишут? — Я вернулся в столовую, вытирая руки.

Он протянул мне газету. На “Субботней страничке” я прочел следующее:

ПУТЕШЕСТВЕННИК ИЗ ДРЕВНЕГО МИРА

Мистер Дж. У. Денхэм, один из самых доступных из перезревших холостяков и сейчас проживающий на окраине города, прибыл на время из Японии. “У инициативного человека все еще есть возможности делать деньги на Востоке, — твердо убежден лысеющий и полноватый мистер Денхэм, впрочем, он тут же добавляет: — если только вы не привезете туда жену”. У мистера Денхэма в запасе достаточно унизительных слов об англичанках и об отсутствии у них семейных ценностей. Особенно он критикует их кулинарные способности, но также упирает на то, что им далеко до раскосых красоток Востока в рассуждении главного качества — верности своим мужчинам. Мистер Денхэм рассуждает о положении женщин в Японии, описывая их как прелестных, застенчивых и покорных.

Мистер Денхэм полагает, что деньги надо хранить в банке. Когда его спросили, каково его мнение о возрождении традиции меценатства, он сообщил, что считает его выбрасыванием денег на ве-

1. Спокойной ночи (*итал.*).

тер и что в своем кратком посещении отечества он располагает временем только для развлечений и "поглощения напитков разного сорта".

Я – хохотирен, ты – улыбато, он – смейон. Заметочку сию тиснула моя дорогая сестрица Берил в разделе местных новостей. Мне понравилось "перезревших" и банальные гомерические эпитеты, слизанные из "Тайм". Явное дело, коварный Эверетт подсобил с "дополнительным материалом", как говорят на радио. Писулька была грязная, но вряд ли давала основание для судебного иска. Вечером я никуда не пойду. Похандрю у камина с книгой.

Отец сказал:

– Несколько едко, не правда ли? – Он покашлял, еще раз пробежал фельетон и заметил: – И очень плохо набран шрифт. Но это характерный бич местной прессы.

Потом он прошел в прихожую проверить свои купоны телевизионных ставок на футбольные матчи. Я пытался утешиться с Энтони Троллопом, но соблазнительный голос современности все еще звал меня, искушал предаться тоскливому гипнотическому оку и отсутствию необходимости в мышлении или товариществе. После футбольных результатов и разочарованного кашля отца прозвучали громкие оркестровые прелюдии, приветствия и громкие голоса. Я отложил Троллопа и присоединился к промыванию мозгов.

Так что мы вернулись к предыдущей субботе, еще одному примеру американской жестокости, эпилогу с офицером в фетровой шляпе, вымогающим у нас с отцом деньги на помощь национальным гвардейцам, дабы искоренить детскую проституцию, потом балет ирисок, марширующие сигареты, песнь о растворимом кофе, величественно-дебильная дикторша и ее "Сейчас мы перейдем к...". Она что-то еще говорила кривым зеркалом, когда я ее выключил, перепуганная, как и я, наркотиком экрана, пламенем газовой горелки камина, голосами, начинавшими шептать в голове. Так что назрела прогулка по Клаттербак-авеню к "Черному лебедю", "Гадкому селезню", "Флаверовому козырю".

Я сидел с отцовскими закадычными дружками и хлестал виски, завязав с нонсенсом доброго старого английского пива, и услышал, как отец сказал:

– Мой парень собирается встретить Рождество на Цейлоне.

Древние и пожилые лица с завистью и подозрением обратились ко мне, и разъездной продавец медтехники позавидовал:

– Есть же счастливые люди, что еще сказать.

Тед Арден за его спиной как раз получил подношение в виде пухлого неощипанного гуся. Селвин плотоядно выглядывал

из общего бара. В курительной было не пробиться. Там стояло ликование по поводу поражения "Арсенала", дамы хихикали над грушевым сидром. Седрик семенил по комнате, словно танцор, со своим подносом, который весело позвякивал в прокуренном воздухе. Тед Арден принес ящик со светлым элем из подвала и получил от человека ученого вида, которого я раньше не видел, одинокую зеленую орхидею в папиросной бумаге. Женские сообщества совершали экскурсии в туалет. Мужчины просто выходили отлить. Грозное предчувствие закрытия ястребом парило над всеми. И тогда вошли они.

Миссис Уинтерботтом в мутоновой шубке и ее обычный кавалер — Джек Браунлоу. Присутствовала также миссис Браунлоу, аппетитная и низколобая, ее сопровождал вычерпанный и страстный Чарли Уиттиер. И, конечно, Уинтер-принтер и Эвереттова дочка, матюгающееся дитя, фея прелестная и рыжая — глаза Уинтера не отрывались от нее, как от захватывающего фильма. Одно из творений Эверетта нашло своего печатника, а печатник, несущий миру истину, не устоял и включился в игру.

— Отвратительно, — не смог удержаться я. — Отвратительно.

Один из корешей отца услышал и сказал:

— Вы правы, чертовски отвратительно. Но что может сделать правительство? Люди, которым положено лучше знать, как закладывать их собачьи жизни в рассрочку. Вы бывали в их домах? Телевизор, одеяла с подогревом (я б тоже не отказался от такого, скажу я вам), тостеры, электрические миксеры и полотеры, и бог знает что еще. И все — в рассрочку.

Ах, что ж, если они хотят прелюбодейства, мне-то что за дело? У меня не было и не будет времени поболтать ни с моей удравшей пятифунтовой проституткой, ни с японочками, стоившими значительно меньше, но не удирающими, ни с теми, кого я, возможно, подцеплю в Коломбо. Но в душе я чувствовал, что не погрешил ничем, а вот эти люди греховны, что в этот безобидный выходной день они играли с огнем и что не один человек может вскоре изрядно обжечься. Вроде человека с подогревающимся одеялом, купленным для морковкина заговенья, как настаивал закадычный дружок отца, рассуждая пространно и обо всем на свете.

Глава 6

Итак, после нескольких дней, проведенных с отцом и в городских барах (в одном из них встретив одетого и зубатого Чарли Доза), и одного обеда с Арденами, я полетел к лету с юным Уикером. В Коломбо его ждала холостяцкая квартира, уже надраенная до блеска от поваренка до венецианского

стекла. Счастливчик! Но я-то понимал, что ему еще учиться и учиться, юнец стеснялся смуглолицых улыбчивых людей и чувствовал нужду пугнуть их стародавней пародией на негритянскую порку. Он не имел в виду ничего дурного: быть белым — это чувствовать себя больным или голым. Кто-нибудь вроде меня обязательно должен, видимо, показать ему, как следует себя вести. И старший клерк — тамил, пользующийся своим возрастом и положением в компании, чтобы сбалансировать недостатки, которые было нетрудно вскрыть (неправильное использование денег на мелкие расходы, небрежности с документацией), пытался затюкать Уикера.

Так что пришлось провести месяц, в течение которого, тем не менее, я нечасто ходил на работу, но произвел небольшую точную настройку, доводку, а засим удалился, оставив после себя, надеюсь, весь механизм в отличном состоянии. Жил я в прохладном номере на верхнем этаже гостиницы "Маунт Лавина". В номере был и балкон, с которого я мог наблюдать дела вороньи вокруг огромного дождевого дерева. Вороны эти по утрам залетали через открытое окно и воровали свежие ананасы с чайного столика. Иногда они крали запонку, крышку от бутылки, рупию или кнопку. Они триумфально и нагло каркали, но мне они нравились больше всех, кого я встретил вдали от Японии. Эти вороны были честные воры, не такие, как девушка в лондонской гостинице. И они жили в огромном стабильном обществе, так что их ссоры звучали, как хор, и, поскольку они постоянно занимались воровством, у них никогда не было времени для прелюбодеяний или телевизора.

Коломбо был всего лишь ночлегом между Лондоном и Сингапуром, а гостиница — караван-сараем для упавших духом семей государственных служащих, новоиспеченных поселенцев и коммивояжеров — все не-туристы, путешествующие туристическим классом. Мир тесен для профессиональных экспатриантов, и практически каждый вечер я напивался с кем-то из знакомых. Кроме того, я заприятельствовал с милыми юношами и девушками, образцовыми стюардами и стюардессами. Они появлялись в стерильно белом — доктора и медсестры, перемогшие болезнь путешествий. И вот в подвальном баре однажды вечером я встретил незнакомца, похожего на рэкетира, одинокого, сентиментального, высоконравственного. Его имя, как он сказал, было Лен, и он возил то одно, то другое из Сингапура в Лондон или обратно каждый месяц. Он вычурно, с горестным чувством вещал о трудностях розничной продажи в Лондоне и вокруг, о недостатке преданности, о том, что никому нельзя верить в наше время.

— Я заговорил с вами только потому, — сказал он, — что вижу: каким-то образом вы запутались в себе самом, но я вижу многих

здесь, кому я не поверю ни на грош. Вот ему, например. — Он указал пальцем через плечо. Я перевел взгляд на крайне безобидного казначея какого-то протектората. — Достаточно поглядеть на его лицо. Но вы другой, более искренний, — добавил Лен. — Я скажу вам, что игра уже вряд ли стоит свеч, если принять во внимание транспорт и реальную стоимость всего происходящего и вдобавок яростную борьбу за снижение цен, так что приходится вляпываться в жестокость, а жестокость — распоследнее в мире, что приходится мне по нраву.

У него был лик святого с полотна Эль Греко.

— И предательство потребителей, — продолжал он. — Особенно женщин.

— Да, женщин! — воскликнул я и рассказал ему про девушку в гостинице.

Он угрюмо кивнул, сказав:

— Надо бы нам с вами встретиться, когда я вернусь. Я выпил с вами, и вы мне как родной, а то, что они делают моей родне, то они делают мне. Но только один раз. Я б ей вывеску подпортил, уверяю вас.

— Но вы же не одобряете жестокость?

— Нет, но жестокость и наказание — не одно и то же. Людям нельзя спускать так легко. Нельзя воодушевлять их на дальнейшие проказы. Накажи их жестоко, и кто-то исправится. И для человечества лучше, в конце-то концов. И для них самих.

— И какое же наказание?

— Хорошо бы морду начистить, пару зубов выбить, не очень больно, но чтоб запомнили на всю жизнь, так вот. Это наш долг, я так думаю.

— Вам следовало бы стать Богом — сказал я.

— Мне? Богом? — Он скорчил рожу потолку, словно Бог там и находился. — Я поступаю иначе, скажу я вам. Бог много натворил дурного, и это факт.

И тут моралист кивнул печально, но благожелательно. Воздел руку, вроде как благословляя меня, и ушел спать.

Улетел я в четыре часа утра. Прошел месяц, и мне больше не попадалось никого, столь яростно обуянного морализаторством. Мы с Уикером отметили Рождество за обедом в гостинице, и Уикер немного всплакнул в туалете, тихо поскулил на балконе в гостиной, выходившем на море, думая о том, что это было первое Рождество вдали от дома (ему повезло отмазаться от армии). Я погладил его, как собачонку, и сказал:

— Тише, тише. Наша судьба — жить в изгнании. Но мы всегда находим шестипенсовики в пудинге, а вот бутылку кларета я поищу сам. Тише, тише.

Прибой свистел и грохотал, над пальмами висела полная цейлонская луна.

— И это будет продолжаться три года, три года, — плакал он благотворными мальчишескими слезами.

Надо бы свести его, подумал я, с какой-нибудь девицей, евразийской школьной наставницей. Но потом сообразил — а зачем мне это надо? Так или иначе, неписаное правило Компании запрещало подобное панибратство во время испытательного срока. Пусть глаза краснеют ночью, утром будут яснее видеть.

Рождество миновало, пришел Новый год, и Уикер снова обедал со мной, и мы с ним открыли шампанское под бой часов. Он снова плакал, не так сильно как на прошлой неделе, и сказал:

— Новый год. Тим был самым безрадостным и всегда встречал Новый год с розгой от святого Николая и Негром. Негр — это наш кот.

Он заплакал в краткой, но сильной вспышке воспоминаний о Негре. Я погладил его, как собачку, и сказал:

— Тише, тише. Наша судьба — жить в изгнании. Но у меня всегда в запасе есть полбутылки “Лансона”.

Следование этой забавной семейной традиции — прибегать по полбутылки всякой всячины для юного Уикера означало, возможно, слишком сильное погружение в адлеровскую семейную терапию. Я добавил, все еще поглаживая его:

— Я понимаю ваши чувства по отношению к Негру. У меня тоже был кот, который всегда любовался собой в садовой луже. Я называл его Конрад, и, знаете ли, мало кто мог сказать почему.

Он поднял опухшие глаза.

— Черный кот? — спросил он.

И тогда в моей жизни появился мистер Радж. Демонстрируя прекрасные зубы в песне англо-цейлонской речи, он заявил:

— Было бы хорошо, если бы ваш юный друг поменьше говорил о неграх.

Он был одет в идеально пошитый смокинг из вискозы.

— Мы-то с вами, — сказал он, — понимаем, но здесь слишком много людей, которые не поймут. И благоразумнее, я думаю, не...

Молодой Уикер, глядя на него затуманенным взором, сказал:

— Я говорю о нашем Негре, не о вашей компашке! Ваши могут пойти сами знаете куда!

— Ну же, Ральф, — сказал я, — вспомните. Вспомните, что я вам говорил.

Господи. Мне уезжать меньше чем через неделю, а он, несмотря на все мои инструкции, еще не готов.

— Да, ваши могут пойти, сами знаете куда, — повторил Уикер. — По какому праву ваши люди думают, что они лучше, чем мы? Просто потому, что вы черные, а мы белые? Почему плохо быть белым? И, в любом случае, это не наша вина, не так ли? Я прошу прощения за то, что я белый — это поможет? Может, мне надо прыгнуть в море?!

Он сделал движение, будто собрался прыгнуть, а учитывая прилив, достаточно было преодолеть балконные перила.

— Спокойно, спокойно, — сказал мистер Радж, в манере, подобной той, когда полупьяный житель Востока пытается обнять того, кто, как он знает, по выражению Сантаяны, больше не его нежный, ребячливый господин.

— Я не хочу никого обидеть. Меня зовут Радж. У меня степень бакалавра искусств, я человек с каким-никаким образованием. Мы оба знаем, что многие из этих людей именно то, как вы их назвали. Но иногда они могут превращаться в свирепых, возмущенных людей. Он кивнул в сторону жирной спины тамила и его жены.

— Счастливого Нового года, — пожелал он мне. — И вам, — сказал он Уикеру.

Он был высок, с красивыми классическими чертами лица — Аполлон в застывшем молочном шоколаде, хотя глаза таяли и горели, исполняя подобно стереоприемнику, романтический концерт.

Тело у него было не вычерпанное, как у Чарли Уиттиера, но поджарое и страстное, его руки говорили, жонглировали, взлетали, возвращались. Он сказал:

— Весьма польщен знакомством с вами, мистер Денхэм. Я искал...

— Откуда вы знаете имя мистера Денхэма? — спросил Уикер. — Лучший работник фирмы, старина Дж. У. Откуда вы узнали?

— Я полагаю, — ответил мистер Радж с улыбочками и отлично смазанной маслом вежливостью, — что он и я — собратья по путешествиям. Да, — он обратился ко мне. — Я увидел ваше имя в списке пассажиров авиалинии и подумал, не тот ли это мистер Денхэм, который недолгое время обучал меня в Тринкомали. Я не знал его инициалов, для учеников он был просто мистер Денхэм, и его все сильно любили и боялись. И когда официант указал на вас, я понял, что вы и есть мой давнишний учитель. О, — он приготовил новую улыбку и воздел палец, словно мышь, грызущая печенье "кошачий язык", переходя к самой сути.

Уикер сказал:

— Так он и ваш учитель, старина Дж. У.? И меня научил... (он покачал головой, пытаясь вытрясти самое сильное придыхание из возможных) — ну, до хрена чему. Добрейший ста-

рина Дж. У., Негр, — сказал он без паузы, казалось, он вот-вот снова заплачет.

— Негр — это его кот, — объяснил я мистеру Раджу.

— Да, да, кот. На полке для писем я вижу письмо, отправленное авиапочтой и адресованное мистеру Денхэму, и что, вы думаете, там в обратном адресе?

Я покачал головой, не держа обиду на постороннего, раз он был из Уэльса или с Востока, за то, что шарил в моей почте.

— Имя вашего отца, насколько я понимаю, — сказал мистер Радж, — и название города, куда я еду учиться в университете. — Он взглянул на меня с широкой фанатичной улыбкой, ожидая удивления, похвал, поздравлений. — Это, — сказал он, — убедило меня в том, что мне следует лететь в тот же день, что и вы, и ни днем раньше или позже. — Он снова посмотрел на меня, улыбаясь отрешенно и чисто, и потом пряный зефир тряхнул храмовые колокольчики смеха.

— Но, — заметил я, — у вас уже есть степень. И занятия в университете начинаются в октябре.

— Я ожидал от вас столь верного опровержения, — возрадовался мистер Радж. — И я зрелый студент, тридцати пяти лет, хотя вы тут же скажете, что я не выгляжу на этот возраст. Моему брату тридцать лет, и он на них и выглядит. Он в Лондоне, в столице мира, в Греевской школе барристеров. Он признает, что все еще, и с определенными трудностями, находится в процессе проникновения в изгибы и закоулки английского лучшего общества. Но он всегда страдал от некоторой застенчивости. Более того, его лицо не совсем то, что можно определить, как располагающее. Не то что мое, — сказал мистер Радж, улыбаясь и не страдая излишней скромностью. — Без сомнения, — продолжил мистер Радж, — с вашей помощью я скоро стану persona grata.

— Я не смогу вам помочь. Я почти не живу там. Но, — сказал я честно, — вам и самому не составит труда стать известным.

— Да? Да. Это утешает. Я буду учиться в аспирантуре, на стипендию, — объяснил мистер Радж. — Моя тема "Распространенные концепции расовых отличий". Мне надо там быть и общаться с людьми. Меня должны принимать в различных классах общества, от высших до низших. Главное — произвести первое впечатление. Вот почему я благодарен вам, сэр, мистер Денхэм, за то что вы поможете мне не набить ноги новыми башмаками.

— Но как, чем? Написать в городской совет, обучить есть вилкой и ножом, давать щедрые чаевые официанткам в чайных? С моей стороны...

Мистер Радж стоял с улыбчивым вниманием, готовый слушать.

— Я бы вернулся домой, — вмешался юный Уикер.

Мне стало жаль его, его зареванное бесформенное лицо, под которым, как боль в носу, двигалась жалкая ностальгия по братцу Тиму, коту Негру, по собственной бутылке шáмпанского с черной наклейкой.

— У вас автофургон? — спросил я.

Уикер кивнул. Радж сказал:

— Разумеется, я знаю, как пользоваться ножом и вилкой.

Он красиво улыбнулся Уикеру. Уикер покраснел, боясь, что нарушил какие-то правила приличий, словно заявление мистера Раджа то ли было, то ли не было деликатным крючком, заброшенным, дабы получить приглашение на обед в дом белого человека, и, как на него ни ответь, все равно сядешь в лужу. Поэтому он сказал:

— С Новым годом.

Мистер Радж просиял от радости. Он выжал руку Уикера, словно мокрое полотенце, потузил его плечо, словно стирал белье на берегу реки, ответствуя:

— Да, да. Самого лучшего Нового года! Самого-самого лучшего Нового года! Ибо вы в чужой стране, ибо я в своей. А мистер Денхэм — гражданин мира, в каком месте он ни окажется в следующие двенадцать месяцев, эти месяцы только начало. И, — заключил он, обращаясь к Уикеру, с несколько тяжеловесным юмором, — самого счастливого Нового года вашему Негру, коту.

Он улыбнулся, ноздри раздались широко, словно он представлял себе, что Уикеру, белому человеку, так больше понравится темнокожий, на которого стоит посмотреть. Мне довольно быстро удалось увести молодого Уикера с места действия и усадить в автофургон Компании, потом я побродил по окрестностям, в теплом благоуханном мраке, надеясь, что мистер Радж меня не найдет. Я прислушивался к морю и к вороньим ночным кошмарам, потом осторожно вернулся в гостиную отеля. Под расписанием церковных служб, афишами концертов заезжих скрипачей, самодеятельных выступлений сочинителей мадригалов улыбающегося, готового прянуть мистера Раджа не оказалось. Я дополз до спальни.

Утром я отправился в кассу авиалинии и ухитрился поменять дату вылета домой.

— Значит, послезавтра, — сказал клерк-сингалезец. — Тут уже был перенос даты. Но, — он осмотрел меня с подозрением, — переносил мистер Радж. Мистер Радж — это мой давний учитель. Вы учили мистера Раджа. И вы должны были лететь вместе.

— Он понял, — сказал я, — что я не тот мистер Денхэм.

— Ясно, — клерк посмотрел меня с укоризной. — Послезавтра, значит.

Я отправился в местное отделение компании и напечатал отчет о работе с юным Уикером, а также, в качестве бонуса, сообщил, в каком состоянии Тейлор все оставил перед переводом в Занзибар. Когда-нибудь Тейлор возвратит мне сторицей. Потом я купил рождественские подарки. Для отца приобрел небольшой зуб Будды в качестве брелока к часовой цепочке, для Берил — дешевое сари, краски которого, несомненно, полиняют при первой же стирке, для Вероники Арден — коралловые серьги, для Теда Ардена — груду дьявольски крепких манильских сигар, популярных в Джафне, одну из которых, надеюсь, он отдаст Седрику. Последним вечером юный Уикер принудил меня отобедать куриным карри. К тому времени слезы изгнания испарились из его организма, и он сидел во главе стола, обнимая ножку бокала так, будто владел всеми полбутылками австралийского кларета. Он благодарил за помощь, но, если я не против, провожать он меня не будет, ибо не любит наблюдать людей отъезжающих. Так что на следующее утро я принадлежал только мистеру Раджу. Весь аэропорт позади него казался его собственным дворцом. Он сказал, сверкая улыбкой под солнцем:

— Редкая удача, мистер Денхэм, редкая удача, что в последнюю минуту кто-то сдал билет. Один из предполагаемых пассажиров, англичанин, напился в городе и сломал ногу. Он в госпитале сейчас. Но, — мистер Радж шаловливо погрозил мне пальцем, — вы тоже поменяли планы. Я не дал вам своего адреса, но мой адрес аккуратно внесен в аэропортовский список. Но, возможно, над вами довлеет груз иных забот. Я вас прощаю, — закончил он великодушно. — Для меня еще оставалась надежда — был еще один рейс, может, кто сдал билет.

— Насколько я понимаю, — сказал я, — вы летите туристическим классом?

— Ах, мистер Денхэм, — ответил он, — я уже высоко летаю. И лечу к аспирантуре в том же стиле.

Больше я ничего не мог поделать, какие бы места у нас ни были, мистер Радж мог доплатить за класс во имя равенства. Так и случилось. Наконец мы взлетели. Мистер Радж восхищался всем напропалую: главным стюардом, читающим коронную речь, прелестями и услужливостью стюардесс, качеством леденца с глюкозой, который ему принесли, перспективой продолжительной близости ко мне. От Коломбо до Бомбея он болтал в основном о несчастливом детстве, о том, как его бедный отец вкалывал на чайной плантации, но часто напивался, о его благочестивой матери, о том, как трудно ей было обеспечить его сестрам сносное приданое, как он и его брат грызли гранит науки и победили, один из них, кстати говоря, он сам Р. Ф. Радж — с университетской стипендией, другой —

П. Радж — с местом в конторе адвоката. Он рассуждал о красоте "Плана Коломбо", о послевоенных возможностях большого мира для таких скромных людей, как он сам. Потом был ланч, и он восхвалял каждое блюдо, пронзая его вертикально вилкой в правой руке. После ланча он заметил, что я засыпаю, и стал беспокойно читать подряд статьи в "Панче", словно ожидая, что я устрою ему устный экзамен, когда проснусь. Притворяясь спящим, я наблюдал за ним. Мы приземлились в Бомбее под дождем, заливающим глаза, и, с шумом прихлебывая чай в комнате отдыха, мистер Радж предоставил мне подробный отчет об этом островном городе: история, население, администрация, флора, фауна, этнографическое распределение. Точно так же было в Карачи, где ждать пришлось долго. К счастью, я встретил знакомого и выпил с ним, в отчаянном одиночестве бара, наблюдая краешком глаза, как мистер Радж читал, беспрестанно хохоча, долгую лекцию усталой англичанке и двум ее вздорным детишкам. Вернувшись в самолет, мы пообедали, обед мистер Радж тоже восхвалял. По мере того как мы приближались к городам пустынь Ближнего Востока, свет ламп притушили, и пассажиры пытались уснуть, вытянувшись в откидных креслах. Но тут настало время для разговора об изобильном сексуальном опыте мистера Раджа, словно в лежащих людях было что-то возбуждающее, как и в темной ночи вокруг урчащего самолета. Мистер Радж избавил меня от деталей, озвучив весь диапазон от двенадцатилетней тамильской девочки до пятидесятилетней парси-матроны.

— Я читал великие санскритские трактаты, — сказал он, — и постоянно работал, как пианист над мажорными и минорными гаммами, развивая технику.

Потом он спросил меня о моей сексуальной жизни. То, что я мог рассказать ему, выглядело бы несоразмерным и убогим.

— Но, — заметил мистер Радж, — у вас опыт вне моей компетенции. Вы имели европейских женщин, а я нет. Именно это, — сказал он, пока мы двигались к западу, — мне предстоит испытать.

— Я ничего не знаю об *английских* женщинах, — сказал я, — вообще ничего.

И когда мистер Радж самодовольно откинулся в кресле, у меня возникло дурное предчувствие, которое я быстро стряхнул, — высота, вероятно, давление в салоне. К счастью, мистер Радж проспал до первого из череды восходов, навязанных нам разницей во времени. Кофе и мистер Радж в окруженном колючей проволокой Дамаске; пиво и мистер Радж в кедровом Ливане. Мистер Радж об экономике, двигателе внутреннего сгорания, Тагоре, Упанишадах, о мороже-

ном, о ножках стюардессы, состоянии его пищеварения, о лучшем месте для стрижки волос в Коломбо, о том, как надо готовить карри, о шутках его отца — и так до ланча, который он воспел, когда под нами проплывали Афины; мистер Радж, приближающийся к Риму, к славе, которую символизировал Рим. В аэропорту Чампино мистер Радж впервые начал выказывать признаки застенчивости.

— Это ваш мир, — сказал он, — мир европейский. Смотрите, я, кажется, здесь единственный черный.

Когда мы долетели до Дюссельдорфа, я козырнул моими зачатками немецкого. Мистер Радж стучал зубами от холода, глаза глядели загнанно. И последний эстафетный этап к Лондону.

— Не покидайте меня, — взмолился мистер Радж, — это ваш долг — оставаться со мной.

Он украдкой оглядывал веселых белокожих сотрудниц аэропорта, прислушиваясь, как собака, к лондонскому выговору носильщиков.

— Куда вы направляетесь? — спросил я. — Вы зарезервировали себе комнату где-нибудь?

— Я должен там быть завтра утром, — сказал мистер Радж. — меня представят мистеру Ратнаму. А вечером мне негде остановиться.

— А ваш брат?

— Я буду с вами откровенен, мистер Денхэм. Мой брат и я больше не общаемся. Надеюсь, что во всем Соединенном Королевстве достаточно места для нас двоих.

Мы стояли позади аэропорта и ждали, чтобы наш багаж погрузили в автобус. Мистер Радж был одет в очень тонкое пальто, он дрожал.

— Слушайте, — сказал я. — Давайте я отвезу вас в гостиницу. У вас есть английская валюта?

— У меня есть дорожные чеки.

Мы долго ехали к аэровокзалу, и я, взяв такси, отвез мистера Раджа в огромную и популярную гостиницу, полную выходцев с Востока, щеголявших в меховых пальто и куривших сигары. Мы ждали лифта, и вид у мистера Раджа был по-прежнему затравленный.

— Мы же встретимся завтра? — спросил он встревоженно. — Будем ездить вместе? Пожалуйста, мистер Денхэм, не покидайте меня насовсем.

— У меня завтра есть дела. И я не знаю, когда с ними расправлюсь. Но вы будете в порядке, мистер Радж. Ваши соотечественники о вас позаботятся.

— Мои соотечественники? — укорил он меня. — Я — гражданин Британского Содружества, и вы сами — тоже “мои соотечественники”.

Мне дали хороший отпор.

— Какой у вас адрес? — спросил он. — Убедите меня в том, что в этом бессердечном городе я располагаю хоть одним другом.

И тут я обнаружил, как часто случается после долгого пребывания на Востоке, что не могу вспомнить отцовский адрес. Я сказал:

— Там есть такой паб "Черный лебедь" или "Утка". — Я объяснил, как туда добраться. — Я буду там послезавтра. В субботу. В семь тридцать. И если вы хотите познакомиться...

Лифтер-венгр, ждал нас с терпением беженца.

— "Флаверов козырь", — зачем-то добавил я.

— Спасибо, спасибо, мистер Денхэм. Вы настоящий... — И лифт унес его.

Я отправился в свою гостиницу, где, предупрежденная телеграммой (за счет фирмы) о моем прибытии итальянская вдова уже ждала меня с коньяком и с "Иль Джорно". И с новостями. Она сказала:

— Вас искали леди и джентльмен. Леди очень хорошенькая. Джентльмен не столь хорош, но с очень добрыми глазами.

— Кто? Зачем?

Но потом вспомнил, что забыл в Коломбо подарок для нее. Сари, конечно. Она никогда бы его не надела и стирать не станет. Берил обойдется.

— Они сказали, что, может, вернутся. Сказали, что никого в Лондоне не знают.

— А имя?

— Невозможное имя. Не могу выговорить. Но джентльмен оставил вам записку.

Она проковыляла за стойку и извлекла из грохота старых четок и запасных ключей конверт. Я взял его с дурным предчувствием, которое уже ощущал в самолете, несущемся к пустынным городам, когда сидел рядом с расслабленным и самодовольным мистером Раджем. Под письмом стояла отважная подпись: "У. Уинтерботтом". Видимо, так звучало основательнее, увесистее, нежели просто Уинтер.

Я прочел:

Вы были совершенно правы, говоря о прелюбодеяниях моей жены. Человек не может так жить. Так что я приехал в Лондон начать новую жизнь с Имогеной. Когда мы оба получим развод, мы поженимся. Ваш отец показал мне письмо с вашим адресом в Лондоне. Когда вы вернетесь из Индии, не зайдете ли нас повидать по адресу, указанному выше? У меня еще нет работы, но думаю, что скоро появится.

Искренне ваш...

Приехали. Вот я, пожилой торговец, с глупой улыбкой созерцавший воронье в Коломбо, комфортабельно отрыгивавший послеобеденным бренди, копошившийся в почве, чтобы высадить под солнцем молодую поросль — Уикера, основательно скучавший, а тут, нате вам — великое проявление любви, вызревшей в пригороде. За месяц, не более чем за месяц! Я посмотрел на адрес — маленькая гостиница в Западном Кенсингтоне.

Им нужны деньги, ясное дело. Я затвердел сердцем, думая о немыслимой непосредственности моральной системы Уинтера-принтера, — вы отвергаете с праведным отвращением прелюбодеяния в провинции только для того, чтобы броситься в полнокровную реальность — двойное прелюбодеяние, в мир еще более заблудший. Потом сердце мое смягчилось, в конце концов, есть нечто романтическое в попытке воссоздать легенду о короле Артуре в еще большем масштабе. Но я чувствовал, что меня водят за нос, отлучают от жизни... Несправедливо, что так много произошло за моей спиной.

Глава 7

В Западный Кенсингтон я прибыл рановато — где-то в полдесятого утра на следующий день. Я свернул с диковинной улицы, до сих пор запрещающей "немецкие оркестры", на меньшую улочку, но зато уж наверняка ничего не запрещающую. Гостиница, которую избрали Уинтерботтом и его соратница по греху, оказалась чем-то вроде чопорных меблированных комнат, которые из последних сил цеплялись за останки респектабельности, и название у гостиницы было подходящее — такое вполне могла измыслить Берил — "Трианон". Пришлось позвонить и подождать. Я оглядел улицу, на углу которой издохшая респектабельность будто пузырилась, испуская миазмы. Наконец появилась седая женщина в сером, зевающая и помятая спросонок, и я спросил мистера и миссис Уинтерботтом. Женщина зевнула в сторону второго этажа:

— Номер три.

Я спросил, стараясь быть любезным:

— Почему эта гостиница называется "Трианон"?

— Э... — произнесла она, просыпаясь. Казалось, вот-вот она скажет: "Если вы пришли сюда шутки шутить...", но ее ответ мог бы удовлетворить даже самого графа Рассела, — потому что таково ее название, я полагаю.

Пока я поднимался по ступеням, она смотрела мне в спину так, будто я прятал на себе бомбы, начиненные разрушительными домыслами. Я постучался в номер три и в ответ ус-

лышал возню, скрип кроватных пружин, свист встряхиваемого покрывала, звяканье мелочи в спешно натягиваемых штанах и крик: “Одну минутку!”. Затем показалось лицо Уинтерботтома, бородатое лицо. Много же я пропустил. Эта свежеощетинившаяся соломенная борода была частью новой личности, которая храбро, даже агрессивно выступала против основательности звучания фамилии Уинтерботтом.

— Я знал, что вы придете рано или поздно.

Комната смотрелась ужасно голо и бесстыдно — ни тебе картинки на стене, ни даже скудного рисунка на обоях; распахнутые чемоданы на полу. Тепло, скаредными струйками сочащееся от газового камина, не могло соперничать со щедрыми тепловыми потоками, которые излучала Имогена. Она сидела на кровати, завернувшись в покрывало — рыжая, растрепанная, выставляя напоказ восхитительную шейку и гладкие белые плечи. Я подумал, что сейчас она пошлет меня куда подальше, но она улыбнулась и сказала:

— Привет.

— Это, — сказал я, — как гром среди ясного неба. Вот уж неожиданность.

Сесть можно было только на кровать — туда я и сел. Уинтерботтом прилег поближе к подушкам и принялся поглаживать правую руку Имогены. Она улыбнулась.

— Она проиграла, — мелодраматически воскликнул Уинтерботтом. — Она никогда не имела понятия, что такое настоящая любовь, вот в чем ее беда. Впрочем, — добавил он, — и моя тоже.

Поглаживания стали более решительными.

— Понятно. И сколько длится ваше сожительство?

— Нам пришлось бежать, — сказал этот новый лондонский Уинтерботтом. — Мы здесь неделю. Собираемся строить совместную жизнь.

Печатники не обязательно должны быть образованнее прочих смертных. Я ожидал от Уинтера каких угодно штампов и дождался.

— Это касается только нас двоих, — произнес он. — Мы бросили все друг для друга.

Тут пришла очередь Имогены подать реплику. Она сказала:

— Хватит жевать эти сопли, Билли. Мы решили попробовать, вот и все. Мы просто прикидываем, как оно, — сказала она мне. — Ему нужен присмотр, бедолажечке.

— Нет, — возразил Уинтерботтом, — мы любим друг друга. Я никогда не знал, что такое настоящая любовь, — повторил он.

— Ну а я-то тут причем? — поинтересовался я.

— Я забыл привезти свое зимнее пальто, — сказал Уинтерботтом, — и сказать ей, что не держу на нее зла, но денег прислать не могу. Но не сообщайте ей, где мы.

— И что, вы думаете, она будет делать?

— С ней все будет в порядке. Теперь она может выйти за своего отмороженного мясника.

— Но мне всегда казалось, что на самом деле идея была не в этом, — сказал я. — Я думаю, что идея была в том, чтобы просто меняться партнерами по выходным. Невинная загородная игра, вроде тенниса.

— Ну, игры побоку, — сказал Уинтерботтом.

Имогена вынула из-под подушки плитку молочного шоколада с орехами. Она отломила половинку и отдала Уинтерботтому, и оба торжественно воззрились на меня, пережевывая свой завтрак.

— Надеюсь, теперь-то она осознала, куда заводят подобные игры, — жевал Уинтерботтом.

— Кажется, вас они завели так далеко, что вы влюбились, — сказал я.

Уинтерботтом смутился. А я вспомнил странную теологию, которая прославляет Адамов грех, потому что ради его искупления появился Спаситель. Уинтерботтом не особенно годился для подобного двоемыслия.

— Я бы сказал, что вы здорово влипли, — продолжил я. — И что вы собираетесь делать? Я имею в виду, собирается ли кто-то из вас заниматься разводом, например?

— Теперь-то он мне его даст, вымесок, — сказала Имогена.

Я вспомнил, что она рассказывала своему отцу, мне и таксисту в вечер своего приезда, и сказал:

— Он вроде бы раньше не очень-то охотно соглашался? Впрочем, наверное, мне не следовало этого говорить.

— Можете говорить все, что вам взбредет в голову, — сказала Имогена. — Билли берет меня такой, какая я есть. И вот я в Лондоне. Я собираюсь хоть немного увидеть жизнь.

— Мы оба, любимая, — сказал Уинтерботтом.

Она улыбнулась ему очень нежно и поцеловала в расхристанную шею. Рубашка Уинтера явно нуждалась в стирке, как я заметил.

— И сколько же это длится? — сказал я. — Месяц? Чуть больше месяца? Люди не могут так быстро принимать подобные решения.

— Еще как могут, — неистово возразил Уинтерботтом, — это все любовь! Ты встречаешь кого-то, и понимаешь — вот оно! Имогена чувствует то же самое.

— Ему нужен присмотр, — сказала Имогена, обвивая его голой рукой. — После того, как с ним обращалась эта стерва.

— О, да все нормально было, — сказал Уинтерботтом, — просто она, кажется, не совсем понимала, что такое замужество. Но я попрошу ее о разводе. А потом мы с Имогеной поженимся.

— Да, — сказала Имогена, — но мы еще посмотрим, правда же? А тем временем нам надо на что-то жить?

Она при этом так откровенно улыбнулась мне, что мне пришлось улыбнуться в ответ. Они дожевывали свой скудный завтрак в постели и на постели, и меня вдруг поразила та социальная пропасть между ними, которую демонстрировала их речь, их произношение. Как будто голоса их на мгновение замерли и словно фотографии повисли в холодном воздухе над кроватью. Речь Имогены — отнюдь не патрицианская, но сценическая, в глубине ее залегал богатый пласт приличной школы для девочек. Речь Уинтерботтома — плебейская, истощенная, грешащая нечистыми дифтонгами всех индустриальных городов, обескровленная речь. Странная парочка. Я мог понять, что́ он нашел в Имогене, но не мог взять в толк, что нашла в нем она. Мне до сих пор не верилось, что вагнеровская буря — восемь арф, четыре тубы — обрушилась на пригород и сорвала все антенны: ведь нужно какое-то особо ядреное приворотное зелье, чтобы подобное свершилось всего за месяц с небольшим. Но я видел, что во взгляде Имогены, каким она одаривала Уинтерботтома, помимо влюбленности, сквозили здравый расчет, улыбка, насмешка, снисходительность — очень и очень похоже она смотрела на своего отца. Она не была под властью неких неведомых доселе чар. Возможно, он приятнее ей, чем какой бы то ни было другой мужчина когда бы то ни было, и, наверное, он ласков к ней в постели. Я заметил, что на вид он чистоплотен и неплохо сложен. Но меня не оставляло ощущение, что в этом побеге в Лондон поразительная чувственная притягательность этого города (такого серого и аскетического города) возбуждала Имогену куда больше, чем ее партнер по двойному адюльтеру: она должна была сбежать в Лондон с кем-нибудь, и этим кем-нибудь оказался случайно подвернувшийся Уинтерботтом.

— Хотите, чтобы я еще что-нибудь передал? — спросил я.

— Передайте папочке, чтобы не волновался, я всегда приземляюсь на ноги, — сказала Имогена. — Скажите ему, что мне просто нужно было что-то сделать и что Билли очень хороший, по-настоящему хороший.

— Ладно, — ответил я, — вставая с кровати. — Скажу ему, когда буду отдавать три сотни фунтов.

У Уинтерботтома был такой остолбенелый вид, как будто он в жизни не видывал такой суммы. Он не был настолько хорошо воспитан, чтобы скрыть любопытство.

– О, – пояснила Имогена, – это на папину книгу стихов. Мистер Как-Его-Там собирается поддержать ее.

– Инвестиции, да? – спросил Уинтерботтом.

Имогена рассмеялась.

– Нет, это один из способов швырять деньги на ветер. Во славу ли-те-ра-ту-ры. В таком случае мы тоже можем быть с вами совершенно откровенны, – сказала она мне, – и сказать, что уж мы-то могли бы сделать на эти деньги гораздо больше, чем папочка. Стишки его чересчур залежались. А мы, если не считать пяти фунтов, что мне дали в конторе, и того, что Билли удалось выручить, загнав телевизор, пока ее не было дома, практически без средств на пропитание. – С последней репликой на сцену вышла ведущая актриса – ироничная, с раскатистым "р".

– Телевизор принадлежал не только Элис, – сказал Уинтерботтом, – мне тоже.

– Дело не в этом, – сказала Имогена, – расскажи мистеру Как-Его-Там, что ты задумал.

– Так вот, – сказал Уинтерботтом, – есть тут одна старая печатная машина с ручным прессом. У одного чувака на чердаке. Она только для маленьких тиражей, но это все, что я умею делать. Я встретил этого чувака в пабе, где этот паб, Имогена?

– Где-то неподалеку, – ответила Имогена, оба они весьма смутно представляли себе Лондон. – Ну, это несущественно.

– Есть возможность устроить маленькую мастерскую, – сказал Уинтерботтом, – сняв пару комнат внизу. Они называют это "полуподвальное помещение". И я вот тут подумал, если бы мне найти, кто бы мне помог для начала, – он сконфузился, и стал дергать щетину на подбородке так яростно, словно это были волоски, торчащие из носа.

Слушая его, я снова присел на кровать.

– Вы хотите что-то печатать, – сказал я. – Что именно?

– О, да все, что смогу. Наша фирма была не шибко похожа на фирму. На самом-то деле это была скорее мастерская. Программки печатали, приходские журналы, членские билеты всякие. Я даже не сообщил им, что ухожу, – произнес он мрачно, – не подал вида, и слова никому не сказал. Наверное, мне следует им написать.

– Ага, вы обзаведетесь чем-то вроде "Типографского набора Джона Буля"[1], – сказал я не без издевки. Ишь, еще и бороду отрастил, словно вознамерился стать Уильямом Морри-

1. "Типографский набор Джона Буля" – детский игрушечный набор шрифтов.

сом[1], – и хотели бы, чтобы я одолжил вам денег для начала, так?

– Вы бы скоро получили их обратно, – не очень-то обнадеживающе произнес Уинтерботтом.

– А почему "одолжил"? – спросила отважная Имогена. – Вы собирались дать их моему отцу просто так.

– И до сих пор собираюсь, – сказал я. – Я полагаю, вы просите меня оплатить вашу связь. У вашего отца цели честные и даже благородные. А вы оба сбежали в Лондон, разрушив две семьи. Теперь вы притворяетесь, что начинаете нечто, обещающее постоянство чуть ли не навсегда. И прекрасно знаете, что этого не будет. Но хотите, чтобы я вас финансировал.

– Это навсегда, – страстно воскликнул Уинтер.

– Мы этого не знаем, – возразила Имогена. – И никто не знает. Но что касается финансирования, то ответ – "да". У папочки есть работа, а у Билли здесь ее нет. И если вы собираетесь просто выбросить деньги на ветер, то, бога ради, отдайте их тем, кто больше всего в них нуждается.

Во мне проснулся моралист и молвил:

– Вы хотите, чтобы я финансировал нечто аморальное.

– О, и вы с вашей сраной аморальностью, – сказала Имогена. – Вы говорите точь-в-точь, как Эрик.

По той порции яда, с какой она произнесла это имя, я догадался, что речь идет о ее муже.

Я был непоколебим, хотя один Бог знает, имел ли я на это какое-то право.

– Вы разрушаете два брака. Вернитесь по домам, ради всего святого. Дайте им обоим еще один шанс. Все ведь совершают ошибки. Но вы не можете вот так взять и развалить семью. Дайте этому случиться однажды, и это повторится снова. Возвращайтесь. Попробуйте еще раз.

– Я ничего не разрушал, – сказал Уинтерботтом, по-новому, по-лондонски яростно. – Это она все разрушила. Вы сами назвали ее прелюбодейкой. До этого мне никогда не приходило в голову назвать ее таким словом. Она все разбила на куски. Все. И она еще рассчитывает, что я поверю ее россказням о *любви*.

Я видел, что ему хотелось снова поглумиться над этим словом, осмеять его горьким смехом, но я видел и то, что он боится замарать это слово и то новое значение, которое оно об-

1. Уильям Моррис (1834–1896) – английский поэт и художник-прерафаэлит, основавший в 1891 г. частную книгопечатню "Келмскотт-пресс". Одним из главных ее отличий было использование традиционных книгопечатных технологий. Книги "Келмскотт-пресс" возродили ремесло книгопечатания времен Гутенберга и Мануция, а также существенно повлияли на улучшение качества массовой книги.

рело для него теперь. Как я и ожидал, он схватил и крепко сжал запястье Имогены.

— Вы могли бы отшлепать ее по попе, — сказал я, — говоря попросту. Могли закрыть ее на замок в комнате, или в туалете, или еще где-нибудь. Вы могли положить конец ее маленьким игрищам.

— Там нет замков, — буркнул Уинтерботтом, этот буквалист до мозга костей. Имогена засмеялась. — И буду благодарен, если вы не станете употреблять подобные слова в присутствии моей... — он замешкался, подыскивая какое-нибудь цензурное слово для обозначения статуса Имогены, — моей...

— Вашей любовницы, вы хотели сказать, — помог ему я. — По жопе, — повторил я громко.

Имогена восприняла это как отличную шутку.

— О, — воскликнул Уинтерботтом, — можете смеяться надо мной сколько угодно.

— Я не смеюсь, — сказал я, — я серьезен. Но я не собираюсь вам помогать.

Имогена приняла это на удивление спокойно.

— Значит, вы считаете, — сказала она, — что лучше пусть люди живут в аду только потому, что когда-то давным-давно они думали, что он станет раем. Я имею в виду, что вы предполагаете, что протрезвев, человек должен выполнять обещания, которые он дал вдрызг пьяным. Вы считаете, что брак важнее счастья!

— А не надо человеку напиваться вдрызг, — заметил я.

И тут она сорвалась и набросилась на меня.

— Да какого хрена вы присвоили себе право говорить о браке, о счастье и обо всем остальном? Вы, самодовольный неженатый дрочила! Греетесь на солнышке в обнимку со своими сраными деньгами. — Брызги слюны орошали воздух. Я утерся. — Кормите меня своими сучьими ханжескими байками о святости брака, постоянстве и о прочих мерзопакостях, а сами перепихиваетесь там у себя с китаянками, японками и прочими узкоглазыми. Вот женитесь сначала, откушайте все прелести брака, а потом корчите из себя херова эксперта по семейным ценностям. Поживите с этим ублюдком Эриком несколько лет, испытайте то, что мне пришлось испытать, — она заметила мою слабую усмешку и сказала: — о, да вы знаете, о чем я, — и прибавила, свирепея: — Да, из вас получится сладкая парочка, будете сидеть у камина вдвоем и трепаться о святости того да нерушимости сего, обсасывать брачные обеты и прочую херню от чертовой Высокой церкви.

Вне всякого сомнения, она была одной из желаннейших женщин на свете — разгоряченная, рыжая, все более нагая от яростных речей, стрясающих покрывало с ее плеч. В комнате стало по-настоящему жарко. Я взглянул на часы и сказал:

– Думаю, нам необходимо пойти и где-нибудь пропустить по паре глотков, а потом мы могли бы отправиться еще куда-нибудь и позавтракать.

В мгновение ока Имогена выпалила:

– Мы не нуждаемся в вашей чертовой благотворительности!

Но я предвидел, что она это скажет, и, начиная со второго слова, выпалил фразу вместе с ней и с ее же собственной интонацией. Она не могла не рассмеяться, однако Уинтерботтом казался чрезвычайно озабоченным.

– Эта борода, – сказал он, дергая щетинистую поросль, – понимаете, мне кажется, я еще не готов куда-то выйти с такой бородой.

– Так сбрейте, – посоветовал я, – потом снова начнете отращивать, когда вернетесь домой.

Я обвел взглядом то, что им приходилось называть домом. Осуждал ли я их за это? Конечно же нет, дурак этакий. Он серьезно посмотрел на меня.

– Жалко... Я уже две недели ее отпускаю.

Иными словами, он начал отращивать ее еще до своего прелюбодейского побега – вместо нового органа храбрости.

– Бородка очень милая, – сказала Имогена, целуя бороду, – и всем понравится, Билли, вот увидишь.

Она скатилась с постели. Ночная рубашка застряла у нее между ягодиц.

– Если вы, – сказал я, – собираетесь одеваться, то я лучше пойду и подожду вас где-нибудь, хорошо?

– Здесь есть комната для завтраков, правда, завтраков они больше не подают, но название осталось.

– Не будь чертовым слюнтяем, – сказала Имогена, – он знает, как выглядит женщина.

– Я не о вашей скромности пекусь, – сказал я, – а о... эээ... скромности мистера Уинтерботтома.

– Не в бровь, а в глаз, – сказала Имогена и присела на корточки, лицом ко мне, к газовому камину. – Вы бы убедились в этом, если бы спали с ним. Господи, что за чертова холодрыга сегодня. И что же могло заставить вас вернуться сюда из Индии или откуда там?

– Я делал то, что должен. С Цейлона. Если вы пробыли здесь неделю, – спросил я, – значит, приехали где-то под Рождество?

– На следующий день, – гордо сказал Уинтерботтом. – Она – самый лучший рождественский подарок за всю мою жизнь.

Я почувствовал некую жалость к ним, смешанную с восхищением, затеявшими поездку в стылый пустой город, пока

другие доедали в тепле холодную индейку и жаркое, а на каминной полке этих других ждали билеты на пантомиму. Но от меня они не получат ни пенни. Имогена в покрывале, стуча зубами от холода, опрометью выбежала из комнаты, наверное в туалет. Мы с Уинтерботтомом остались одни. Он, мужественно приосанившись, встал против камина, застегнул воротник, повязал галстук и сказал:

— Я и сейчас думаю, что мы поступили правильно. Нельзя всю жизнь притворяться.

— Можете отпечатать этот лозунг первым же своим тиражом, — сказал я, — и отослать один экземпляр моей сестре Берил.

— Так вы поможете? — спросил он без всякой надежды. — Уверен, я смогу раскрутиться. И мне не так много нужно на самом-то деле — пара сотен всего.

— Но вы на самом-то деле ничего обо мне не знаете. Я же вам не близкий друг, знакомый с детства. Я совершенно чужой человек, просто посторонний прохожий. Я о том, что вы не можете на меня рассчитывать.

— Ах, это... — ответил Уинтерботтом, пытаясь застегнуть запонку. — Что вы, нет, я и не собирался на кого-то рассчитывать.

Огонь в газовом камине осел, и немедленно завел свою хриплую лебединую песню, постреливая воздухом из горелки.

— Ой черт, — сказал Уинтерботтом, — только деньги съедает. Не знаю, как мы это устроим. — Он нашарил шиллинг, бросил в прорезь и снова зажег оживший чадный фитиль. Огонь заплясал весело, но камин уже остыл. — Однако в качестве инвестиции, — продолжил он, — или займа.

— Я подумаю, — сказал я безвольно. — Но моральная сторона всего этого...

— Не надо об этом, — зашептал он испуганно, — она вот-вот вернется.

Но она уже была тут как тут, блистательная, но казавшаяся такой холодной, какой только может быть женщина.

— Чертова стужа, — дрожала она, скорчившись и обхватив себя обеими руками, как будто защищая крохотное пламя, теплившееся где-то в области пупка.

Она деловито принялась застегивать на себе состоящие из тесемок эластичные предметы туалета, с помощью которых женщина тонко подсмеивается над гравитацией. Уинтерботтому пришлось помочь ей с застежками на спине, и она взвизгнула “Ой, боже!” от прикосновений его непослушных ледяных пальцев. Чулки, изящный зеленый костюм, высокие каблуки завершили ее оперение, затем, вытянув губки, она поцеловала скользящую помаду, подкрасила бровки, сра-

зилась с гребнем, ругаясь на чем свет стоит, — и была готова. Уинтерботтом, уже в пиджаке и галстуке, вдруг безнадежно всплеснул руками.

— Кошмар, я забыл умыться.

— Вы выглядите достаточно чистым, — сказал я, мечтая о первой за день выпивке.

— Ох, Билли, какой же ты жуткий зануда, малыш. Пойди оботрись моей фланелькой, чертов грязнуля, — сказала она, и он вышел.

— Итак, — сказал я.

— Итак, — сказала она, роясь в сумочке.

— Что все-таки происходит?

— Вы же сами видите, что он нуждается в том, чтобы кто-то за ним присмотрел, — сказала она. — Так что хватит задавать дурацкие вопросы, мистер... как вас зовут, кстати?

Я степенно достал визитку и протянул ей. Она скорчила гримаску, качая головой туда-сюда, как будто перед ней был нотный текст, а она дурашливо изображала, что не знает нотной грамоты.

— Я имею в виду настоящее ваше имя, — произнесла она.

Все зовут меня Дж. У. Есть один человек, который называет меня Перси, но как Лючия из оперы не знает, почему ее зовут Мими[1], так и я не знаю, почему меня зовут Дж. У.

— А вы смышленый шельмец, а?

— Вполне, — ответил я.

Она спрятала визитку в сумочку. Уинтерботтом, освеживший "фланелькой" лицо и руки, явился как раз вовремя, потому что выходить нужно было безотлагательно. Я единственный не забыл выключить газ перед уходом. Мы дошли пешком до метро и стали ждать поезда до Пиккадилли. Что бы я ни сделал — я кругом оказывался виноват, как жертвы архиепископа Мортона[2]. Возьми я такси — и показался бы выпендрежником, насмехающимся над бедностью, которой я не собираюсь помогать, а ожидание метро стало притоптывающей, дрожащей и дующей на руки демонстрацией моей скупости. Но мы провалились в путешествие на эротическую Пиккадилли, как в сон, в котором Имогена и Уинтерботтом придирчиво сверяли остановки с картой, расположенной, согласно здравому гео-

1. Имеется в виду "Рассказ Мими" из оперы Дж. Пуччини "Богема" — "Что ж, зовут меня Мими, но мне имя — Лючия".
2. Джон Мортон, архиепископ Кентерберийский (ок. 1420–1500), стал одним из создателей налоговой системы, в связи с которой возник парадокс под названием "Вилка Мортона" — выражение, описывающее выбор "из двух зол". По логике Мортона, и бережливые подданные короля, накопившие излишки, и моты, у которых есть что тратить, в равной степени обладают доходами, которыми должны поделиться с правительством.

метрическому смыслу, на уровне пассажирских глаз в окружении всяческой рекламы. Рты приоткрыты, глаза нараспашку — ни дать ни взять двое деревенских пентюхов, на денек загулявших в столице. Время от времени они переглядывались и глупо хихикали. Я сидел напротив, нахохлившись в своем пальто, мрачный и нелюбимый: ни шиша они от меня не получат. Впрочем, выпивку и еду — так и быть. Я привел их в просторное новое питейное заведение — не паб, а чистый тебе дворец с собственным неугасающим дневным светом. Нам пришлось взойти по ступеням в зал, устеленный поглощающим шаги ковром, на котором стояли розовые и теоретически неудобные стулья. Имогена с наслаждением сняла перчатки:

— Ах, тут тепло, — произнесла она ясным голосом премьерши, и все мужчины посмотрели на нее.

Мы сели за столик, из-за стойки вышла Юнона лет сорока — блондинка вся в черном в расцвете своей изобильной красоты — и направилась к нам за заказом. Они с Имогеной обменялись молниеносными звериными взглядами. Юнона спросила:

— Ну что, джентльмены?

Запахло жареным, и я сказал:

— Нам всем хорошего сухого шерри, правда?

— Нет, — сказала Имогена. Я хочу большой "Джин-энд-ит"[1]. Большой, — повторила она.

— Большой, — кивнула женщина. — И "Тио Пепе"[2]? — предложила она.

— И "Тио Пепе".

Женщина отошла слишком степенно — дебелая, статная, величавая, и наверняка слышала слова Имогены:

— Большой — самое то, здесь все большое, правда? — О, этот смех золотоволосой поэтовой дочки.

— Пожалуйста, — попросил Уинтерботтом, — Имогена, не начинай, никто же тебе ничего плохого не делает.

— Манеры, — выпалила Имогена, — у всех теперь ужасные манеры. Мне не понравилось, как эта оторва посмотрела на меня, и не понравилось, как она произнесла "джентльмены", и не понравился тон, каким она сказала "большой".

— Ладно, — сказал я быстро, — забежим чуть вперед: ваш коктейль окажется слишком теплым, в нем не будет ни кусочка лимонной цедры, и на вкус он будет заметно разбавленным, так ведь? Местечко еще то, конечно. Так пожалуйтесь мне, и покончим с этим. В конце концов, это я вас сюда привел.

1. "Джин-энд-ит" — коктейль из джина с красным сладким вермутом.
2. "Тио Пепе" — классический сухой херес шестилетней выдержки.

Имогена надула губки:

— О, да вы и вправду умник хренов, все-то вы знаете в жизни.

Но когда принесли напитки, она хихикнула, обнаружив, что мое пророчество попало в точку. Она отпила из бокала, пока Юнона давала мне сдачу, и произнесла очаровательным бархатным голосом:

— Потрясающе, в самом деле, первоклассный коктейль!

Вид у официантки был озадаченный, и я придал ей ускорение с помощью щедрых чаевых.

— Спасибо, сэр, — сказала она, оторопев еще больше.

Запах жареного рассеялся.

Да, еще намается Уинтерботтом с этой Имогеной, я это знал наперед. Она уже причиняла ему боль — мужчины, пожирающие ее взглядами в ожидании, какое еще коленце оно выкинет, это невыносимо сладостное, одетое и недосягаемое тело. Теперь она спросила:

— А где мы будем есть?

К этому я был готов, вот только... Я было вспомнил о "Кафе-Рояль", но как представил Имогену, швыряющую тарелки в официантов, так и передумал. К тому же уинтерботтомовская борода была под большим вопросом. Я сказал:

— Есть одно милое местечко неподалеку, у них в витринах весь день цыплята жарятся на электрическом вертеле. Там вам подадут бутылку крепкого пива, и никто слова не скажет, если вы будете глодать кости. А на гарнир у них — жареная картошка.

Имогена подозрительно посмотрела на меня и сказала:

— Я не люблю портер.

— Ну, тогда пиво или "Божоле", как пожелаете.

— Я что-то не совсем понял, — сказал Уинтерботтом, — насчет портера и костей, какая между ними связь?

— О Билли, — сказала Имогена, — хватит молоть несусветную чепуху! — Уши и глаза мужской части присутствующих снова навострились в сторону выразительного сценического голоса и его обладательницы. — Пойдемте скорее, у меня до сих пор во рту вкус этого чертового шоколада.

Уинтерботтом был рожден для гораздо большего конфуза, чем тот, что составил бы его справедливую долю. Когда мы шли по узкой улице, загроможденной фруктовыми тележками, две девчушки-подростка в обтягивающих брючках и с "конскими хвостами" на затылках, восторженно бросились к нему с альбомами для автографов наперевес. "Джонни Крошоу!" — закричали они, и две другие девчонки, помладше, возникли из-за тележки. Одна взвизгнула: "Джонни!", а другая заулыбалась во весь рот, пожирая его влюбленным взгля-

дом: “Ах, подпишите мне книжку, мистер Крошоу!” Они спутали его с довольно невзрачным лидером фолк-группы, которую часто крутили на коммерческих каналах. Когда Уинтерботтом возразил, что никакой он не Джонни Крошоу, а, наоборот, Уинтерботтом, девчонки сначала засмеялись, а потом разозлились. Они следовали за ним по улице, крича: “Уинтерботтом — кой на что намотан”, и отпускали грубые остроты в адрес его бороды. Имогена хохотала от души, приговаривая: “Ну и дурак же ты, Билли, набитый дурак!”.

Но вскоре мы уже сидели, и перед каждым из нас стояла тарелка с половиной цыпленка и золотистым картофелем. Та самая Имогена, заявлявшая, что не любит портер, заказала портер, а Уинтерботтом и я взяли по бутылке светлого горького. Горячий жир поблескивал в бороде Уинтерботтома. Ел он до крайности сосредоточенно.

— Как же это, — сказала Имогена, — охренительно!

Потом мы заказали блинчики, и вдруг Уинтерботтом внезапно забеспокоился. Он сказал:

— О господи, мне надо выйти.

— Куда это?

— В уборную, боже, вдруг прихватило.

Он весь сжался и заерзал. Имогена подозвала официанта.

— Где у вас тут удобства?

— Дамские, мадам?

— Мужские.

— У нас нет ни тех, ни других, — ответил официант с глубоким удовлетворением в голосе, — придется вам идти на станцию метро.

— Ты слышал, Билли?

— О господи, — простонал Билли, и унес свою бороду прочь.

— Бедняжечка Билли. Такой милый — до безобразия.

— Да неужели? — спросил я. — Я в том смысле, неужели это все по-настоящему у вас?

— О, — произнесла Имогена, положила десертную вилку и посерьезнела, — да, Билли хороший. Он нуждается в том, чтобы кто-нибудь за ним приглядывал. Он не притворяется большим и сильным и знает это. Не хочет казаться лучше, чем он есть, но знаете — он действительно хороший. — Жующий спичку официант развесил уши.

— Проваливай, — сказала ему Имогена мимоходом, — сует свой чертов нос куда не следует! — И мне, дожевывая последний блинчик: — Он немного похож на папу, своей беспомощностью.

— Вы выйдете за него замуж?

— А почему бы и не выйти? Это было бы не так уж плохо.

Она допила портер и вытерла пену с губ. А потом спросила:

— Надолго вы сюда?

— Куда? В Лондон?

— Сюда — в Англию. Прежде чем вернетесь к своей яваночке, или японочке, или кто там у вас есть.

— Никого у меня нет.

— Ха-ха-ха, — произнесла Имогена. — Так надолго?

— Ну, месяц я был в поездке, месяц — дома, потом месяц на Цейлоне, а потом обратно по морю. Еще месяц. Почему вы спрашиваете?

— Как вы смотрите на то, чтобы я стала вашей девушкой?

— Скажите это еще раз, я не совсем...

— Все вы слышали, — сказала она спокойно и решительно. — Я буду вашей подругой, пока вы в Лондоне. На ставку. Скажем, двести фунтов авансом. По-моему, это прекрасно.

— Но, бога ради, вы же только что сбежали с чужим мужем. И каким, черт побери, боком Уинтерботтом вписался во все это?

— Секс, — сказала Имогена, — вы слишком большой кипеж устраиваете вокруг секса. Думаете, что секс — это и есть любовь.

— Конечно я так не думаю и никогда не думал.

— Если я — ваша деьушка, то это не означает, что я люблю вас или бедняжечку Билли, я просто предоставляю вам секс, но, — уточнила она, — не чересчур много. — И я могу сопровождать вас куда угодно. Вам понравится.

— Нет, — сказал я, — благодарю покорно. Я очень польщен и все такое, но нет.

Имогена невозмутимо принялась прихорашиваться перед зеркальцем.

— Вкусный был цыпленок, — сказала она. И прибавила: — Ладно, я не предлагаю дважды. Сейчас или никогда. Но если я пущусь во все тяжкие, то это будет ваша вина.

— Я не принимаю никаких обвинений, ни в чем. Вам следовало бы как-нибудь тихим вечерком сесть и как следует разобраться в собственных нравственных устоях, — сказал я, — а меня увольте.

— Хорошо, — сказала она, — но вы могли бы на худой конец дать нам денег, чтобы бедолаге Билли было с чего начать.

Имогена округлила рот буквой “о” и закрасила букву помадой. Я вздохнул. Она завершила манипуляции, благодушно чмокнула губами перед зеркальцем, и звонко его защелкнула. Затем она повернулась ко мне, изображая пристальное внимание. Официант принес счет.

— Я дам вам пятьдесят фунтов.

— Сто.

— Семьдесят пять, — сказал я.

Я вытащил чековую книжку в чудесном тисненом золотом кожаном чехле. И извлек свою массивную авторучку делового человека. Официант подошел и сказал:

— Извините, сэр. Оплата только наличными, сэр, если вы не возражаете.

— Эй, ты, — сказала ему Имогена, — не суй свой сраный длинный нос, куда не следует. Этот чек не тебе, а мне.

— Простите, несомненно, — сказал официант и прибавил со значением, — мадам.

Он отошел в раздражении. Имогена испустила вздох полностью удовлетворенной женщины, складывая чек и пряча его в сумку. Потом вернулся Уинтерботтом, вид у него был осунувшийся.

— Я надеюсь, ты не зря так долго ходил?

— Там на двери щеколда. Я не мог выйти, пока кто-то не пришел и не открыл дверь снаружи.

— О, — засмеялась Имогена, — бедный Билли.

Казалось, что он как никогда соответствует этому эпитету.

Глава 8

А на следующий день я пыхтел вместе с поездом на Мидлендс, и, сидя напротив одного из тех неизбежных духовных пастырей, читающих "Таймс" (который оставляет за собой место напротив пассажира в любом пустом купе первого класса и который, как все мы знаем, вполне возможно, и есть сам Бог), наблюдал печальную, убогую историйку, раскручивающуюся на телеграфных проводах. Больше мне нечем было занять мысли после тряского ланча, поскольку я устыдился читать купленные мною низкопробные журнальчики в присутствии духовного лица, читающего "Таймс".

Накануне я отверг Уинтерботтома и Имогену, или был отвергнут ими после золотистого цыпленка и блинчиков — сытые, хмельные от пива и портера, они по всем признакам (поглаживание ножки под столом, многозначительные рукопожатия, бесстыжие взгляды, губы в бессмысленной улыбке) желали теперь только одного — вместе отправиться в койку. Я же, кормилец, меценат, раздающий чеки, удалился как мрачный Пандар, протянув Имогене пару фунтов на первый случай, прежде чем утром откроются банки. Они ничего больше не рассказали об истории своей любви, кроме того, что плавало на поверхности, но я и сам все видел предельно ясно. Элис втянула Уинтерботтома в игру без всякого труда, сразу почуяв в Имогене свойства, пред которыми он не устоит, поскольку прежде она сама сразила его теми же свойства-

ми. Но ей следовало учитывать, что Уинтерботтом предпочитал сонаты секстетам и что в любом случае, секстет — слишком большой ансамбль для исполнения этой беспечной музычки выходных. Так что вскоре сонату стали играть в одной комнате, а квартет — в другой. А потом в один прекрасный день исполнители сонаты решили, что играют вполне прилично, чтобы считаться профессионалами, сложили ноты и один переносной инструмент в футляр и отправились в большой мир. Так и должно было случиться.

Поезд протащился через предполуденное время к подлинному полудню закрытых пабов и станционных баров. Священник напротив, огромный мужчина лет шестидесяти, вдруг довольно громко засмеялся чему-то в "Таймс", чему-то настолько хорошему, что читать дальше в этих сующих во все свой длинный нос колонках явно было бы уже скучно, так что он отложил зашуршавшую, словно юбка, газету на сидение рядом. Я слабо ему улыбнулся, ерзая на припрятанных журналах. Он чуть кивнул и, до того читавший невооруженным глазом, надел очки и зевнул, уставившись на пейзаж за окном. Три внезапно возникших "о", подобных трем сферам на вывеске ломбарда — очки и открытый рот, — напомнили мне о Селвине, и я заговорил. Я спросил его:

— А каков, сэр, ваш взгляд на мораль в современном мире?

Вроде бы это честная постановка профессионального вопроса. Служитель божий сначала взглянул подозрительно, потом — снисходительно и сказал, обращаясь к полу и кончику моей сигареты.

— Мой взгляд на мораль — это ортодоксальный христианский взгляд. Вы говорите: "в мире". Но ведь нет морали вне мира? И добавляете: "современный". Но разве добро и зло меняются со временем?

В голосе его звучали пугающе-изысканные нотки, характерные для жителей юго-западных графств.

— Бессмысленный вопрос, — продолжал он, откашлялся с глубоким довольством, улыбнувшись проплывающим мимо серым акрам, словно те были его собственностью, и повернулся ко мне с дополнением: — если мне позволено это сказать.

— Конечно, конечно, — сказал я. — В конце концов это же ваша работа — порицать и назидать.

И сразу безо всякого стыда я обрел способность извлечь из-под задницы один из моих недостойных журналов, купленных в киоске. На обложке красовалась девушка в чулочках на поясе и черном нижнем белье, она стояла на коленях, глупо улыбаясь небесам и предлагая им же груди, жертву приемлемую. Я начал читать статью о выкидных ножах. Служитель божий кашлянул, наклонился ко мне и сказал:

— Касательно морали. Вы наверное ожидали, — в терпеливом доброжелательном внимании я поднял глаза от выкидных ножей, — ожидали, что я скажу, что наше время аморально как никогда, потому что, конечно, людей в мире стало больше, чем когда-либо. Но я так не скажу. Конечно, зла совершается больше, но зло — понятие не арифметическое, в конце концов. Это явление духовное и не подлежит измерениям.

— Значит, — откликнулся я, — зла сейчас не больше, чем когда Каин и Авель были молодыми здоровяками?

— Нет. Ну, в известном смысле — нет. Просто это должно быть осознанно. Должно обрасти плотью. Со временем.

— Должно, почему должно?

— Мой дорогой сэр... — Он наклонился еще ближе.

Скоро мы оказались средь жаркого теологического диспута, в котором он цитировал мне Аквината, и Августина, и Оригена, а в придачу Пьера Абеляра и Юлиану Норвичскую, и "Облако неведения"[1]. Он разбирался во всем этом, ей-богу, но и это не помогло втиснуть Уинтерботтома и Имогену в моральный пейзаж. Я отчетливо видел, по мере того как поезд притормаживал на моей станции, что если они и грешили, то только против постоянства. Почему тогда я должен чувствовать себя таким праведно оскорбленным? Священник, ехавший дальше к северу, просто попрощался вежливым "Доброго вам дня", снова погружаясь в шуршащую, как юбка, "Таймс", пока я выходил со своими сумками и журналами. Когда поезд тронулся, я уже знал, что священник этот исчезнет в небесном эфире — медленно, но верно, провалившись в какую-то временную или пространственную дыру, чтобы потом снова оказаться лицом к лицу с каким-нибудь пассажиром в прежде совершенно пустом купе первого класса.

Один из моих саквояжей был отнят у меня крепкой рукой, и я услышал голос:

— Мистер Денхэм, наконец-то вы здесь. Я встречал все поезда сегодня, и вот, наконец, вознагражден.

Это был мистер Радж из Коломбо — белоснежный набор зубов на фоне молочного шоколада, обведенного синей каемкой от холода.

— Нет, — сказал он, — не то чтобы я зря терял время. Я задавал многим ожидающим поезда путешественникам вопросы касательно межрасовых отношений и сделал обширные записи их ответов.

1. Мистический трактат, написанный на среднеанглийском языке неизвестным монахом во второй половине XIV в.

— О, — сказал я, — я думал, мы договорились...

— Да-да, — сказал мистер Радж, одетый на этот раз в шикарное теплое пальто коричного, как мне показалось, цвета, — вечером. Я вспомнил. Я уже провел рекогносцировку заведения, упомянутого вами у гостиничного лифта в Лондоне, и даже отрекомендовался вашим другом хозяину трактира и его супруге, и более того — был радушно ими принят. Я также навестил этого почтенного старца, вашего отца, который сначала решил, что я хочу продать ему ковер. Мистер Радж просветил его по сему случаю и порекомендовал отличные лекарства от кашля, который, боюсь, весьма докучает ему. Как видите, молодой господин Денхэм, я не прохлаждался тут попусту.

Я пронзил его надменным взглядом старого колониального торговца, но он использовал это "молодой господин" достаточно осознанно, чтобы принять мой взгляд без обид. И вот я стоял на холодной платформе у пыхтящего поезда, держа одну сумку и журналы, пока мистер Радж улыбался и улыбался, осторожно помахивая другой сумкой, я стоял — и просто не знал, что делать. Привокзальный бар уже закрылся, зимний полдень зиял железной пастью, и вот вам мистер Радж, привратник у любой двери, которую я пожелал бы открыть.

— Ладно, — сказал я. — Пошли выпьем в "Гиппогрифе".

— Я всецело в вашем распоряжении, мистер Денхэм. Позвольте мне понести и другую сумку, сэр, или, по крайней мере, эту охапку материалов для чтения.

Он чувствовал себя со мной достаточно свободно, чтобы пародировать туземного носильщика из давних времен. Поезд уже был готов к движению на север, и пар клубился подобно спецэффектам в постановке "Фауста", поршни работали, разгоняясь для финальных фрикций. Мы прошли мимо начальника станции, и телеграфа, и ресторана, и мимо кальварий, поднялись по ступенькам на мост, перешли его, направляясь к улепленным рекламой стенам, и добрались до такси, которое мистер Радж приветствовал взмахом тонкой руки и зубастой улыбкой.

— Только одно омрачает мое счастье, мистер Денхэм, в этом великом и цветущем провинциальном городе, а именно — трудности с обретением ночлега сообразно моему статусу. Меня отсылали на захудалые улицы, где негры из Вест-Индии скандалят и предаются пьяному разгулу в общественных пристанищах, и это непристойно. Ваши друзья, хозяин и его леди, владеющие трактиром, коих я попросил принять меня, с сожалением отказали. Вашего отца я тоже обременил просьбой приютить меня, но он заявил, что вторая спальня предназначена для ваших частых приездов. Но, мистер Ден-

хэм, у меня нет ни малейшего возражения против того, чтобы разделить ночлег с вами, и потом, когда вы будете отсутствовать, я могу хранить тепло постели. Он тепло улыбнулся. Я постарался улыбнуться в ответ, помня о камнях на зубах около десен и о пятнах от табака ниже, и сказал:

— Мы подыщем вам что-нибудь соответствующее вашему статусу.

Теперь мистер Радж величественно раскинулся на сидении. Крылья его носа затрепетали от гордости, а сам он направо и налево расточал улыбки прохожим на тротуарах.

Вскоре мы доехали до "Гиппогрифа", и мистер Радж суетливо вышел из машины с моим багажом, словно компаньон на жалованье, и принялся торговаться с шофером, к моему стыду, обзывая его мошенником и грабителем. Шофер сказал:

— Я не люблю, когда меня вот так обзывает черномазый. Отправляйтесь в свою страну и там и сидите, там вам самое место.

Я отдал шоферу пять шиллингов и подмигнул ему, но он этого не заметил. Когда такси отъехало, Мистер Радж сказал:

— Теперь вы видите здешние трудности, которые должно проанализировать с научной точностью. Расовое предубеждение, кажется, весьма распространено в среде водителей такси.

Я предложил не перестающему говорить мистеру Раджу проследовать за мной в адское жерло клуба "Гиппогриф". Лицо управляющего Мэннинга объявилось в застекленной дверной дыре, кивнуло, скорчило мину, заметив моего говорливого спутника, и исчезло одновременно со щелчком открывающегося замка. Мы вошли. Розовый полумрак, музыкальный автомат, пара танцующих, обвивающая руками шею и талию соответственно. Элис Стылозадая, в девичестве Нахер, — за стойкой бара. А у стойки, первый в унынии, а второй — чуть не плача, сидят поэт Эверетт и карибский певец калипсо.

— Как приятно, — заулыбался мистер Радж, — типично английская картинка.

— Вопрос в том, — причитал вест-индиец, — куда мы катимся, приятель? Я и моя жена — британские подданные. Мой ребенок тоже британский подданный. В таком случае справедливо ли, что британские подданные должны спать на улице?

Но Элис и Эверетт узнали меня и заговорили оба одновременно, таким резким тоном, словно я в чем-то провинился перед ними. Я учтиво представил мистера Раджа. Эверет устало произнес:

— Да-да, мистер Радж уже хорошо известен в редакции "Гермеса".

Элис спросила:

— Вы его видели, да? Вы же только что из Лондона. Ваш отец дал ему ваш адрес. Где они? Что происходит?

Она не потеряла ни сна, ни веса. Взгляд ее был ясен, волосы сияли, ее прекрасное полноватое тело облегало что-то элегантное, но скромное. Здесь, очевидно, присутствовала лишь одна персона, мистером Раджем доселе не виданная, и он восхитился ею своими сверкающими глазами, и трепещущими ноздрями, и всеми своими многочисленными зубами.

— Истинное воплощение, — сказал он, — красоты английской женщины.

Комплимент был пропущен мимо ушей.

— Давайте, — потребовала Элис, — рассказывайте, что происходит.

— Меня попросили навестить их, — ответил я. — Ему нужно зимнее пальто.

— И всё?

— Он сказал, что зла не держит и что денег послать не может.

— Пусть подавится своими деньгами, — едко сказала Элис.

— Похоже, что у него их вовсе нет, — сказал я. — Мне пришлось дать ему немного. Он хочет начать небольшой бизнес. А сейчас они живут, как бы это выразиться, в крайней нищете, я даже повел их пообедать.

— Я не думаю, — восторженно сказал мистер Радж, — что удостоился чести быть представленным должным образом.

— Где они живут? — спросил Эверетт. — Я не могу позволить. Просто не могу. В конце концов, она моя дочь.

Он отхлебнул темного эля. Я вспомнил, что тоже жажду. Благовоспитанно поинтересовался у мистера Раджа, чего бы ему хотелось.

— Что вы закажете, то и мне, мистер Денхэм.

Элис порывисто откупорила два темных эля и налила, приговаривая.

— Не может он содержать ее. А она — его.

— Я думаю, что она, скорее всего, сможет, знаете ли, — сказал я.

И Элис сказала, покусывая губку:

— Шлюшка.

— Довольно, — обиделся Эверетт, — я не хочу этого слышать. Да и кто вообще все это начал?

Элис повернулась к нему, поставив, не глядя, эль перед мистером Раджем — мистером Раджем, сказавшим:

— Благодарю вас тысячу раз, прекрасная дама.

— Неужели нельзя просто немного развлечься без того, чтобы все вокруг принимали это всерьез? — спросила Элис.

Музыкальный ящик издал громкий джазовый "Аминь!" и сдох.

— Мы только хотели, — сказала Элис, слишком громко в наступившей вдруг тишине, — немножко повеселиться.

— Ну ладно, — сказал Мэннинг, появившись из гардеробной, одновременно служившей ему кабинетом, и похлопал по плечу вест-индского певца. — Спой-ка нам, парень.

— Как я могу петь, когда я бездомный? — ответил певец. — Вы могли бы петь, если бы оказались на улице?

Мистер Радж серьезно кивнул, глаза его улыбались. Он сказал:

— Меня самого отправили в обычную вест-индскую мебли-рашку. Я полагаю, что, возможно, лучше жить на улице, чем в таком месте.

— А вы сейчас, — спросил вдруг певец без всякой связи, — говорите, как гражданин Британии? — Рука его сильнее сжала гитарный гриф. — Вы не похожи на Британского подданного.

— Я гражданин Британского Содружества и бакалавр искусств, и здесь я, чтобы провести важное исследование касательно расовых отношений, — с достоинством ответствовал мистер Радж.

— Вы должны дать мне их адрес, — обратился Эверетт ко мне. — Я требую. Мне даже страшно подумать, что может случиться с бедной девочкой в Лондоне без гроша в кармане.

— Я дал им семьдесят семь фунтов, — сказал я. Эверетт посмотрел на меня с сомнением, думая об "Избранном".

Вест-индиец все-таки уважил хозяина, сел на стул и запел:

Из-за любви, любви до конца,
Эдвард-король лишился венца...

— Что вы собираетесь делать? — спросил я Элис.

— Делать? — Она недоброжелательно уставилась на меня, вытирая бокал. — Я собираюсь разводиться, вот что я буду делать. И когда он приползет ко мне, то будет слишком поздно.

— Он говорит, это любовь, — сказал я.

— Любовь, — ухмыльнулась она, и темный голос над гитарой откликнулся эхом:

Из-за любви, любви до конца,
Эдвард-король лишился венца...

— А после развода?

Но она не ответила. В бар вошли двое, распахнутые пальто являли процветающие жилеты, один — со старомодной цепочкой от часов. Вошедшие благостно похохатывали в благостном розовом полумраке, и Элис одарила их радушной улыбкой барменши. Мистер Радж, который оживленно беседовал с мрачно кивающим Эвереттом, ликуя, повернулся к вновь прибывшим.

— Я еще, — воскликнул он, — не имел удовольствия встретить вас раньше. — Он объявил свое имя, происхождение, квалификацию и цель прибытия и настойчиво добавил: — Ваше неоценимое участие позволит мне получить полное представление о проблеме расовых взаимоотношений.

— Послушайте, — сказал один из пришельцев, — мы зашли сюда на минутку, чтобы выпить перед тем, как откроются бары. И ничего серьезного на уме у нас нет, не так ли, Роберт?

— Именно так, ничего, — его спутник плеснул газировку в двойной виски.

— У вас нет желания обсудить важнейшую проблему, от которой может зависеть благосостояние и даже само существование цивилизованного мира?

— Не теперь, — сказал тот человек, который был не-Роберт. — Как-нибудь в другой раз.

Из-за любви, любви до конца,
Эдвард-король лишился венца...

— Следовательно, вы признаетесь в легкомыслии по отношению к важным глобальным проблемам?

— Как вам угодно, — подтвердил не-Роберт. Но прибавил: — Для туземца вы определенно хорошо говорите по-английски. Где это вы наловчились так выговаривать все эти зубодробильные слова?

— Вот что, — вмешался Мэннинг, приблизившись и неодобрительно хмурясь в мою сторону. Он положил руку на плечо мистера Раджа и сказал: — Сюда приходят поразвлечься, и все тут. Поразвлечься. Так ведут себя в Англии, знаете ли.

— Да, — кивнул в ответ мистер Радж, — я понимаю, понимаю.

Карибская песня подошла концу:

Из-за любви, любви до конца,
Эдвард-король лишился венца...

Мэннинг подошел к музыкальному автомату и накормил его шестипенсовиками.

— Я вижу, — сказал мистер Радж, — что нынешнее поколение англичан весьма благоразумно. Нам все еще есть чему у них поучиться.

Он снял пальто, обнаружив отлично пошитую пиджачную пару из серой ткани в “елочку”, в которой он выглядел стройным, красивым, изысканным.

Мерный неторопливый ритм музыки вызывал вибрацию сочувствия в каждом фибре — фортепианные триоли, потом бесполый голос, придыхая на гласных, обратился к танцующей влюбленней паре, вынырнувшей из темного угла. Мистер Радж наблюдал за ней благожелательным азиатским взором. Элис неудачно выбрала время, чтобы выйти из-за стойки бара, очевидно в дамскую комнату. Мистер Радж, воспылавший и сияющий, пошел на нее, раскинув руки.

— Одарите меня, прекраснейшая дама, бесценной честью потанцевать с вами.

Элис отступила.

— Давай, милая, — сказал не-Роберт, — протяни ему руку дружбы. Пускай чуток помолчит.

И вот мистер Радж, с трепетом обнимая свою первую в жизни белую женщину, вышел на крошечную танцплощадку. Танцевал он хорошо. Я обратился к Эверетту:

— У нее собственная жизнь, и я вполне уверен, что Уинтерботтом о ней позаботится.

— У меня, — сказал Эверетт, который, как я заметил, потреблял темный эль не останавливаясь, — стойкое предчувствие беды. Поэты обладают пророческим даром. Поэт тоже сивилла.

Он икнул. Мне стало его жаль, и я сказал:

— Надо бы нам как-нибудь снова обсудить ваше “Избранное”.

— Никогда, — воскликнул он гневно, — ни за что! Я не нуждаюсь в вашем покровительстве. — И снова икнул.

— Ах да, — сказал я, — извините, я совсем забыл. Тот ваш *фельетончик* в “Гермесе”, написанный в соавторстве с моей сестрицей Берил, запечатлевший в вечности мое неотесанное филистимлянство набоба. Отлично, забудем об “Избранном”.

Я оглянулся, застегивая пальто и наблюдая за увлеченным и счастливым мистером Раджем. Теперь мне пора улизнуть.

— Нет, нет, мы не этого хотели, — сказал Эверетт немощно.

Обе мои сумки стояли у двери. Я глупо начал пробираться к ним на цыпочках, забыв, что ковер и музыка заглушают шаги в любом случае и что мистер Радж, величественно кружа в экстазе, все равно может меня видеть и вряд ли выпускал из

виду, а если и отвлекся ненадолго, то легко меня обнаружит. И в подтверждение он тут же перекричал музыку:

— Теперь вы посетите вашего отца, мистер Денхэм, и будете готовиться к вечеру. Мы увидимся позднее и продолжим наше отчаянное веселье.

И потом, когда я открывал дверь, ко мне подошел вест-индиец и сообщил:

— Это несправедливо, приятель — то, что делает иностранец, он пытается уговорить миссис Элис дать *ему* комнату в доме, а не мне, моей жене и ребенку, которые есть настоящие британские подданные. Поговорите с ней, са, и объясните, кто здесь заслушивает жилья. И, пожалуйста, са, укажите же *оваженше* к музыке.

Он протянул кепку.

— Большое спащибо, са.

— Да-да, — сказал я, — да-да, конечно.

И я потащил свои сумки вверх по ступенькам. Журналы мои исчезли куда-то, но бог с ними. Я поковылял сквозь зимнюю тьму, хрустящую футбольными программками, к автобусной остановке — в этом городе случайные такси не ходили. Автобус был полон, и, чтобы не спускать глаз с сумок, я вынужден был сидеть в нижнем салоне. Там я не мог курить, и дитя по имени Элспет все время пыталось переползти от своей матери ко мне на колени.

— Элспет, прекрати немедленно, — повторяла мамаша.

Глава 9

За месяц моего отсутствия отец состарился больше чем на месяц. Еще до того, как открыть дверь и открывая ее, он прокашлял приветственную симфонию — душераздирающую, как те жалобы, которые приходится выслушивать от покинутого на время кота по возвращении из отпуска — мяукающие стенания о том, что с котиком дурно обращались. И как тот же котик, которого доверили кормить нерадивым соседям, отец сильно похудел. Но все-таки в какой мере я, живущий собственной жизнью, обязан брать на себя ответственность за него? Частично я заглушил совесть с помощью зуба Будды, оправленного в брелок для часов, и отец весь искашлялся, прилаживая брелок на цепочку. Отхлебнув из липкой черной бутылочки, отец вздохнул сначала с трудом, потом более свободно, а затем, пока я доставал из сумки подарки для Теда и Вероники, он исполнил свой бесконечно повторяющийся трюк из дурно смонтированного фильма — во рту у него невесть откуда возник добела раскаленный бычок, торчащий, как кошачий язык.

— Там тебе письма, сынок, — сказал он, но в письмах не было ничего важного, кроме благодарностей от юного Уикера из Коломбо с дежурным приглашением разделить с ним полбутылки чего угодно в любое время, и, судя по штемпелю, письмо это летело вместе со мной и мистером Раджем.

— Полагаю, — сказал я, — тебя посетил некий цветной джентльмен.

— Он на тебя просто молится — ответил отец. — Но я не мог позволить ему остаться здесь, даже если он твой друг. Правда, не мог. Я ведь несколько (кха-кха-кха) старомоден в рассуждении о черномазых в доме.

— Они скоро будут во всех наших домах, — сказал я, — черномазые всех оттенков, еще до конца столетия. Новый мир принадлежит Азии.

— Отлично, — подытожил отец. — По этому случаю я прикупил свиных сосисок к полднику. Я подумал, что ты соскучился по ним после всего этого риса карри и тому подобного.

— Сосиски! — воскликнул я.

— Да.

Я хорошенько подрумянил сосиски на сковородке, поставил на стол сыр и сельдерей. Снова я был дома: полдник при электрическом свете, хрустящий сельдерей, ор и свистки из радиотрансляции футбольного матча, звук шлепнувшегося на коврик у двери футбольного еженедельника. Но в доме витал новый запах, который я не признал поначалу. А потом вспомнил, что где-то в окрестностях присутствует мистер Радж — дуновение кориандра и куркумы, дабы приправить наше холодное мясо. И отделаться от него я могу, только возвратившись в его мир, или что-то вроде того. Я вымыл посуду и составил компанию отцу перед бодрящим голубым экраном. Наш еженедельный друг — брутальный детина в шляпе — внушал нам, что наш долг содействовать Национальной гвардии в беспощадном искоренении наркомании среди старшеклассников. Он свалил, кивая под мрачную музыку, потом две девицы воспевали шампунь, кто-то сервировал банкетный стол одними бульонными кубиками, кошка мурлыкала о кошачьих пилюлях, а маленький мальчик пережевывал хлеб с неестественным удовольствием. Ведущая в новом платье ухмыльнулась и сообщила, что они (имея в виду себя) вот-вот куда-то отправятся. Она кувыркнулась во мраке, отец все кашлял и кашлял, а потом мы уже были готовы к “Черному лебедю”, “Гадкому селезню”, “Флаверовому козырю”.

— Там у тебя-то, небось, жарко? — спросил отец, продрогнув на Клаттербак-авеню.

— Тепло, — ответил я, — а если на холме, то попрохладней, — и прибавил: — Тебе непременно надо поехать в теплые края. Просто в отпуск, не нравится мне твой кашель.

Кашель, едва о нем вспомнили, тут же взорвался с новой силой.

— Да я поправлюсь, — прокашлял отец, — весной.

— Ты должен, — настаивал я, — должен поехать со мной — морское путешествие пойдет тебе на пользу.

— Нет, — прямо сказал отец, — тебе пора жениться, а мне не хочется жить с невесткой. А если ты не женишься, — рубанул он без обиняков, — что ж это будет, если мне придется якшаться с твоими гейшами или кто там у тебя водится.

— Кто это просветил тебя насчет гейш?

— Да знаю, и все. А этот твой индийский приятель далеко пойдет. Похоже, он на тебя просто-таки молится во всех смыслах.

— Ох, — сказал я.

Мистер Радж был истинно восточным человеком и отпускал вычурные комплименты ("такой великий человек, фаллос его длинен и толст, подобно дереву, истинный родоначальник всех окрестных деревень"), но надо бы мне сказать ему, что в мидлендском предместье это не сработает.

Мы добрались до "Черного лебедя" и окунулись в ликующее лето гомона, жажды и света, субботнюю толчею, которая, сквозь пот и неуют, распаляла, обещая исполнение плотских желаний потом, когда все закончится. Но не для меня. Отцовские кореши заняли ему место, а мне места не досталось. Я присоединился к приносящим дары у стойки бара, и встал следом за ланкаширским сыром, вязаным пуловером с шотландским узором, сливянкой домашнего разлива и поющей кружкой ("Потрясающая хреновина, честное слово!" — восхитился Тед, притискивая кружку к самому уху, чтобы расслышать тоненький звучок). Пунцовый от сознания ничтожности моих подарков на общем фоне, я вручил ему коробку сигар из Джафны и коралловые серьги.

— Они ей так понравятся, голубчик ты мой, — сказал Тед, — здесь таких сережечек не сыщешь. Она как их наденет, так и красивше прежнего будет, а тут у нас чего? Сигарочки! Как ты угадал! — воскликнул он совершенно искренне. — Люблю добрые сигары. Ну-кась, да ты только глянь, Арнольд!

Я покраснел еще сильнее — от удовольствия — и, все явственнее осознавая свою ужасную скупость, спрятал нос в кружку с элем. И тут появился мистер Радж.

— Приношу свои извинения, — сказал он, — за опоздание. Но в каком-то смысле я как раз вовремя. — Он воссиял улыб-

кой на темном фоне пьющих, демонстрируя мне пинту мягкого пива. — Я находился, — сказал он, — в соседнем помещении, учился чрезвычайно затейливой местной игре. Становитесь в нескольких шагах от круглой доски с цифрами и швыряете заостренным оружием, целясь в самое большое число.

Какой-то сгорбленный коротышка в очках на полном серьезе слушал его во все уши, не донеся до рта кружку с пивом.

— Поучительная игра, — сказал мистер Радж. — К тому же я услышал мнения представителей рабочего класса по важнейшему вопросу межрасовых взаимоотношений. Я никогда не бездельничаю, — похвалился он, раздувая ноздри и широко улыбаясь строю бутылок на полках за барной стойкой. — Проделана большая работа в те часы, что были посвящены другим людям. Но теперь, — сказал мистер Радж, — теперь я готов к невинным забавам в вашем обществе, мистер Денхэм. Начнем же, ха-ха, предаваться отчаянному веселью вместе. — Говорил он лучше, чем соображал. Благо наши соседи у барной стойки наблюдали мистера Раджа сквозь призму простой трудовой британской пивной кружки, и все пока шло без осложнений. Закончив монолог, он улыбнулся окружающим, сдержанно кивнул. В награду я купил ему стаканчик виски и, вспомнив, спросил, как продвигаются его поиски жилья. Мистер Радж ответил:

— Прошу меня простить, мистер Денхэм, но, строго говоря, я сейчас не тот человек, который должным образом занят этими поисками. Вы же сами так и сказали в такси у того грубияна, что мы будем заниматься этим, имея в виду, что "мы" — это вы сами и остальная часть заинтересованного сообщества. Однако, — сказал он, хорошенько разбавив виски водой, — я уже сделал запрос леди, с которой познакомился сегодня пополудни, той леди, с которой я танцевал, и я питаю надежду, что она в конечном счете сдаст мне комнату в ее доме. Муж, как она сама мне сказала, ее покинул, а дом принадлежит ей — это был свадебный подарок ее отца и матери, успешных трактирщиков.

Мистер Радж замер с улыбкой на устах, позируя невидимому корреспонденту для снимка под названием: "Неутомимый научный работник с Цейлона", а после воображаемой вспышки залпом выпил свой разбавленный виски.

— Насчет подобных просьб для человека, чья кожа не бела, давно уже установлены правила, ибо негр из Вест-Индии чуть ли не падал ниц, умоляя о подобной милости, хотя... — он с добродушным вызовом во взоре посмотрел вокруг, — что такое, в конце концов, цвет кожи?

Никто не смог ответить на этот вопрос — чересчур философский для воскресного вечера.

— В каком-то смысле, это долг, это бремя, — ответил мистер Радж самому себе. — Я здесь, будучи субъектом Британского Содружества, занимаюсь чрезвычайно важными исследованиями, и негоже мне жить, как я живу в настоящее время, в позорно дорогом гостиничном номере. Негры, сказал я ей, принадлежат к низшей расе, а этот просто поет песни под струнный инструмент. Ему не пристало делать такие запросы. Более того, — сказал мистер Радж, — разве это не прекрасная возможность для аспиранта, изучающего межрасовые взаимоотношения, более пристально изучить особенности настроя и жизненных позиций женщин с разным цветом кожи? Хотя что такое, — он снова огляделся с добродушным вызовом во взоре, — в конце концов... — тут он как раз вспомнил, что уже задавал этот вопрос, и просто улыбнулся мне, причем в его карих цейлонских глазах не было ни капли лукавства.

— Это невозможно, — сказал я, — просто невозможно. Подумайте хорошенько, и вы поймете почему.

— О да, — кивнул рассудительный мистер Радж, — да-да, это невозможно.

Затем он заказал виски для меня и мягкое пиво себе, осторожно осведомился о цене каждого напитка, а потом вежливо, но твердо поинтересовался, почему в этом помещении он заплатил за пиво дороже, чем в соседнем. Тед, не прерывая своей перкуссионной пьесы на бутылках, стаканах, кассовом аппарате и помпах, ответил:

— В этом зале пиво дороже, чем в общем баре, голубчик.

— Это я отметил уже. И просто спросил почему.

— Потому что этот зал лучший, так что и цена здесь выше.

— Но тот зал просторнее, к тому же там музыка и еще игра с дротиками.

— Так уж повелось, голубчик.

Седрик, зависший неподалеку с мокрым подносом, едва заметно по-официантски ухмыльнулся. Мистер Радж сказал, обращаясь ко мне:

— Здесь множество проявлений социального неравенства. Те люди в общем баре настоящие неприкасаемые для вас. Нам следует изменить все эти антидемократические устои. — И он решительно, почти неумолимо тряхнул головой. Похожие на карту пивные разводы на стойке бара притворялись Китаем, перетекающим в Индию, и Индией, впадающей в Европу. Меня внезапно пробрал озноб, и я понял, что заболеваю.

Мистер Радж продолжал болтать — о красотах городка, о прелести местных женщин, о том, как великолепны их ноги в прозрачных нейлоновых чулках, о качестве кофе в кафе,

которое он посетил, о фильме, который он посмотрел, о странно одетых длинноволосых молодых людях, к которым он вежливо обратился, но нарвался на грубый отпор. А потом возникло ощущение, что время закрытия не за горами, и тут появились любители микста.

Этого я никак не ожидал. Я почему-то решил, что раз Уинтерботтом и Имогена нарушили правила игры, то и сама игра прекратилась. Но вот они, тут как тут — и жена Браунлоу, и этот полный семян арбузный ломоть — Чарли Уиттиер, и Джек Браунлоу собственной персоной, и Элис в цигейковой шубке. Я подивился тому, что они выглядят как-то иначе — грубее, вульгарнее, что ли, непристойнее и неопрятнее, а потом до меня дошло, что я уже не просто с галерки созерцаю их представление сквозь вечернюю воскресную муть, нет, я теперь на сцене вместе с ними, я вижу проступающие сквозь косметику поры, вижу волосы на ногах, приглаженные нейлоном, вижу порез от бритвы у Чарли Уиттиера. А потом, конечно же, мистер Радж не мог не встрять в это дело своим коричневым, но красивым носом, чтобы поздороваться с Элис Уинтерботтом, обхватив обеими коричневыми ладонями ее белую и теплую, только что освободившуюся из перчатки ладонь. Сияя хмельным взором, мистер Радж галантно поклонился и произнес:

— О, прекраснейшая из английских женщин, вот я здесь, как и обещал. Позвольте мне, во-первых, поблагодарить вас за восхитительные мгновения сегодня пополудни, совершенно, уверяю вас, неизведанные мною прежде как в телесном, так и в духовном смысле. А во-вторых, позвольте мне со всею искренностью возобновить мою просьбу разделить с вами ваше обиталище. Я прибыл с Цейлона и имею наилучшие рекомендации. — Во хмелю на мистера Раджа напал словесный понос, он распинался без устали, сжимая ладонь Элис Уинтерботтом в том же ритме, в котором кот выпускает и втягивает когти. Элис явно не знала, смеяться ей или сердиться. У Чарли Уиттиера и Джека Браунлоу отвисли челюсти. Но Джеку Браунлоу все это откровенно не нравилось.

— Ты знаешь этого типа? — спросил он у Элис.

— Он приходил сегодня, — ответила Элис, — в клуб. С мистером Как-Его-Там.

— Это что, ваш друг? — спросил Браунлоу у меня.

Тем временем мистер Радж улыбался, окрыленный донельзя, по-прежнему не выпуская теплую белую руку-птичку из силков своих длинных коричневых лап. Я ответил:

— Да, это мой друг.

Коготки детской простуды заскребли мою нежную гортань. Мистер Радж закивал и залучился еще радостнее:

— Мистер Денхэм мой очень-очень хороший друг!

Он выпустил руку Элис и попытался завладеть моей. Испытывая окружающих этим подтверждением декларации нашей дружбы, он гордо посмотрел вокруг и увидел сквозь сигаретный дым мгновенно разверзшуюся пропасть между ним и этими сплотившимися и вибрирующими телами. Мой отец беззвучно кашлянул.

— Оба мистера Денхэма, и старший, и младший, молодой господин и старый.

— Ну, тогда, — произнес Джек Браунлоу, — скажите ему, чтобы оставил даму в покое.

Мне пришелся не по душе тон Джека Браунлоу.

— Он прекрасно говорит по-английски, — ответил я и чихнул, — как вы, наверное, заметили, — добавил я, жмурясь, — сами ему и скажите.

— Эй вы, — сказал Джек Браунлоу, — оставьте эту даму в покое.

— Я еще не имел удовольствия, — ответил мистер Радж, — представиться. Меня зовут Радж. Я приехал с Цейлона, чтобы проводить исследования у вас в университете. Если вы назовете свое имя, буду рад с вами познакомиться.

— Вас мое имя не касается, а мне чихать на ваше. Оставьте даму в покое.

— Почему? — спросил прирожденный исследователь мистер Радж.

— Потому что я вам сказал.

— Это не очень убедительный довод.

— Знаю я вас. Был я в вашей Индии, помогал вам спасаться от япошек. — Я прикинул в уме возраст Браунлоу, вычел послевоенные годы: Браунлоу врал. — Оставь ее в покое.

— Я — цейлонец, а не индус.

Вечер достиг апогея, максимума центробежной силы — посетители усердно общались парами, от силы — тройками: женщины увлеченно обсуждали родовспоможение, мужчины толковали о машинах и футболе, и никто даже головы не повернул и голоса не понизил в ответ на рык Браунлоу или улыбку Раджа. Элис сказала:

— Да ладно тебе, Джек. Закажи-ка нам лучше выпить, время не ждет.

Я чихнул.

— Выпейте со мной, — предложил мистер Радж. — Выпейте со мной все.

— Не стану я пить с черномазым, — сказал Джек Браунлоу, — даже лучшее шампанское не стану.

Мистер Радж миролюбиво сказал:

— Мне думается, термин, который вы употребили, был придуман в качестве оскорбления. Он весьма распространен

в Индии и на Цейлоне в лексиконе наиболее вульгарных слоев белого населения.

— Давай проваливай, — сказал Джек Браунлоу, отворачиваясь к стойке, чтобы сделать заказ.

— Выпейте со мной, — улыбнулся мистер Радж, обращаясь к Элис. — Для меня будет истинным наслаждением угостить вас после того удовольствия, которым вы наградили меня сегодня пополудни, любезнейшая леди.

— Ладно, хватит вам, — сказала Элис по-дружески. — Вы только себе навредите. Он ведь еще и немножко боксер.

Мистер Радж с интересом оглядел спину Джека Браунлоу. Элис глазами, губами, головой показывала мне на дверь, понукая увести мистера Раджа подобру-поздорову, но мистер Радж ответил:

— Я тоже. Будучи бакалавром искусств, я должен был овладеть и боевыми искусствами — для самозащиты. Но сегодня мы отчаянно веселимся и не желаем ни брани, ни потасовок.

Джек Браунлоу, повернувшийся, чтобы передать приятелям наполненные бокалы, увидел, как улыбающийся мистер Радж слегка обволакивает Элис и поверил, что воочию стал свидетелем того, о чем он, недавний имперский господин, читал и слышал краем уха, а именно дерзости со стороны представителя покоренного племени! Он сказал:

— Говорю тебе в последний раз, оставь ее в покое.

— И снова, при всем уважении, — ответил мистер Радж, — вынужден просить вас привести свои доводы.

— Я уже говорил — потому что я так сказал.

— Ох, бога ради, прекратите, — сказал Элис, — оба.

— Но, — возразил мистер Радж, — тут возникает вопрос о ваших полномочиях. Вы не муж этой леди, который уехал, покинув ее одну, и, думаю, не брат ей. Вы слишком молоды, чтобы быть ей отцом или дядей, и недостаточно молоды, чтобы быть ее племянником или сыном. Посему я спрашиваю, каковы ваши полномочия. Конечно, весьма вероятно, вы стремитесь стать ее любовником. В этом случае *я* отчасти *признаю* за вами некие намеки на полномочия, однако что, если я возьму на себя смелость и возымею такие же намерения и, в свою очередь, попрошу вас оставить эту леди в покое?

Мистер Радж не различал нюансов терминологии — речь его прозвучала более оскорбительно, чем он того хотел.

— Ах, ты ж! — возопил Джек Браунлоу и двинулся на мистера Раджа.

И снова у меня возникло впечатление топорно смонтированной кинопленки. Куда-то исчезли несколько секунд, потому что Джек Браунлоу был уже на полу, а по стойке бара по дуге катился бокал, следом за расплескавшимся содержимым, и

капля за каплей торжественно вели отсчет, падая на голову лежащего в нокауте. Мистер Радж, похоже, не сделал ничего, кроме разве что крохотного шажка вперед. Невозмутимо улыбаясь, он взглянул на поверженного Браунлоу и сказал насмешливо и громко:

— Бедняга, наверное, это воздух виноват. Атмосфера здесь слишком спертая.

Не думаю, что кто-то помимо нас пятерых посвященных понял, что это не просто обморок. Глядя на бесчувственное тело, все, кроме самого мистера Браунлоу и Элис, казались довольными, их вечер — как раз перед ударом колокола — увенчался чужой неудачей, мужчины раздулись от сознания собственного превосходства перед чьей-то мужской несостоятельностью, заставившей женщин огорченно зацокать языками.

Не столь довольный Тед пустил по рукам стакан воды для Джека. Миссис Браунлоу неожиданно накинулась на Элис:

— Я думала, ты присматриваешь за ним. Ну, знаешь ли, тебе нельзя доверять. Своего мужика упустила, теперь за чужого взялась, а мне теперь самой его до дому тащить.

Мистер Радж кивал и улыбался всем вокруг, выдавая официальную версию события:

— Это все жара, да-да. Тесновато здесь у них, в этом, как говорят, лучшем помещении. Жара и плохой воздух.

— Уж кто бы говорил насчет плохого воздуха, — обиделся за свой паб Седрик, — у вас у самих там черная дыра, в Калькутте вашей.

— Калькутта, — назидательно поправил его мистер Радж, — это не Цейлон. Она расположена на севере Индии, в прошлом фактория Ост-Индской компании и ныне преуспевающий город, а вовсе не черная дыра.

Элис Уинтерботтом в ответ на поношения миссис Браунлоу почему-то начала смеяться. Наверное, я был уже не в том возрасте, чтобы понять, что же такого веселого, такого отчаянно веселого в этой ситуации. Никто, похоже, не горел желанием вывести Джека на холод, и дело тут не в недостатке альтруизма, а в том, что закрытие близилось и надо было успеть выпить по последней.

— Оставьте его на месте, — сказал кто-то толстый и авторитетный, — опасно их двигать, когда они в отключке. Пусть сам очухается.

Так что капли с последних бокалов и рюмок оросили Джека Браунлоу и его коленопреклоненную супругу, умолявшую:

— Джек, отзовись. Ответь мне, любимый.

Чарли Уиттиер выглядел так, будто его вычерпали и смяли. Уинтерботтомша продолжала хихикать, но вскоре стало

слышно, как ее смех смодулировал в рыдания, сквозь которые можно было различить слова: “Ох, Билли, Билли, зачем ты меня покинул?”.

Из общего бара показались любопытные сверкающие очочки и открытый рот Селвина. А потом брякнул колокол. Мистер Радж сказал Элис:

— Не бойтесь, вам не придется идти домой в одиночестве. Для меня будет бесценной и совершенно платонической радостью сопровождать вас.

Элис снова расхохоталась. Тед заорал:

— Ну-ка, вы все, выкатывайтесь, а то полицейские машины тут прям за углом, нынче новый сержант дежурит, а он ублюдок еще тот, давайте-ка, голубчики мои, домов у вас, что ль, нету?

Джека Браунлоу водрузили на множество плеч, что твоего Гамлета в кино, а рыдающая миссис Браунлоу шла следом, словно безутешная вдовица. Тед прошептал мне, слегка благоухая кедром:

— Оставайся, голубчик, распробуем твои сигарочки.

Потом он переобнимал и перецеловал уходящих, и все мы вышли посмотреть, как Джека Браунлоу загружают в самый большой автомобиль — все, кроме Элис и мистера Раджа. Когда я возвратился, Элис уже плакала пристойно и тихо, а мистер Радж подумывал было заключить ее в утешительные объятия, но, улыбнувшись, поостерегся. Как я и предполагал, Элис оплакивала своего потерянного супруга. Мы с мистером Раджем глядели друг на друга, а руки наши безвольно болтались вдоль тела, словно пустые рукава.

— Ах, Билли, Билли, — всхлипывала Элис.

Пока мы оба стояли и ничего не делали — ни я, ни мистер Радж не осмеливались коснуться Английской Женщины, — Седрик вернулся из уборной и тут же всполошился.

— Ну, вы оба даете, — сказал он, — не видите, что ли, как она расстроена?

И захлопотал вокруг Элис, утешая.

— Ну же, милая, не надо так переживать. У меня тут машина рядом, — и уволок ее плачущую, на прощание бросив мистеру Раджу: — Воздух ему плохой, как же!

— Итак, мистер Денхэм, — сказал мистер Радж, — контакт установлен, если не в буквальном, то хотя бы в метафорическом смысле. Теперь вы пойдете к своему отцу, который, кажется, уже покинул паб. А я отправлюсь в свой гостиничный номер и проведу одинокую ночь под грохот железной дороги. Но вы можете прогуляться со мной до автобуса.

— Мне придется задержаться, — сказал я, с ужасом чувствуя, что простуда все явственнее дает о себе знать. — Я должен по-

говорить с Тедом Арденом. По делу, — прибавил я. — На самом деле я хотел выпить рому — и как можно скорее, поскольку ром был моим личным средством от простуды, впрочем, довольно неэффективным, как и все прочие средства от простуды.

Вбежал суетливый Седрик:

— Она забыла свою сумочку, — сказал он, — я думаю, кое-кто должен тут немного помочь.

Он снова побежал к выходу, размахивая сумочкой.

— Передайте Теду, что я вернусь через пять минут, — сказал он.

Мистер Радж улыбнулся и сострил:

— И черная дыра вместе с вами.

Седрик проигнорировал его реплику, но дверью хлопнул знатно. Мистер Радж сказал:

— Значит, я пойду домой один. А как насчет завтра, мистер Денхэм? В котором часу мы встретимся?

— Завтра, — шмыгнул я носом, — я проведу в постели. Я чувствую, что серьезно заболеваю. И, — предупредил я, заметив, что мистер Радж готов стать моей сиделкой и выносить за мной судно, — лучше держитесь от меня подальше. А то подхватите заразу и будете по-настоящему страдать.

— Ради вас, мистер Денхэм, и пострадать не жалко.

Я застонал. Мистер Радж не сдавался — храбрый стойкий шоколадный солдатик. Я сказал:

— Английская простуда может роковым образом сказаться на обитателях тропиков.

Так что мистер Радж нехотя позволил мне проводить его к дверям, где Тед Арден доцеловывал последних заболтавшихся. После бесконечных пожеланий всяческих благ, изъявлений вечной дружбы, подобной цветущей пальме, благодарностей за этот чудесный вечер и за множество вечеров, которые еще предстоят, и надежд на счастливое будущее, мистер Радж откланялся. Крепкая, статная фигура тропического жителя в новом пальто и без шляпы удалилась в черноту зимней ночи.

— Чудно́й тип, вот что. Саданул Джека этого Браунлоу в самые яйчишки, тот и пикнуть не успел.

— Вы это видели?

— Тот сам напросился, голубчик мой. Я встрять не мог, так все быстро. Он это по-жентльменски сделал, взаправду. Но больше не надо, спасибочки. Не в *моем* пабе.

Пока мы — Селвин, Сесил и я — исполняли подённую работу, Тед колдовал с измерительными стержнями в погребе, а Вероники нигде не было видно, Сесил в своем осином тельнике рычал похабную песенку начала девятнадцатого века — о том, как моряки понаделали ублюдков в английском порту Роулендсон, а потом снова ушли в море, чтобы их вздернули

на рее и протащили под килем. Внезапно Селвин перестал тереть посуду, уставился в пространство всеми тремя лицевыми дырами и произнес:

— Я его вижу, бистер. Вижу его башиду, ода уже тут. Остадавливается. Од выходит. Сборкает дос в платок. Вот од у заддей двери...

И, конечно, вошел Седрик, засовывая носовой платок в карман, и сказал:

— Теперь-то с ней все будет хорошо. Чуток расстроена, но она справится.

Потом он поцокал языком, глядя на бокалы, что я протер, и принялся их перетирать заново. Тем временем вкрадчивые пальцы моей простуды проникали все глубже и уже начали щекотать мне бронхи. Я снова мучительно чихнул.

Вскоре мы все дружно пили ром, сладко дыша друг на друга, и курили сигары из Джафны.

— Очень приятственное курево, голубчик.

Сесил и Селвин курили равнодушно. Седрик по-кроличьи подергал носом над своей сигарой и затушил ее. Я затянулся, закашлялся и никак не мог унять кашель. Скорчив мину, я изобразил опасение, что могу потревожить Веронику.

— Она в отлучке, голубчик мой. Поехала к мамаше — та животом мучается. Ну, чистые, говорит, тебе уголья горячие в утробе всякий раз, как луку поем. Любит она его, лучок-то.

— Слышьте, — оживился Тед, — я вам счас сверху снесу, пока жены нет.

“Фу, тошнотворный лучок, — подумал я, — да еще консервированный, только не это!”

— Вы ж человек читающий, — сказал Тед, — и стреляющий. Я снесу вам показать стариковские книжицы и свои пистоли.

Он ушел, было слышно, как он топает по лестнице, а потом сбрасывает на пол коробки где-то на верхнем этаже. Селвин направил на меня дуло своего открытого рта и сверкающие слепые стекляшки очков и сказал:

— Ты, бистер, ты ездил из дашей страды.

— Да, на Цейлон, — признался я.

— Ага-ааа, — обрадовался Селвин, пятясь в медленном танце, ром плясал тоже, мерцая в его руке. — Оди мде сдились во сде, эти чужие страды. Китаи, иддусы и все оди. Мде сдилось, что я с дими говорю. Страддыби словаби. А щас я вижу того чердого из тех краев, вижу, как его бьют.

— О чем это ты? Кого бьют?

— Оди — его, — сказал Селвин, уставившись на меня взором Сивиллы. — Парди бьют его за то, что од из чужих страд. А-ааа, я вижу.

Я бы настоял на более подробном описании его видений, если бы в эту минуту не появился Тед, таща под мышками две коробки.

— Вот это вот, голубчик, — сказал он, — мои пистолики.

А потом, когда всем по новой налили рома, дух мой воспрянул оттого, что я держу в своих восхищенных руках всю историю оружия: и пистоли разбойников с большой дороги, и мушкетон, и нарезную винтовку времен Крымской войны, и тяжелые служебные револьверы, и маленькую карманную дамскую модель, и маузер. Вскоре мы все в исступлении взводили курки, прицеливались, жали на спусковые крючки, а перед пророческими глазами Селвина непрерывной мрачной процессией шествовали все те, кто был убит из этого оружия.

— Зачем, — спросил я, — зачем вы их храните?

— Такое у меня хобби, голубчик. Люблю я пистолики. У меня и патрончики имеются. Ну и дом защищать чтоб, конечно, — расплывчато пояснил Тед.

Потом я полюбовался книгами Тедова отца — заплесневелыми, никем не читанными с прошлого столетия, добытыми на уличных развалах. Среди названий встретились такие:

“Частый гребень для нечестивых священнослужителей, преп. Т. Дж. Пуриуэлл, доктор богословия, т. Мученики Великого мятежа”,

“Джон Мэнуелл, или История о горячем сердце”,

“Труды Корреспондентского общества”

“Ивритский букварь Мод”, том 1,

“Эврика: размышления об агностицизме”,

“Трудитесь, ибо ночь грядет”,

“Анатомия систематического сомнения”,

“Беседы в рабочих клубах”,

“Опрометчивость леди Брендан”,

“Образовательные путешествия по Ионическим островам”,

“Отрочество героев Шекспира”,

“Сокровища Карлейля”.

Были там и другие названия, которых я уже и не помню. Возможно, память подшутила и над теми, что я перечислил выше, но я листал эти истерзанные и запятнанные страницы с дурацким восторгом, нюхал тугие и колкие курки и уже собирался открыть тонкую книжицу in-quarto[1], которая казалась самой древней из всех, как вдруг кто-то принялся на-

1. In-quarto (*лат.* in quarto — в четвертую часть листа) — полиграфический термин, обозначающий размер страницы в одну четверть типографского листа

стойчиво громыхать щеколдой задней двери, выходящей во дворик общего бара.

— Допейте-ка все, — сказал Тед, — от греха подальше.

Мы заглотали остатки рома и замерли в ожидании — невинные овечки посреди горы оружия

— Кто там? — спросил Тед.

В ответ голос позвал:

— Мистер Денхэм! Я должен увидеть мистера Денхэма!

— Вас спрашивают, — передал Тед, хотя я и так слышал, — кто знает, что вы туточки?

— Мистер Радж, — ответил я, — впустите его. Он совершенно безобиден.

— Не хочется, чтобы он тут еще кому яйчишки поотбивал, — сказал Тед, но дверь открыл.

Пред нами предстал мистер Радж, еле державшийся на ногах, пальто в крови, следы побоев на лице. Он ввалился, киношно сгибаясь пополам, и рухнул на стул. Селвин бесстрастно прокомментировал:

— Это его я видел. Када его избили те пижоды.

Слово "пижоны" он произнес так, словно это была фамилия. Сесил сказал:

— Кровь у него такого же цвета, как у меня или у вас.

Никто, похоже, не собирался оказывать помощь нежданному гостю: все, даже Тед, уставились на мистера Раджа, словно тот был телепрограммой. Я плеснул рома в свой бокал и влил спиртное в рот мистера Раджа, голова которого безвольно покатилась по прилавку, как прежде катился опрокинутый стакан. Он, видимо, был не столько изранен, сколько обессилен, большинство синяков, похоже, оказались просто грязными разводами, судя по расположению кровавых пятен на его пальто, это была кровь не мистера Раджа. Да, мистер Радж отчаянно дрался и, скорее всего, он победил.

— Пожалуйста, налейте мне еще того напитка, мистер Денхэм.

Ему налили. Мистер Радж сделал большой глоток и попросил:

— Мне бы закурить, если можно, мистер Денхэм.

Я дал ему сигарету, и он неумело затянулся.

— Может, — сказал Тед, — сигарочку дать?

— Я, — произнес мистер Радж, который всегда был сама вежливость, — приношу свои извинения за несвоевременное вторжение. Здесь присутствуют люди, с которыми я не имел чести быть знакомым, но надеюсь, они простят мне это несоблюдение обычной учтивости. Какие-то юнцы в странных одеждах напали на меня, поскольку, по их словам, я не британский гражданин. Я пояснил им, что я член Британского

Содружества, но они заявили, что о таком не слышали, — мистер Радж выпил еще, затянулся и сказал: — И тогда они заявили, что побьют меня за то, что у меня неправильный цвет кожи.

— И побили, — кивнул Селвин

— Сколько их было? — спросил я.

— Пятеро, мистер Денхэм, они были в очень узких галстуках и очень толстых ботинках. Трое из них теперь лежат на тротуаре той улицы, что ведет к главной дороге, по которой ходят автобусы, а остальные убежали. Убегая, они кричали, что я трус и дерусь нечестно.

— Вы им врезали по яйцам, да? — спросил Тед.

— Да, — ответил мистер Радж, улыбнувшись непритязательному солдатскому словцу, — я очень опечален, что все так сложилось сегодня вечером. Я избил четверых в общей сложности. Но я же не за этим приехал в Великобританию. Я приехал изучать общепринятые концепции расовой дифференциации. У меня не было никакого желания навредить кому бы то ни было, поверьте. И все, о чем я теперь прошу, мистер Денхэм, это разрешения пойти с вами в дом к вашему доброму старому отцу, который теперь наверняка почивает в постели, и было бы неловко его разбудить громким стуком в дверь, поскольку я остро нуждаюсь в том, чтобы почистить одежду и привести себя в порядок в целом. Я не могу в таком виде явиться к себе в гостиницу, поскольку в этом случае там сделают неверные выводы на мой счет.

Он уже заметно очухался, сел гораздо ровнее и заулыбался уже более уверенно.

— Можете делать тут все, что хотите, голубчик, — сказал Тед.

И тут мистер Радж заметил пистолет в руках у Седрика, который тот непроизвольно направил прямо на мистера Раджа. Довольно живо, правда, с выражением крайнего изможденения на лице, мистер Радж вскочил, одним прыжком преодолел расстояние между стулом и баром, коршуном налетел на Седрика и отобрал у него оружие. Это был карманный дамский револьвер.

— С меня довольно на один вечер, — сказал мистер Радж. — То, что я поколотил в общей сложности четверых белых людей, не значит, что я в итоге должен быть казнен на месте. — Мистер Радж, безусловно, знал себе цену. — Разве у вас не осталось законов? Наверное, вы их все вывезли на экспорт, — сказал он.

Я очень устал, и у меня заныли носовые пазухи.

— Ладно, — сказал я мистеру Раджу. — Идемте со мной. А потом я отправлю вас куда надо.

— Я требую объяснений, — сказал мистер Радж. — Я требую, чтобы вызвали полицию. Я не желаю, чтобы меня застрелил подтиральщик из бара.

— Как ты меня назвал? — переспросил Седрик.

— Слушай, — сказал Тед, — никто тут ничегошеньки дурного не хотел. Все эти пистоли — мои. Они разряжены. Мы просто на них глядели. Вот и все.

— Он правда назвал меня тем, кем я думаю? — спросил Седрик, но никто и ухом не повел.

Сесил неожиданно продекламировал:

— "На Юге, на диком, меня мать родила, пускай я весь черен, но душа-то бела", — и прибавил, — это мы в школе учили. Старый Джим Мортон, он уже помер, заставил нас это разучить. Каждую неделю мы должны были выучить по новому стишку. Так вот этот — он про то, что внутри все одинаковые. "Под кожей — все сестры" — так в другом стишке написано, но его мы не учили. Так чего эти парни к нему-то задирались? Он такой же, как и они.

— Я, — сказал мистер Радж, ноздри его горделиво трепетали, но глаза подернулись пеленой усталости, — не желаю, чтобы меня ассоциировали с ними.

— Да я о том, — сказал Сесил, — что все мы одинаковые, двух мнений быть не может. И если бы я захотел спать с черненькими, что в этом плохого?

— Во сде, — кивнул Селвин мечтательно, — во сде оди мде сдились.

— Ну ладно, — сказал Тед, внезапно оживившись, — все прочь. Завтра ровнехонько в одиннадцать — милости прошу всех, независимо от веры, цвета кожи и убеждений. Но сегодня — баста. Все спать. А я, — сказал он, ухмыляясь, будто сообщал нечто скабрезное, — буду спать сегодня один, как перст.

На улице все попрощались — Седрик сквозь зубы, Селвин мистически, Сесил философски, а мистер Радж ответил всем с усталой любезностью. Хлопотный у него выдался денек. А потом мы под руку зашагали к дому моего отца под холодными северными звездами, мельтешащими, как огненные муравьи. Мы шли в холоде ночи, натянутом так туго, что кажется, задень его — и зазвенит, как скрипичная струна. Пока мы шли по этой открытой деке мира, которому инопланетные флотилии посылали свои мерцающие сигналы, я почувствовал, что простуда моя отступила: две острые струи ночи проникли ко мне в ноздри и будто ножницами срезали оттуда болезнетворный сгусток. Речистый мистер Радж не издал ни звука, даже не поведал мне имени далекого созвездия.

Я отпер входную дверь отцовского дома. Отец прокашлял нам приветственно во сне.

— Чшш, — шикнул я на оступившегося на порог мистера Раджа.

— Славный старик, — пробормотал мистер Радж, — ваш отец.

Я провел мистера Раджа в гостиную, включил свет. Мистер Радж заморгал, когда свет вспрыгнул, держа в лапах жалкий кубик отцовского обиталища: репродукции на стенах — устаревшие, посрамленные; папины ботинки, брошенные у очага — у погасшего очага; столик, заваленный письмами; пепельницы, набитые окурками; неопрятная недельная стопка газет на стуле. Я выволок электрокамин из угла на середину и включил на полную мощность. Затем посмотрел на мистера Раджа. Несколько ссадин, пара синяков, грязь, кровоподтеки.

— Сядьте, — велел я ему.

Он опустился в отцовское кресло.

— А теперь, — сказал я, — я принесу кое-что из ванной. Если мы вместе пойдем наверх, то только отца разбудим. Перекись водорода подойдет в самый раз.

— Как скажете, мистер Денхэм.

— Подождите меня здесь одну секунду.

— Сколько угодно секунд, мистер Денхэм.

Но это потребовало больше одной секунды. Под журчание проточной воды мой кишечник пробудился и забурчал, требуя его уважить. Коготки скребли веки изнутри и царапали заднюю стенку гортани, и мне пришлось прополоскать горло. Потом я спустился в гостиную с полотенцами и перекисью, собираясь раздобыть теплой воды на кухне, но застал мистера Раджа, тоненько посапывающего в кресле. Вообще-то я не мог теперь отправить его в гостиницу. Смазывая ему ссадины и синяки, я думал о том, что и оставлять его ночевать тут, в гостиной, тоже нехорошо — отец проснется ни свет ни заря и застанет мистера Раджа — обоим будет неловко. Я толкнул мистера Раджа, и, вероятно попал в больное место, потому что он начал отбиваться спросонок.

— Тихо-тихо, — успокоил я его, гудя заложенным носом. — Баю-бай.

— А? А? Что?

Он не включился на полную, только фитилек и горел. Впрочем, этого ему хватило, чтобы подняться по лестнице, споткнувшись всего раз или два. Отец, накашлявшись вдоволь, шумно заворочался в постели, потом из его комнаты донесся здоровый английский храп. Я уложил мистера Раджа прямо в пальто на одну половину двуспальной кровати в сво-

ей комнате. Снял с него ботинки. Ступни у него были длинные, обтянутые хорошими носками. Утром он будет как огурчик. Чего не скажешь обо мне. Я вынул теплую пижаму из сушильного шкафа в ванной комнате, разделся, стуча зубами, и натянул свои доспехи, ибо битва мне предстояла, по моим прикидкам, на неделю. Безбожно трясясь, я закутался в одеяла. Ядреному храпу отца вторило тоненькое похрапывание мистера Раджа. Европа и Азия делили постель, первая лежала в ней, вторая — на ней. Я щелкнул выключателем, и одно черное одеяло окутало нас обоих. Спать с черненькими... во сде оди мде сдились...

Окончание следует

Энтони Бёрджесс
Встреча в Вальядолиде

Рассказ

Перевод Александра Авербуха

ПОСЛАНЦЫ Британии сошли на берег в Сантандере. Погода стояла отвратительная. Дальше предполагалось двигаться верхом и в наемных каретах. У причала англичан встречали представители испанского двора и переводчик по имени дон Мануэль де Пулгар Гарганта. Он не столько интересовался милордами и графами, сколько группой театральных актеров, которые с острой жалостью к самим себе наблюдали за обдаваемой брызгами лодкой со смуглыми гребцами. В ней везли к берегу телегу, собственность театра. Лошадей предстояло нанять на конюшне, находившейся где-то в городе. Туда собирались отправить Роберта Армина, сына конюха, актера, обычно исполнявшего роли шутов. Ему предстояло осмотреть с помощью испанцев то, что, вне всякого сомнения, должно было оказаться клячами, страдающими костным шпатом.

— Росинантами, — осклабился дон Мануэль. — Лучшие лошади предназначены для милорда Такого-то и графа Сякого-то. Но я поеду с господином Армином, которого, прекрасно это помню, видел в театре "Глобус", а также слышал: он очень приятно пел, чтобы убедить публику, что ее обобрали не слишком и не понапрасну.

— Клянусь Богом, вы говорите на нашем британском языке, как мы теперь должны называть его — ведь наше королевство получило новое название, — с приятным акцентом и рекоподобной гладкостью, — сказал Дик Бёрбидж. — Уж мы будем этим довольны, вы мне поверьте. Здесь среди нас нет никого, кто мог бы произнести на вашем кастильском больше трех слов, а именно "si", "no" и "mañana"[1]. Времена были таковы, что никак не позволяли говорить на языке врагов, каковыми мы более не должны называть вас. Постойте, "paz"[2] — вот еще одно слово, да и новое притом. Предстоят долгие переговоры о paz в Вальядолиде, так нам сказали. Королевские актеры то-

The Devil's Mode © Anthony Burgess, 1989
© Александр Авербух. Перевод, 2017
1. "Да", "нет" ... "завтра" (*исп.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Мир (*исп.*)

же здесь, будем размазывать слой своего рода меда по унылому хлебу переговоров. Ежедневное кропотливое размалывание в муку́ вечного мира. Простите меня, сеньор...

— Дон Мануэль, к вашим услугам.

— Как скажете. Бёрбидж, — представился он. — К вашим. Если я многоречив, то это лишь оттого, что в последние недели мы только и делали, что блевали. Вон, видите, человек у того кнехта: он все еще блюет. Из всех нас у него самый слабый желудок.

— То, верно, ваш маэстро Шекспир.

— Да вы нас всех знаете, клянусь Богом! Что же мог делать испанец в Лондоне, — говорю это, не желая вас обидеть, — как не шпионить?! Но теперь это уже все в прошлом или будет в прошлом к тому времени, как мы сыграем наш репертуар от начала до конца.

— Не стану прикидываться, будто не согласен. Оказалось полезным иметь мать-англичанку, верную Риму и потому непременно неверную своей родине. Великие государственные дела тяжко сносить смиренным подданным, так она говаривала. Увы, матушка умерла от лихорадки в Авиле, и мой бедный батюшка вскоре за нею последовал. Ваш господин Шекспир, мне кажется, чем-то расстроен. Могу я предложить ему и вам напиток из кислого козьего молока и крепкого вина, дара Хереса? Со слабыми желудками это снадобье творит просто чудеса.

— Ему — нет. Но я выпью вашего шерри для больных — только без козьих добавлений. Имеете в виду здесь, на постоялом дворе?

— Именно. Зайдем и усадим вас, пока с лошадьми не устроится. Ваши благородные лорды и наши, как я слышу, полади́ли между собой, кажется, на тосканском наречии.

Бёрбидж, Поуп, Дики Робинсон и Уил Шекспир уселись вокруг того, что называлось хересом, а остальные актеры нежились на солнышке (пережив так много ненастных дней в море) за столами, расставленными под платанами, и ели жареные huevos и jamón[1], к которому пристала свиная щетина.

Уилла покоробило: “Ох уж эти юные желудки! Стар я уж болтаться в Бискайском заливе. Для всего стар. Скинуть бы королевскую ливрею да сказать королю, что с нею делать. Человек после сорока должен печься о своем теле, вытащив душу на берег у какой-нибудь тихой бухты.

— Вам же лишь сорок минуло. Это не возраст.

1. Яйца и окорок (*исп.*).

— Всего мне сорок один. Этот херес внутренности дерет. Ножом режет. Хотел бы я знать, как будет по-испански ячменная вода[1].

— Вот слова человека, сделавшего больше для прославления хереса, чем само жестокое солнце Хереса[2]. Ваш Фальстаф — мошенник.

— Я никогда не отрицал этого.

Под утомительный стук копыт последовал переход через Кантабрийские горы, потом на вонючем постоялом дворе в Рейнозо блохи всю ночь водили вокруг путешественников хороводы. Затем направились в Каррион, где кое-кому пришлось ночевать, ничем не прикрывшись, на полу среди скачущих крыс. Отсюда в Паленсию и, наконец, в Вальядолид, красивый город на берегах реки Дуэро. Тут на перекрестке британцев, коих испанцы называли "инглесес" и, по-видимому, не очень были рады видеть, приветствовал латинской проповедью хмурый епископ.

— Что он говорил? — спросил Бёрбидж.

— Он, кажется, сказал, что от нас несет ересью. И чтобы не думали, будто подписание лицемерного мира означает терпимость испанцев к кальвинистским извращениям истинной веры. Речи такого или похожего, но столь же папистского содержания.

— Следовало бы ему знать, что мы такие же противники Кальвина, как его темнейшество в этом городе дьявола. Кальвин равно пуританство равно заколоченные ставни театров.

— Погодите. Он что-то говорил о нечестивце Гарри Тюдоре, его десяти женах и ecclesia diabolica[3], то есть donum morganaticum[4]. Хорошо сказано. Церковь дьявола как морганатический дар. Надо будет это запомнить. Место здесь нечестивое, солнечный свет не оставляет в том сомнений. Оборванцы и попрошайки выставляют на обозрение свои болячки, будто медали. Моя лошадь, судя по запаху, добавляет дымящиеся кучки на мостовую из утоптанного навоза. Желудок мой обещает поднатужиться.

— Он вечно тужится. Видите, теперь он кисло благословляет обещание справедливого мира грязной, но, несомненно, святой водой. Готово.

1. Сладкий напиток, изготовленный из ячменного отвара и фруктового сока (часто лимонного или апельсинового).
2. У. Шекспир охарактеризовал любовь англичан к хересу устами сэра Джона Фальстафа, который во второй части "Генриха IV" говорит: "Будь у меня хоть тысяча сыновей, я первым долгом внушил бы им следующее жизненное правило: избегать слабых напитков и пристраститься к хересу". (Перевод Е. Бируковой.)
3. Церкви дьявола (*лат.*)
4. Дар морганатического брака (*лат.*), то есть следствие брака между членом королевской семьи с лицом некоролевского происхождения.

— Ну, пошло́ дело. Мой желудок этого не вынесет.

Благородных посланцев британской земли проводили в своего рода дворец с осыпавшейся штукатуркой. Надписи на его стенах, нацарапанные мелом или выведенные известкой, приветствовали еретиков-британцев: VIVA LA PAZ — UNOS DIAS! и A BAJO LOS INGLESES![1]. Дон Мануэль, улыбаясь, подъехал к королевским актерам.

— Трубного гласа гостеприимства вы вряд ли ожидали, — сказал он. — Наш поэт Гонгора потрудился. Он пишет так, будто все уже кончено. — Рукой в изящной перчатке дон Мануэль протянул лист бумаги. — Поскольку вы не знаете нашего кастильского, я переведу:

> На сцене глупость царствует, и ложь
> с ней наравне здесь правит торжество
> для папских нунциев, шпионов; волшебство
> скрывает скаредность — не сразу и поймешь.
> Богат стал Лютер, ну а мы бедны;
> мочусь на мир; его б любовь спасла.
> Пока же нету юмору цены
> без Дон Кихота, Санчо и осла[2].

Что-то в таком роде. Простите за корявый перевод.

— Кто такие, — спросил Уил, — эти Дон и Санчо?

— Неужели вы их еще не знаете? Знавал я в Лондоне человека по имени Шелтон, который уже переводил повествование о них на английский. Долгая работа. Это очень длинный роман.

— Что, — спросил Бёрбидж, — за роман?

— Не из тех милых рассказиков на нескольких страницах, коими английские дамы занимают свой неисчерпаемый досуг. Тут труд капитальный и еще не законченный. Его автор где-то тут. У него дом в Вальядолиде. Что же касается Дона, Санчо и его осла, то их вы увидите завтра на арене.

— Что же, у вас тут и травля быков собаками тоже будет? — не скрывая отвращения, осведомился Уил.

— Не травля собаками, но честный бой между быком и человеком. Бык не всегда погибает. У нас разработан ритуал, сочетающий христианские и митраические жертвоприношения. Нечто такое, во время чего человека иногда бодают, выпускают из него кишки. Он посвящает себя Богу. Иногда подобное случается и с быком. Но лошади страдают всегда. Впрочем, это неважно, обычно они уже не в лучшей своей поре, старые клячи, сущие росинанты.

1. ДА ЗДРАВСТВУЕТ МИР — НА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ! ... ДОЛОЙ АНГЛИЧАН!
2. Здесь и далее перевод стихов В. А. Широкова.

— Вы все время говорите о росинантах, что бы то ни означало.

— На одном из них завтра будет выступать Дон. Все сами увидите.

— Я не приветствую жестокого обращения с лошадьми, — горячо воскликнул Уил. — Лошадь есть продолжение человека, ergo[1] его часть. Мы все — кентавры. Меня там не будет.

— Но вы должны пойти, Уил, — сказал Бёрбидж. — Помощник лорда-казначея будет считать нас по головам. Мы суть камердинеры палаты и должны выполнять свои обязанности.

— Я в Испанию не за тем приехал, чтобы смотреть на издевательства над лошадьми.

— Но можете стать свидетелем и более ужасных страданий, — сказал дон Мануэль. — Инквизиторы творят с еретиками такие штуки, по сравнению с которыми выпускание кишок из лошадей покажется сущей щекоткой, будто муха по коже пробежала.

— Моему желудку срочно нужна ячменная вода, — простонал Уил.

— Идемте, — сочувственно улыбнулся дон Мануэль. — Отведенный вам постоялый двор выметен, если не выскоблен, а постельное белье — буквально без единой блошки. Отдохните с дороги. А я распоряжусь насчет снадобья из красного вина и сока валенсийских апельсинов. С больными желудками оно творит чудеса.

В то время как Уил лежал на покрывале кровати, которую ему предстояло делить с Диком Бёрбиджем, а королевские актеры помоложе разыскивали смазливых испанских мальчиков или мавританских шлюх, явился слуга от графа Рэтланда, чтобы возвестить о вечерних увеселениях. Устраивались они в Большом зале университета и состояли из пьесы какого-то ничтожества по имени Лопе де Вега, за коей должна была последовать комедия маэстро Шекспо. Так что труппе следовало решить, что и как, и, не теряя времени, сократить пьесу, а не то она слишком длинна.

— Но это безумие, — сказал Бёрбидж. — Одна часть зрителей не знает испанского, другая — английского. Тут был бы кстати театр масок: пантомима об англо-испанской дружбе или что-нибудь в этом роде. Бен, будь он здесь, состряпал бы такую штуку. Именно такое нам сейчас и потребно. Но что же делать, коли Бена нет с нами?

— Дадим сцены с Донышком из "Страшного крика в зимнюю ночь". Будь Бен Джонсон с нами, он бы затеял пьесу ма-

1. Следовательно (*лат.*).

сок ко времени возобновления войны. Не говорите мне о Бене. Он пишет стихи, словно кирпичи кладет, и думает, что Парнас — на верхушке его приставной лестницы.

— Остроумно. Кто это сказал?

— До сей поры — никто. Но не следует говорить это Бену прямо в его каменное лицо. Хоть пузо у него, как гора, но своим коротким кинжалом он орудует быстро. Это единственное, что у него выходит быстро.

— Слушайте, если дать сцены с Донышком, испанцы скажут, что мы все — всего лишь деревенские фигляры. Костюмы хорошие нужны. Боюсь, морской воздух и ванна, принятая ими в лодке, пока их свозили на берег, окончательно их испортили. Нужны красноречие и остроумие. Короче говоря, нужно "Что вам угодно" или "Как вам нравится"[1]. Хоть эти названия — пощечина публике и подразумевают, что Уил вовсе не стремится ей угодить. Но ей ничего не остается, как смотреть пьесу. Либо пусть уходит.

— Смотрите или уходите — подходящее название для всего, что я теперь делаю. Вряд ли эти испанцы что-нибудь поймут в нашей комедии. Дадим-ка мы самые кровавые сцены из "Тита Андроника". Меня, того и гляди, стошнит в этом королевском городе. Да вывернутся нынче наизнанку даже самые стойкие испанские желудки. Будем на сцене насиловать, увечить и запекать человечину в пироге. По крайней мере, зевать не будут.

Приближался вечер, стало прохладней. Королевских актеров, из тех кто не отправился к проституткам, не пошел за покупками и не промывал себе желудок после крепкого местного вина, дон Мануэль повел на прогулку по городу. Здесь встречались реки Писуэгра и Эсгева. Богатство провинции проплывало мимо в лодках — зерно, вино, оливковое масло, мед и пчелиный воск.

— Видите собор, сверкающий новизной? Ему не более двадцати лет, ибо Вальядолид сгорел в пожаре 1561 года. Король Филипп, его уроженец, повелел все выстроить заново. Девяносто девять лет тому назад здесь умер сам Христофор Колумб. Вот в этом доме — видите? — ныне живет маэстро Мигель де Сервантес Сааведра, отец Дона, Санчо и к тому же осла последнего. А вот и он сам, посмотрите-ка, выходит из дому, не глядя ни вперед ни назад, ни вправо ни влево, человек, не имеющий друзей и потрепанный жизнью, переделывающий мир наново у себя в черепе. Он стар, сед, ему пятьдесят семь лет. Его пьесу сыграют на торжествах по случаю заключения мира, но ему это все равно. В театре он трудился как раб, не получил за свой труд

1. Комедия Джона Марстона (1601).

никакой награды. Не думаю, что вы будете искать с ним знакомства. Вашего языка он не знает, а по-кастильски говорит очень лаконично. Но иногда пространно высказывается на мавританском, который выучил, будучи рабом и заложником.

— Мавританский язык, — сказал Уил. — Я не был ни рабом, ни заложником, но кое-что из него тоже выучил. Когда сопровождал в Рабат лорда Саутгемптона, имевшего поручение купить арабских лошадей для войны лорда Эссекса в Ирландии. Задание он не выполнил, могу добавить. Кажется, теперь мой желудок уже успокоился настолько, что сможет принять ужин.

— Хорошо, — сказал дон Мануэль.

Королевские актеры не стали смотреть пьесу Лопе де Вега и Карпио, которая называлась "La Boba para los Otros y Discreta para si"[1], а может быть, и как-то иначе, но все равно — тарабарщина в том же роде. В палатах за Большим залом королевские актеры перетряхивали костюмы, готовили реквизит, Дик Бёрбидж расписывал им лица. Под конец спектакля, в котором играли студенты университета, сам автор пьесы зашел посмотреть на британцев, при этом глядел как-то искоса, то ли хитро, то ли злобно, одним словом, впечатление производил неприятное.

— Учитесь, как надо играть, варвары, — сказал он. По-английски Лопе де Вега говорил удовлетворительно, чему выучился в должности секретаря герцога Альбы и маркиза Мальпика. Оба вышеназванных полагали, что знают язык врага. Кроме того, Лопе де Вега служил в 1588 году в Армаде и знал не только язык врага, но также алчность и кровожадность народа, разъевшегося на говядине, пудингах и эле и безразличного к призывам духа и рассудка. Уил скептически покусывал нижнюю губу. Этим испанцам, знающим толк в театре, предстояло увидеть, как девушку изнасилуют, отрежут ей руки, вырвут язык, а потом насильников зарубит ее отец и испечет из их плоти пирог, коим угостит их мать. Был к тому же еще и мавр, Аарон, которому предстояло быть похороненным заживо и умереть с проклятьями и бранью. Испанцы знали о маврах все. Но менять теперь что-либо было уже поздно: оставалось только сыграть спектакль.

Гостям-британцам и смуглым представителям принимающей стороны показали сокращенную пьесу "Тит Андроник". Крови (свиной, купленной на здешней бойне) было больше, чем белых стихов. Некоторых испанцев, судя по телодвижениям — важный признак — едва не вырвало. Другие же, кто

1. "Глупая для других, умная для себя" (*исп.*).

незадолго до спектакля изрядно поел или выпил, побежали из зала — эти одними позывами к рвоте не отделались. Британцы сидели, развалившись в креслах, и с удовольствием созерцали ужасы, не исключая и пирог с человечиной.

Потом Уил и Бёрбидж лежали в своей просторной кровати. Оба сознавали, что в определенной мере предали эстетические и интеллектуальные притязания своей родины, которая теперь называлась Британией и которой управлял король, известный во всем христианском мире как самый мудрый дурак.

— Надо отказаться. Больше нельзя. Не хотим утомлять непонятным языком, значит, должны вызывать отвращение вполне понятным действием. Глупая была затея Его Величества! Будь проклят пославший нас сюда шотландский пьянчуга и содомит!

— Думай, что говоришь, Уил. Эти сопровождающие в черном, на первый взгляд, бездельники, которым нет никакого дела до труппы, вполне могут оказаться соглядатаями короля Якова. Это шуршание под дверью, боюсь, не крысиная возня. Благослови, Господи, короля Якова Шестого и Первого! — громко прокричал он и повернулся спиной к Уилу, показывая, что собирается спать. Спал он хорошо, но не тихо, перемежая бессмысленными пентаметрами громкий храп и драматические ахи и охи. Уил спал, но мало. Он думал, что без толку проводит в Испании время, которое лучше было бы потратить на получение долгов в Стратфорде или на переговоры о покупке пахотной земли. Желудок его ворчал и побаливал. Приснился короткий кошмар о дочери Джудит, родившей вне брака горбатого уродца, сплошь покрытого волосом.

Еще снился другой, более короткий и приятный сон о том, как он, Уил, проплывает под Клоптонским мостом, перекинутым через Эйвон. Чистый воздух, добротная деревенская провизия. Но проклятый город кишел пуританами, ненавидевшими маэстро Шэгспо или Шогспо — какое угодно имя, но только не его настоящее. Он проснулся от яркого испанского солнца и узнал, что настал день корриды.

В тот день вокруг арены собралась публика обычного для Вальядолида сорта, она улюлюкала британцам, явившимся в красивой одежде и плащах. Уил сидел в тени с актерами — все они жевали орехи и пришли на корриду в нарядных королевских ливреях. Зрелище началось с пронзительного сигнала трубы, затем на арену рысью выехал долговязый пожилой человек в картонных доспехах и шлеме, порванном, но сшитом веревочкой, с копьем, когда-то сломанным, но теперь составленным из обломков и неопрятно чем-то замотанным. Он ехал на жалкой кляче, под ее шелудивой кожей легко угадывались

кости. За ним верхом на осле следовал толстый коротышка, то и дело подносивший к губам в косматой бороде протекавший мех с вином. В ответ на рукоплескание толпы, явно благоволившей к этому дуэту, долговязый и толстяк приветственно помахивали руками. Вслед за ними на арену вышли, прихрамывая, двое мужчин, одетых по-монашески, и остановились на изрядном расстоянии от первой пары. Каждый из них держал в руке длинный шест с полотнищем, на котором было начертано PAX ET PAUPERTAS[1]. Толпа взревела в знак одобрения и снова стала освистывать и обшикивать британцев.

— Пародия на рыцаря и его толстого оруженосца. Это герои книги? — спросил Уил дона Мануэля.

— В значительной степени. Но для книги они слишком велики, поэтому удрали из нее, как из темницы.

— Гамлет и Фальстаф были заключены в темницу, каждый в своей пьесе, — мрачно размышлял Уил. — Никогда бы их не приветствовала восторженная толпа на освещенной солнцем арене. Но какое ему до этого дело? Земля, вот о чем надо было думать, о мешках с солодом, запасенным на случай плохого урожая. Пьесы — всего лишь пьесы. — Он застонал вслух и скрипнул плохими зубами.

Но вот под восторженные крики и аплодисменты горе-рыцарь и его толстый оруженосец удалились. Началось действо, ради которого все собрались. На арену строем вышли вооруженные шпагами тореадоры, дамы в черных мантильях бросали им цветы. Затем выпустили фыркающего быка. Его безжалостно дразнили толстозадые мужчины с причудливыми копьями. Потом бык распорол лошади бок, наружу вывалились кишки.

Публика пришла в восторг, будто на представлении высокой комедии.

— Пойду-ка я отсюда, — проворчал Уил, обращаясь к Бёрбиджу. — Насмотрелся. Не вижу ничего смешного в волочащихся по песку внутренностях, — сказал он и пошел к выходу под насмешки своих товарищей-актеров. На площади он отдал несколько британских серебряных монет за виноград, получил позволение помыть его в бочке с вином, где плавали остатки от объеденных гроздей, и принялся с угрюмым видом жевать. И по мнению этого-то народа в "Тите Андронике" слишком много насилия! Бёрбидж и остальные могут делать что угодно после ужина, на который пожалуют герцоги и принцы, но он, Уил, не станет строить из себя шута, чтобы потешать живодеров. Он любил лошадей и был безутешен,

1. МИР И БЕДНОСТЬ (*лат.*).

когда принадлежавшего его отцу Гнедого Гарри, смирного коня с запекшейся болотной грязью на щетках, повели на двор к скупщику старых домашних животных, чтобы сварить из него клей.

В тот вечер, пока подправленная комедия "Напрасные усилия любви" убеждала высокородных испанских зрителей, что британские актеры либо заставляют скучать, либо повергают в ужас, но неспособны ни привести в восторг, ни просветить, перед собором жарили убитого на корриде быка. Потом мясо раздавали шумной бедноте. Потные плебеи давились за сухожилиями и хрящами, вырывали друг у друга из рук обуглившиеся куски филейных частей.

— До чего же я ненавижу чернь, — думал Уил, с мрачным удовольствием наблюдая за происходящим — оживленные лица, шипящий от стекающего жира огонь, невозмутимый фасад величественного собора.

С доном Мануэлем подошел человек, чье лицо показалось Уилу как будто знакомым. Взглянув на Уила, он насмешливо ухмыльнулся и сказал что-то, из чего понятным показалось лишь слово "майда", что по-арабски означает желудок. Предположение подтвердилось: человек, усмехаясь, повторил то же, на этот раз, несомненно, по-кастильски — эстомаго. Дон Мануэль сказал с сожалением:

— Он говорит, что желудок у вас выносит кровь и кишки в театре, но вы отворачиваетесь от них в жизни. Как, например, сегодня. Он видел, как вы ушли. Простите, что не представил вам ранее, это Мигель де Сервантес Сааведра. Уильям Шекспир.

— Чекуеспирр? — Имя испанцу решительно ничего не говорило.

— Работаю, — сказал Уил, — в масрах в Лондрес. Действительно, не имею шахийа к дэм. Я муалиф, который должен юти людям то, что они желают видеть. Лиматза? Потому что такова моя михна.

По-видимому, это Сервантеса не убедило. Он был краснолиц, седобород, смугл и морщинист. Волосы заметно редели, отступая от жутковатых висков.

Он горбился, будто гребец, налегающий на галерное весло, и казалось, вот-вот сморщится от боли, получив по спине ожидаемый удар плетью. Уил рядом с ним чувствовал себя белоручкой, баловнем судьбы, не знающим, что такое страдание.

— Позвольте предложить вам что-нибудь йашраб? — сказал Уил. — Выпить? — Сервантес пожал плечами. Пить с человеком, не знающим языка? С которым невозможно поговорить? Он сказал что-то еще. Дон Мануэль перевел, что Сервантес приглашает их обоих к себе в дом. Там есть вино, и оно лучше, чем чернила, от которых болит живот, и моча, которую прода-

ют в винных лавках. Сервантес ненадолго окажет гостеприимство товарищу по профессии, писателю, приехавшему из страны, которую, как говорят, следует считать врагом Испании, а потому и врагом всего человечества. Но гости не должны задерживаться. У него, Сервантеса, болит голова, и он вскоре попытается заснуть, чтобы она прошла. Они втроем пошли от угасающего костра и скелета быка, с которого уже почти все срезали. Сервантес прихрамывал.

— Человек, — думал Уил по дороге, — в отличие от зверей полевых наделен даром речи, но стоит ему оказаться за пределами родины, оказывается, что в этом даре нет никакого толку. Животные же вполне понимают друг друга. Вавилонская башня — не миф.

О, Боже! Чем отличен от скота
мужчина? Не отсутствием хвоста.
Кто объяснит? Возможно — даром речи.
Им можно хвастаться, себе противореча,
когда б не малость. Ведь в любой стране
есть свой язык, и он — чужой вполне
соседям. Где же польза? Тут король
сказал: она ничтожна. Только роль...

Лишенный поэтического дара бедняга Дик Бёрбидж добавил свои неуклюжие вирши к речи Болингброка из трагедии "Ричард II". И все же сказанное в них верно.

Дом Сервантеса был мал. В нем пахло кухней — чесноком, оливковым маслом, специями; эти запахи Уил хорошо помнил по мавританским базарам. В крошечной гостиной стояли табуретки с сидениями в виде мавританских седел, закапанный чернилами круглый стол и было разложено около восьмидесяти книг. Одна из них лежала на истертом мавританском ковре у ног Сервантеса, занявшего с эгоизмом, не украшавшим гостеприимного хозяина, единственное находившееся здесь кресло. Уил и дон Мануэль расположились на довольно низких седлообразных табуретах. Сервантес подтолкнул ногой книгу в сторону Уила, и тот смиренно ее поднял. "Гусман де Альфараче"[1] некого Алемана. Вероятно, немец, судя по имени. Один из новомодных романов. Сервантес говорил. Дон Мануэль переводил.

— Книга о беспутном юнце, растущем в беспутном мире, за один только прошлый год выдержала двадцать изданий. "Пикареско", впрочем, сомневаюсь, чтобы вам это слово было знако-

1. Роман Матео Алемана, изданный в 1599—1604 гг. о похождениях и взрослении уличного мальчишки. Содержит моральные рассуждения о вреде детских излишеств.

мо. Роман отвечает глубинным потребностям испанской души — стремлению быть высеченным и подпаленным разгневанным Богом-отцом, который и пальцем не шевельнет, чтобы помочь тому, что, как нам говорят, является его дражайшим созданием, но, скорее, поставит разного рода препоны на его пути. И по окончании злосчастной жизни этому созданию нет ни мира, ни покоя, одни вечные муки. Вот такого рода повествования пользуются успехом у нашего народа. Именно такого ожидают от меня, когда, покинув суетный и не приносящий вознаграждения мир театра, я занимаюсь на досуге прозаическим повествованием. Любой Дон Кихот побит, и покрыт синяками, и сломлен в зубодробительной кровавой потехе, которую разыгрывает с нами Господь Бог. Вместо этого я даю им комедию.

— Хайа сейи для всех, — сказал Уил.

Сервантес взорвался, а дон Мануэль, не взрываясь, перевел согласные, произнесение которых сопровождалось брызгами слюны, и воплеподобные гласные:

— О, не играйте в моем присутствии с дурно выученными и скверно произнесенными арабскими словами. Для меня арабский — язык пытки и угнетения. Говорите на своем безбожном северном языке, которым, я полагаю, вы, по крайней мере, хоть как-то владеете. Говорю это о вас, англичанах, — вы не страдали. Вы не знаете, что такое му́ка. Из своего дьявольского самодовольства вам никогда не создать литературы. Вам нужен ад, который вы покинули, вам нужен адский климат — холодные ветра, огонь, засуха.

— Мы стараемся изо всех сил, — кротко сказал Уил. — Но позвольте смиренно осведомиться, что вы можете знать о нашей литературе? Вы не знаете английского, а наши книги и пьесы еще не переведены на кастильский. Вероятно, по заключении мира взаимный обмен знаниями оживится...

— Мир, мир! Какой может быть мир?! — Сервантес выкрикивал слово “paz”, как если бы это было название какой-то болезни. — Вы отпали от истинной веры и уклонились от противостояния с язычниками-мусульманами. Вышвырнуть их из святых мест, подорвать их господство на Среднем море — вот цель единственной войны, которую стоит вести. Мусульманин пришел сюда осквернить нашу латинскую веру, а вы и пальцем не пошевелили. Играете с кровью и людоедством в глупых сценических пьесках...

— Только в этой. Уверяю вас, “Тит Андроник” — пьеса далеко для нас не характерная. Вероятно, дело в языковом барьере...

— Барьер в душах, а не в языке и не в зубах. Вы — гнилой член, отрезанный от древа живого христианства.

— Не толкуйте мне о душах, — возвысил голос Уил. — С вашего позволения, вы, испанцы, рассматриваете Бога как дрянного

отца, человека — как неисправимую скотину, а душу его поручаете палачам-священникам, которые добиваются признаний, поджаривая вопящую жертву в языках пламени. Так что не толкуйте мне о душах.

— Представления Алемана о мире не имеют к моим никакого отношения. Милостивый Бог существует где-то далеко от жирных епископов и поджарых палачей. И как мы ищем этого милостивого Бога? Не в трагедиях загубленных жизней, но в комедиях, пародийных одиссеях. Такое открытие могло быть сделано только здесь, здесь, здесь! — и говоря это, он левой рукой обводил воображаемую карту Иберии, в то время как правой ударял себя в грудь. — Именно посредством комического можно приобщиться великой духовной истине, существованию милостивого Бога. Ваша вчерашняя глупая пьеска была смешна в другом смысле. Вы, англичане, неспособны принять Бога. Вы не страдаете и не можете сделать комедию из того, чего не существует в вашей зеленой стране с умеренным климатом...

— ...которую вы никогда не видели.

— Я вижу ее в вас, в вашем мягком взгляде и необветренной коже. В вашей чаше нет горечи.

— Это мы еще не раз услышим, — сказал Уил, нисколько не смутившись. — Будем и далее слышать, что мы не страдаем, как по́ротые московиты, запуганные жители Богемии и экстатичные испанцы. И что вследствие этого наше искусство ничего не стоит. Нас уже тошнит от этого и еще будет тошнить.

— Вам никогда не создать "Дон Кихота".

— Да с какой стати нам его создавать? — горячо возразил Уил. — Я создал и создам другое. "Да так ли? — подумал он. — Желаю ли я создать"?

— Я создал хорошую комедию, да и трагедию, каковая требует величайшего мастерства в драматургии, — вслух сказал Уил.

— Вовсе не величайшего и никогда не потребует. Бог — комедиант. Он не переживает трагические последствия ущербной сущности. Трагедия слишком человечна. Комедия же священна. Эта голова меня убивает.

Глаза Сервантеса, казалось, мерцали в свете свечи, стоявшей возле его кресла. Он не предложил гостям вина. Уил уже был сыт испанским гостеприимством, которое, как можно было предполагать, заключалось в презрении и порицании.

— Мне надо лечь, — сказал Сервантес.

— О комедии вы говорите в высшей степени некомично, — заметил Уил. — Вы не создали ни Гамлета, ни Фальстафа. — Но эти имена ничего не говорили Сервантесу, страдавшему от мигрени, бывшему рабу на галерах, долго ожидавшему выкупа родным королевством, а затем принужденного возвра-

щать заплаченные за себя деньги с ростовщическими процентами.

— Я видел ваши пьесы, — сказал дон Мануэль, — и прочел "Дон Кихота". Простите ли вы меня, если я скажу, что лучше? Вам не хватает полноты Сервантеса. Он лучше знает жизнь и обладает властью над словом, чтобы передать и плоть, и дух одновременно. Плоть и дух вышли сегодня на арену, и публика узнала их, и восторженно приветствовала. Простите меня и не сочтите, что я принижаю ваши достоинства.

— Я лишь зарабатывал себе на хлеб. Искусство — не что иное, как средство к существованию. Сервантес может быть втрое более великим, мне-то какая разница?! Я же ни на что не претендую.

— Ах, нет, претендуете.

Уил обиженно посмотрел на дона Мануэля, затем с опаской на Сервантеса, который при этом взвыл от боли.

— Идите, идите, — сказал Сервантес, — вам не следовало приходить.

— Меня пригласили. Но я уйду.

— Надо перенести эту раскалывающуюся голову в темную спальню. Допивайте вино и уходите.

— Вина не было, допивать нечего.

— Причастие без вина и без хлеба[1], — пробормотал Сервантес и, пошатываясь, побрел из гостиной. Уил и дон Мануэль переглянулись. Уил пожал плечами, оба они вышли на темную улицу и направились в сторону постоялого двора, где остановились актеры. Луны не было, только звезды сияли.

— Можно прочесть его книгу, пока мы здесь? — спросил Уил.

— Для этого надо в достаточной степени овладеть испанским.

— Многое будет зависеть от того, сколько времени уйдет на заключение вечного мира.

— Могу перевести вам отдельные места, чтобы дать представление о качестве целого.

— Можно переделать его книгу в пьесу?

— Нет. Она очень велика, это одно из ее достоинств. Такое долгое путешествие не уложить в два часа, отпущенные вам на сцене.

1. В начале XVII в. вопрос о том, как следует принимать причастие, был чрезвычайно актуален: англиканская церковь предполагала причащение хлебом и вином (то есть телом Христовым и Его кровью), католическая для мирян — только хлебом, для священников — и тем и другим; методистская — и тем и другим для всех, но вместо вина использовался фруктовый сок. Сервантес отпускает шутку на злободневную религиозную тему, смысл которой заключается в том, что причастие (дружеское общение) происходило и без вина, и без хлеба.

Уил горестно вздохнул.

— Краткость — в природе сценической пьесы. В книге есть поэзия?

— Он ведет повествование просто, без затей. У него нет вашего дара острого и живого, но сжатого изложения. Но он ему и не нужен.

— Так он, в таком случае, не поэт! — просиял, хоть это и было незаметно в темноте, Уил.

— Не поэт, как и вы.

— Вот это что-то да значит. Поэзия не выходит на арену и не вызывает приветственного воя черни.

— Вижу, вам досадно, что они вышли из книги и живут в нашем мире.

— Некоторым образом.

Уил уже спал ко времени возвращения Бёрбиджа, который не стал его будить и рассказывать, что сильно сокращенная постановка "Комедии ошибок" прошла неплохо, лишний раз подтвердив, что английские драматурги сильны комическими интермедиями и непритязательными шутками. Уил проснулся на рассвете.

— А? Что? Который час? Ради бога!

— Вставай. Дел полно. Все должны собраться. Пойду пинками поднимать их с постелей вместе со шлюхами и мальчиками, которых они к себе затащили.

Джек Хеммингс, Гас Филипс, Том Поуп (его малосвятейшество), Джордж Брайан, Гарри Кондел, Уил Слай, Дик Каули, Джек Лавайн, Сейнт Алекс Кук, Сэм Джильбёрн, Роберт Армин, Уил Ослер[1] (не умеющий обращаться с лошадьми), Джек Андервуд, Ник Тулей, Уил Эклстоун, Джозеф Тейлор, Роб Бенфилд, Роб Гау, Дики Робинсон, Джек Шэнк и Джек Райс сидели, моргали, морщились от яркого испанского солнца и недоверчиво слушали своего поэта, недовольные тем, что их разбудили, а также указаниями и поджаренным хлебом, которые им предстояло проглотить. Дик Бёрбидж все это уже знал и теперь только пожимал плечами и закатывал глаза.

— Завтра или послезавтра, — говорил Уил, — играем "Гамлета", но не так, как прежде. Введем в пьесу Джона Фальстафа. Не удивляйтесь так и не вздрагивайте. Тут нет ничего сложного. В "Гамлете" принца посылают в Англию, где его должны убить по приказу короля. Там, прочитав и уничтожив приказ, он слышит о датском войске, которое должно вторгнуться в Англию, чтобы наказать ее за неуплату дани. Наконец он понимает, что ему следует делать. Поставленная

1. Фамилия буквально означает конюх.

цель наряду с поддержкой Фальстафа и его людей заставляет Гамлета отбросить мысли о самоубийстве.

Фальстаф может звать Гамлета "милый Гам" вместо "милый Гал", тут различие всего в одну букву. Война прекращается с распространением вести о смерти короля Клавдия. Гамлет направляется в Эльсинор, чтобы занять трон отчима. Фальстаф со своими людьми следует за Гамлетом, но тот с ними под конец, разумеется, порывает. Клавдий все еще жив, и Лаэрт должен убить Гамлета в фехтовальном поединке, но не явно, поскольку принц любим возмущенной чернью. Все заканчивается так же, как и прежде, но только Гамлет остается жив, а Фортинбрас предъявляет права на престол. Как видите, тут почти ничего не надо менять, требуется только кое-что добавить. Играть вам придется около семи часов подряд, но, если им не понравится, нас могут отправить восвояси. Предпочтительнее было бы за море. Я не прочь повидать Русийон[1].

— В том, что предлагает Уил, — заглушая недовольные голоса, проревел Бёрбидж, — много дельного. Тогда нас не смогут обвинить в легкомыслии. И на следующий день Гамлет с Фальстафом вместе выедут на арену. Присутствующий здесь Ник Тулей доселе подменял Гамлета. Пришло тебе время его сыграть. Он тоже высокий, худой, поэтому строчку насчет того, что он тучный и страдает одышкой, которая так хорошо подходила мне раньше, но, слава Богу, уже не подходит, надо убрать. Алекс Кук исполняет у нас роль королевы Гертруды, но будет играть также мистрис Квикли. Обе они, каждая по-своему, дурные женщины. Смертей у нас достаточно, в том числе и смерть Хотспера, то есть короля, вторгшегося со своим войском. Но Гамлет не умирает, поэтому это не трагедия.

— В таком случае, это комедия о Гамлете, принце датском? — спросил Джек Андервуд.

— Дело в Ангии происходит или в Данлии? — желая сострить, осведомился Джек Шэнк.

— Имя Хотспер, — сказал Бёрбидж, — больше похоже на датское, чем Клавдий. Довольно умничать. Уил уже меняет порядок сцен. Может получиться пьеса, лучше которой мы еще не играли.

— Самая длинная, уж это точно, — сказал Уил Слай.

Самая длинная, конечно.

— Что ж, — сказал Уил Сервантесу, когда собравшиеся в четыре утра неверным шагом разбредались по своим комнатам, — по-прежнему считаете, что нам не хватает комического?

1. Бывшая провинция южной Франции на границе с Испанией, до 1659 г. принадлежала Испании.

Дон Мануэль перевел. Сервантеса, по-видимому, успокаивало присутствие валившегося с ног от усталости маленького мальчика-мавра, которого он прижимал к своему левому боку.

— Слишком долгая, — сказал Сервантес.

— Следует отправить ее к брадобрею с вашей бородой.

— ¿Como?[1]

— Она никоим образом не так длинна, как ваш проклятый, как вы его называете, роман.

— Я не называю его проклятым. А толстяка и долговязого вы у меня списали.

— Ах, нет. Они уже были в Лондонском театре, прежде чем я узнал о вашем существовании. Что на это скажете?

— Я ни слова не понял.

— Это ваша трагедия.

На следующий день после полудня возобновились испано-британские переговоры, но утром все еще предавались столь необходимому сну. В это время один рыжеволосый испанец, по имени Гусман, спросил у сэра Филипа Спендера на своем утробном тосканском:

— Будут еще играть эти бесконечные комедии?

— Предполагается дать вечером "Комедию о принце Гамлете", чтобы вы могли оценить ее многообразные и противоречивые достоинства. — Сэр Филип предвкушал представление с радостью: все предыдущие спектакли он преспокойно проспал. — В таком случае, нам, вероятно, следует поспешить с выработкой условий вечного мира. У меня такое впечатление, что жители Вальядолида будут рады отъезду посланцев британской земли. Так что всецело в наших интересах поторопиться и закончить.

— Аминь, — сказал Гусман. — Не вижу причин не закончить переписывание документов к завтрашнему вечеру.

— Имеете в виду истинное завтра или не столь истинное mañana?

— Имею в виду дату, следующую за сегодняшней. Что может означать полночный ужин и, ах, никаких развлечений после него.

— Подобные дела всегда отнимают много времени. Можем показать пример проворства, достойный подражания. За работу, мои государи и господа!

— Аминь.

После полудня, но до отъезда британских посланцев состоялась обязательная коррида. Уил от ее посещения уклонился. По арене проехали высокий худощавый принц в черном и полный

1. Как? (*исп.*)

рыцарь в одежде из тонкого полотна. Их приняли за дань британцев имеющей уже прочные основы испанской традиции, и потому публика всадников приветствовала. На куске ткани, поднятом Пистолем и Бардольфом, были выведены слова: VIVAN LAS MUCHACHAS Y EL VINO ESPANOLES[1]. Так что все закончилось миром. Уил к тому времени уже уехал, желая по пути на родину посетить Русийон. Все хорошо, что хорошо кончается.

Роман "Дон Кихот" он прочел только в 1611 году, тогда же закончил свой перевод Шелтон, а также появилась Библия короля Якова[2]. Ссылки на худощавого рыцаря и его толстого спутника встречаются в произведениях Бена Джонсона, Бомонта и Флетчера, но в пьесах Шекспира — ни разу. Во время своей последней болезни, начавшейся в 1616 году, он по-прежнему мрачно размышлял о том, что Сервантес опередил его с созданием героя всех времен и народов. Шекспир и Сервантес умерли в один день, но, поскольку испанский календарь на десять дней опережал британский, можно сказать, что даже и в смерти Сервантес опередил Шекспира.

Дон Мануэль де Пулгар Гаргантa больше не встречался с Шекспиром, но в 1613 году присутствовал при пожаре, уничтожившем театр "Глобус", во время первого представления пьесы "Король Генрих VIII" (называвшейся в то время "Все верно"). Тогда от церемониального выстрела пушки загорелась соломенная крыша. Люди выстроились в цепочки, передавали друг другу ведра воды из Темзы, но пожар в здании остановить не удалось. Театр со всем своим имуществом погиб в огне. Дон Мануэль встречался в таверне с Джеком Хеммингсом и Гарри Корделом, с триумфом утолявшими жажду, ибо им удалось спасти из огня большую часть произведений своего поэта. Но пьесы "Только подумайте, что так могло бы быть", "Комедия о Ламберте Симнеле" и "Победившие усилия любви" оказались безвозвратно утрачены.

— Издайте их, — сказал дон Мануэль, — для потомков в виде книги.

— В виде книги? Издать пьесы книгой?

— Фолио. Это было бы важное дело. Только полное собрание его сочинений может сравниться с тем, что задумал я.

— А что вы задумали?

Дон Мануэль счел за лучшее солгать.

— О, — сказал он, — если не сочтете за святотатство — издать Библию вашего короля Якова.

1. ДА ЗДРАВСТВУЮТ ДЕВУШКИ И ИСПАНСКОЕ ВИНО (*исп.*).
2. Третий, считающийся каноническим, перевод Библии на английский язык, предпринятый с целью избавить ее от ошибок, обнаруженных пуританами.

Энтони Бёрджесс

Твое время прошло

Фрагмент автобиографии

Перевод Валерии Бернацкой

Предисловие

ПЕРВЫЙ том этих воспоминаний в Европе был снабжен подзаголовком “Исповедь”, а в Соединенных Штатах – “Автобиография”. Мой американский издатель окрестил первую книгу “Автобиографией”, как будто ее прежнее жанровое обозначение было чем-то уникальным. Книга и впрямь уникальна, но только в том смысле, что это единственная написанная мной автобиография, – правда, американские рецензенты имели в виду совсем другое. Не понимаю, почему подзаголовок “Исповедь” не устроил американского издателя. К этому жанру с почтением относились и блаженный Августин, и Жан-Жак Руссо, и я пытался, в меру своих сил, следовать искренности этих авторов, ни в коей мере не претендуя на столь же высокие литературные достоинства. Я достаточно давно знаком с католической церковью и знаю, что исповедоваться может каждый и, более того, должен. Но, возможно, в Америке исповедь не имеет изначаль-

You've Had Your Time © Anthony Burgess, 1990
© Валерия Бернацкая. Перевод, 2017

но духовного смысла. Существовал, а может, и сейчас существует, журнал "True Confessions"[1], откровения в котором чисто эротического свойства.

Не скрою, некоторые места в первом томе не лишены эротики, но она занимает в книге не слишком много места. Тем не менее многие критики тут же сделали стойку, желая выставить меня сексуальным маньяком или, в лучшем случае, потворствующим своим желаниям болтуном. Характер автора действительно не назовешь привлекательным, но разве, исповедуясь, стараешься представить себя милашкой — во всяком случае, в католической традиции? Ведь тебе нужно не восхищение, а прощение. Сама книга тоже не всем доставила удовольствие, и все же несправедливо называть ее "всякой всячиной, себе на утеху", как сделала одна журналистка. В сочинительстве вообще нет "утехи", если только ты не порнограф и не пишешь себе на потребу. Писательство — тяжкий труд. Если эта книга — "всякая всячина", то такова и изображенная жизнь, и вообще жизнь каждого человека.

Но мне доставит удовольствие ответить самым строгим моим критикам — редкая возможность в середине повествования (ведь обе мои книги составляют одну), если это только не роман Д. Г. Лоуренса. Я имею в виду восхитительного "Мистера Нуна"[2], которого писатель обрывает посреди действия и тем самым натягивает нос ретивым рецензентам. Но даже суровым нагоняем нельзя добиться духовного перерождения племени критиков, которые мстительны по самой природе. Я тоже занимался рецензированием и знаю, какое это удобное средство для выражения неприязни, хотя сам старался быть объективным и рассматривал книгу, скорее, как артефакт, чем эманацию чьей-то личности. Если б меня одолела жажда мести, я обрушился бы лишь на немногих критиков, но все они уже в другом мире.

Правда, один человек еще жив, он поднялся намного выше обычного продажного писаки и теперь заведует государственными средствами, выделенными на поддержку литературы. Это Чарльз Осборн. Когда его попросили назвать три, по его мнению, переоцененных литературных произведения, он назвал "чересчур эксцентричный, на грани бульварного, роман "Любовник леди Чаттерлей", легковесную комедию "Ночь ошибок, или Унижение паче гордости"[3], а также все вышедшее в послед-

1. "Правдивые исповеди" (*англ.*). Женский журнал с таким названием был создан в 1922-м и существовал практически без изменений до 1963 г. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. "Мистер Нун" (1920–1921) — незаконченный роман Д. Г. Лоуренса. Первая часть его издана посмертно в виде повести (1934), вторая — только в 1984-м.
3. Комедия Оливера Голдсмита (1730–1774).

нее время из-под тяжеловесного пера Энтони Бёрджесса (неважно, что именно и как это оценят критики)". Создается ситуация вполне пригодная для метафизического вопроса: как можно судить еще не написанную книгу? Хотя признание цельности моего творчества приятно — пусть даже в тяжеловесности.

Один из упреков в отношении первого тома моих воспоминаний — его физическая тяжесть, говорили, — будто он слишком велик. Тогда я пригрозил, что второй будет не меньше, а может, и больше. Но угроза не помогла. До нынешних сорока трех лет моя жизнь была гораздо разнообразнее — хотя не счастливее, — а эта, вторая и заключительная, фаза настолько заполнена работой, что не остается времени на внешние впечатления. В романе Ивлина Во "Мерзкая плоть" снимают фильм о реформаторе Уэсли[1]: там есть пятиминутный эпизод, где священник пишет проповедь. Моя книга несколько длиннее. Что до самой жизни, то она тоже вряд ли долго продлится. Так что мистер Осборн едва ли увидит много тяжеловесной прозы, исходящей из-под моего пера или с пишущей машинки.

Первый том я начал с того, что вызвал в памяти период вынужденного безделья в нью-йоркской гостинице ранней осенью 1985 года. То безделье, своеобразная форма творческого бесплодия, и породило решение написать о моей жизни. Можно принять это в качестве примера того, как опасно бездельничать. Я намеревался рассказать о своей жизни со всей искренностью, какая только возможна у человека по натуре скрытного и лживого. Меньше чем через год, когда рукопись первого тома уже находилась в руках английских и американских юристов, а я уже в другой нью-йоркской гостинице вновь пребывал в состоянии безделья, оно вновь, правда с бóльшим трудом, привело меня к решению продолжить и закончить свою историю. Почему с бóльшим — читатель узнáет. С возрастом оживают ранние воспоминания, а события зрелости и старости затягиваются дымкой и путаются. Вызывая в памяти собственную молодость, мы готовим себя ко второму детству и, главное, уже способны писать об этом достаточно умело. Но когда восстанавливаешь картины последнего времени, подводит не только ослабевшая память. В мстительных руках эти предвзятые воспоминания могут стать острым оружием. Когда мы пишем о далеком прошлом, мы воскрешаем покойников, но они призраки, а не Лазари[2].

1. Джон Уэсли (1703–1791) — английский протестантский проповедник. Основатель методизма, прославился своими проповедями.
2. Лазарь (Четвородневный) — согласно Евангелию, брат Марфы и Марии, воскрешенный Христом через четыре дня после его смерти.

Они не подвластны законам живых людей. А теперь придется писать о живых, и некоторым из них могут не понравиться мои признания. Словом, правду придется утаить или исказить, и это извратит подлинную цель исповеди. Писатели никогда не свободны, сколько бы они ни утверждали обратное, и меньше всего, когда пишут о себе, неминуемо затрагивая и других людей.

В 1986 году я знал, что смерть не книга, которую еще только предстоит написать, она уже в корректуре, и ее везет специальный курьер. Я летел в Нью-Йорк, чтобы прочесть лекцию членам Американской библиотечной ассоциации, подобную той, что я читал до этого в сентябре библиотекарям Миннесоты. Темой лекции была цензура, или как дурные законы ограничивали откровенность в литературе. Сначала я летел из Лугано в Цюрих на "Кроссере", маленьком самолетике, сражавшимся с альпийскими ветрами, а оттуда — на реактивном "Свиссере" прямиком до аэропорта Кеннеди. В первом классе еда, вина и ликеры были отменные, но аппетита не было. Я накачался минеральной водой и все равно умирал от жажды. Мне стало совсем худо во время двухчасового ожидания среди иммигрантов — в нью-йоркскую жару, в помещении без кондиционера. Некоторые туристы теряли сознание. Дружелюбного вида чернокожий развозил на тележке бак с тепловатой водой и бумажные стаканчики. Сотрудники иммиграционной службы не ведали жалости, тщательно выискивая фамилии пассажиров в огромной регистрационной книге правонарушителей, которая выглядела как книга Айн Рэнд[1] с разными вариантами одного текста. Они придирались к срокам пребывания в стране и задавали нескромные вопросы о платежеспособности. Через агента компании я заказал лимузин и, дожидаясь его, продолжал мучиться от жажды. Лимузин не появился, и я раздобыл в обменнике немного денег на такси. Шофер был пьян, а машина провоняла застарелой блевотиной. Был как раз час пик, и за то время, что мы ползли от Куинса до Манхеттена можно было прослушать одну симфонию Малера и две симфонические поэмы Штрауса[2]. Радио гремело во всю мочь, но звучали отнюдь не Малер или Штраус. Когда мы добрались до отеля "Марриотт Маркиз", я почти умирал. К жизни меня возвратили делегаты библиотечной конференции с помощью

1. Айн Рэнд (Алиса Зиновьевна Розенбаум) (1905—1982) — американская писательница и философ российского происхождения.
2. Имеется в виду Рихард Штраус (1864—1949) — немецкий композитор эпохи позднего романтизма, особенно прославился благодаря симфоническим поэмам и операм.

изрядного количества прохладной кока-колы — прошу ничего плохого о ней не говорить! Потом сердце мое перешло в обычный музыкальный режим и, как в той части “Le Sacre du Printemps”[1], где солируют ударные инструменты, оно то колотилось, как сумасшедшее, то надолго замирало. Мне следовало быть начеку.

В спальне отеля я мог контролировать сердце только в состоянии бодрствования. Стоит задремать, и оно остановится — я это знал. Через некоторое время сердце признало, что я отчасти его хозяин, и даже позволило мне поверить, что оно по-прежнему перемалывает зерна моей жизни. При этом оно вело себя, как нашкодившая собака, которая из вредности писает по углам. Мои бронхи заполнила мокрота, а откашляться никак не получалось. Тогда я понял, что, должно быть, барахлит митральный клапан. Лекция перед десятитысячной аудиторией библиотекарей оказалась в прямом смысле “сырой”: микрофон с великолепной точностью передавал мои отхаркивания. Впрочем, все это не имело значения: само мероприятие задумывалось, скорее, как развлекательное, а не серьезное. До меня выступала группа городских чернокожих школьниц в кабаре-шоу, они размахивали руками, цилиндрами и тросточками, показывая отрывок из “Кордебалета”. После лекции Американская библиотечная ассоциация забыла обо мне, предоставив и дальше умирать.

Конечно, я не умер, но книга смерти, пока закрытая, лежала, дожидаясь своего часа. Мне предстояло провести в Нью-Йорке еще десять дней, чтобы написать материал в “Корьере дела сера” о новом открытии отмытой и вычищенной статуи Свободы. После этого надо было ехать в Бирмингемский университет (в то время там преподавал Дэвид Лодж[2]), где мне собирались вручить диплом почетного доктора, а еще я обещал написать музыку для духовой группы Бирмингемского симфонического оркестра. Я сидел в холле расположенного в центре Манхеттена отеля “Фортресс” в окружении пальм и фонтанов и расписывал на оркестровые голоса четыре английских рожка, три трубы, три тромбона, тубу и литавры — издевательски радостную музыку. Ее ритмы категорически не совпадали с ритмом моего сердца, и оно дулось и сентиментальничало. Искусство, пусть и весьма скромное, лучше всего подавляет мысли о смерти. Я закурил вонючую американскую сигару, что сра-

1. “Весна священная” — балет Игоря Стравинского, премьера которого состоялась в 1913 г. в Париже.
2. Дэвид Лодж (р. 1935) — английский писатель и литературовед. Преподавал в Бирмингемском университете английскую литературу с 1960-го по 1987 г., после чего посвятил себя целиком литературной работе.

зу расширило пространство вокруг меня: люди с презрительной миной отмахивались от дыма — курение в Америке с недавнего времени подвергается общественному порицанию. А еще я выпил виски с лимонным соком за счет Американской библиотечной ассоциации. Ни один доброжелатель из числа гостей не подошел ко мне со словами: "Что ж ты делаешь, приятель?". Я был совсем один, если не считать молодую женщину из Техаса, которая никак не могла решить, писать или нет диссертацию о моем творчестве, и нью-йоркского читателя, купившего первое английское издание моего романа "Доктор болен" в магазине "Готем бук март". Услышав, что я остановился в этом отеле, он захотел получить автограф.

Вид первого издания вернул меня в прошлое. Теперь я мог продолжать свою историю. Эту книгу я не видел с момента чтения корректуры — пыль времени лежала на ее страницах. Она вышла в свет в 1960 году, когда предстояло сбыться роковому прогнозу медиков, хотя я совсем не ощущал себя умирающим. А вот теперь время пришло, и физическое состояние честно предупреждало о конце. Доктор Либестраум или профессор Дэвидсбендлер из Цюриха, без сомнения, это подтвердят. А подаренный мне тогда неврологами год жизни стал уже давней историей и потому четко отложился в моей увядающей памяти. И я могу легко вернуться в прошлое.

А прежде я хотел бы принести искреннее извинение. Если читателю не доставляет радости образ человека, сидящего за пишущей машинкой, тут я, к сожалению, ничем не могу помочь. Я рассказываю о жизни профессионального писателя. Повторяемый мною вновь и вновь термин "профессиональный" вовсе не намекает на высокое мастерство и большие достижения, как, например, у теннисиста. Это просто способ заработать себе на жизнь. В ремесле писателя основные действия совершают пальцы, они переносят словесные конструкции на бумагу; на виду только — хождение с брюзжанием по комнате, скомканная в раздражении бумага, глоток чего-нибудь возбуждающего по совету Одена и в очередной раз зажженная и недокуренная сигара. Жизнь писателя бурлит внутри, внешне ничего не заметно. Однако и эту жизнь нужно отобразить. Можно даже удивляться, что такая профессия существует. Я пишу здесь не только о неудачах и унижениях, но и о частичных победах. Прошу извинить меня, что я, пойдя наперекор врожденной скромности, пишу и об удачах. Но чтобы писателю выжить, ему позволительно иногда дать трем трубам в унисон зазвучать в до мажоре.

Э. Б.

Княжество Монако, 1990

* * *

Вздохнув, я заправил лист в пишущую машинку. “Пожалуй, начну”, — сказал я. Так и сделал. После того как объявили, что жить мне осталось меньше года, я решил стать профессиональным писателем.

Был январь 1960 года, по всем прогнозам мне предстояло уйти из жизни в листопад, так что еще оставались зима, весна и лето. Но, чувствуя себя хорошо, я не относился серьезно к вынесенному мне смертному приговору. После долгой расслабленной жизни в тропиках нас с Линн стимулировал холодный ветер с Ла-Манша. Холод в Хоуве обострял аппетит, тем более что теперь не было нужды жевать тухлятину из сингапурских холодильников и экзотические клубни на рынках Брунея. Англичане, не покидающие свой остров, даже не представляют, какие они счастливцы. Мы ели рагу из свежей говядины, жареных уток и цыплят, молодую фасоль, цветную капусту и картофель из Джерси. В цветочных магазинах появились нарциссы с островов Сцилли[1]. Англия казалась нам чуть ли не раем. Но британское государство высунуло все-таки свой раздвоенный язычок.

В госдепартаментах знали о моем местонахождении. Меня вызвали в отдел местного Национального социального страхования и спросили, как я отношусь к тому, чтобы еженедельно наклеивать марки на открытки. Я ответил, что вряд ли стоит такое занятие включать в государственную программу: эта работа не окупит мои похороны. На что я живу? Я умираю на припрятанные малазийские доллары, которые инвестирую в британские ценные бумаги. И активно сочиняю, чтобы оставить гонорары и проценты с них моей будущей вдове. Когда на меня наехала налоговая служба, они не нашли ничего, на что можно было наложить лапу. Моя скорая смерть не вызывала никаких чувств у официальных органов. Она была интересна только тем, кто имел дело со статистикой. Мы с Линн привыкли считать равнодушие обычной чертой колониальных чиновников, забыв, что на родине дела обстоят не лучше.

Проблемы были и с манерами. Я заготовил небольшую речь, которую собирался произнести перед женщиной с выступающим подбородком, хозяйкой табачной лавки за углом, где я покупал и газеты. “Мадам, последние три (шесть или девять) месяцев я прихожу сюда каждое утро и покупаю “Таймс” для себя, “Дейли миррор” для жены и восемьдесят сигарет “Плейерс” — для нас обоих. Каждый раз, подходя к

1. Острова Сцилли — небольшой архипелаг, относящийся к графству Корнуолл.

прилавку, я непременно здороваюсь, а уходя — прощаюсь. Еще я говорю "пожалуйста" и "спасибо" и делаю любезные замечания о состоянии погоды. От вас же, с вашим бесценным подбородком, я ни разу не получил вразумительной и эмоциональной ответной реакции. Такое впечатление, что в лавке хозяйничают отъявленные трапписты"[1]. Предполагалось, что это будет прощальная речь при отъезде из Хоува, но она так и не была произнесена. У зеленщика мое приветствие встречалось кивком, который заключал в себе вопрос: что я собираюсь купить? Возможно, в повсеместном нежелании произносить "доброе утро" было нечто апотропеическое, обрядовое, отвращающее беду: скажешь "доброе утро", а оно окажется совсем не добрым. Должно быть, правы продавцы авиабилетов, которые во всем остальном достаточно дружелюбны:

— Доброе утро!
— Привет!
— Доброе утро!
— Безусловно!
— Доброе утро!
— Похоже на то!

Мы долго жили в краю, где необразованные местные жители щедро пересыпали свою речь вежливыми, услужливыми словами, рьяно кланялись и прикладывали руки к сердцу. А здесь ледяной холод и окружение из множества людей с серовато-коричневой кожей, по выражению Э. М. Форстера[2]. Все равно что находиться в продуваемой всеми ветрами палате с прокаженными. Подобно многим репатриантам с Востока, нам стало казаться, что наше тропическое прошлое — единственная реальность. Надвигалась опасность превратиться в типичных — для поживших в колониях — зануд и эксцентричных чудаков. В зимние холода я надевал костюм поверх пижамы: в этих случаях Линн тащила меня в недорогой магазин мужской одежды. Мы много пили, будто, как и раньше, изнемогали от духоты под потолочным вентилятором. Мне, если я и правда умирал, было все равно. Но — не Линн, которая ежедневно поглощала две бутылки белого вина и пинту джина.

Я делал успехи, постигая труд профессионального писателя, — пусть и на короткое оставшееся время. Говоря "профес-

1. Члены католического бенедиктинского ордена с более строгим уставом, чем в остальных орденах; трапписты обязаны соблюдать молчание, прерываемое только для молитв.
2. Эдвард Морган Форстер (1879–1970) — английский романист и эссеист. Это определение взято из его романа "Морис" (1913).

сионального", я не имею в виду высокий уровень задач и достижений: это просто означало, как, собственно, и теперь, постижение ремесла с тем, чтобы иметь возможность заплатить за жилье и выпивку. Оставляю миф о вдохновении и муках творчества любителям. Профессиональный труд требует дисциплины, что в моем случае равнялось написанию двух тысяч слов в день, включая уик-энды. Я вычислил: если начать писать рано утром, дневную норму можно выполнить до открытия пабов. Если я все же запаздывал, то тогда в приподнятом настроении садился за работу ночью и ретиво стучал по клавишам, пока соседи не начинали барабанить в стену. Две тысячи слов в день давали в год семьсот тридцать тысяч. Увеличив скорость, можно было без особого труда достичь миллиона. А это — десять романов по сто тысяч слов каждый. Такой бухгалтерский подход к сочинительству, естественно, нельзя одобрить. Но, учитывая похмелья, семейные ссоры, творческое бессилие, вызванное погодой, походы по магазинам, вызовы к государственным чиновникам и просто периоды депрессии, у меня не получилось написать больше пяти с половиной романов среднего размера за этот мой последний год. И все же такой объем приближался ко всему написанному Э. М. Форстером за его долгую жизнь.

Надо было также выделить время на поиски дома, чтобы жить в нем или умереть. Мне претила мысль встретиться с Творцом в меблированной комнате. Поэтому с приходом весны Линн и я занялись поисками коттеджа в Восточном или Западном Суссексе. Мы планировали также и меблировать его, где бы он ни оказался. Значит, надо было купить по приемлемым ценам и где-то хранить комоды и буфеты в якобинском и псевдокаролинском стиле. Все это стало для меня как бы символом продолжения жизни. И еще обеспечением вдовьего существования. Когда я умру (постепенно "когда" менялось на "если"), Линн сможет угощать джином или белым вином возможных гостей в собственном уединенном и элегантном доме. Ей еще не было сорока, и красота, слегка поблекшая в тропиках, снова к ней возвращалась. А тем временем в одной из наших двух съемных комнат я писал роман под названием "Доктор болен".

Я старался как можно тише стучать по клавишам. Справа от меня несвежие кружевные шторы скрывали заросший сад под тусклым приморским небом. Слева располагалась старенькая тахта, на которой рядом с газовым камином со щелью для шиллингов лежала Линн, читая "Дейли миррор" или дрянной романчик. Она полностью утратила литературный вкус, если он когда-то у нее был, разве что по-прежнему обожала Джейн Остин. Теперь мне вменялось в обязанность тас-

кать для нее всякую макулатуру из публичной библиотеки. Если я возвращался с томиком Генри Джеймса или Энтони Троллопа, книга яростно летела мне в голову. В том, что я не мог серьезно относиться к Джейн Остин, была вина жены — я недолюбливал эту писательницу по ассоциации. Если Линн могла читать всякую дрянь параллельно с ее романами, то, значит, и Остин недалеко ушла. Моим незнанием творчества этой марающей бумагу старой девы Линн пользовалась, чтобы доказать мое литературное невежество. Когда мы бывали под хмельком, она подвергала меня допросу:

— Сколько дочерей было у мистера и миссис Беннет?

— Четыре или пять?

— За кого вышла замуж Эмма?

— За хорошо воспитанного мужчину, привлекательного и богатого? Имя вылетело из головы.

— Какую пьесу ставят в "Мэнсфилд-парке"?

— Что-то из Коцебу, кажется.

Линн никогда не интересовалась тем, что писал я, но некоторые отрывки из моего первого романа "Время тигра" все же попросила прочесть, когда болела. Литературные изыски ее не волновали, ей просто хотелось окунуться в атмосферу нашей малайской жизни.

Сначала я подумал, что ухудшение вкуса жены как-то связано со специфическим оформлением квартиры нашей хозяйки. На стенах висели картины с изображением монахов, удящих, а затем поедающих рыбу. Монахи были на одно лицо, словно близнецы; это говорило о том, что бедность художника граничила с нищетой: он мог позволить себе только одну модель. И безделушки были странные (смешно, что на идиш naknik[1] обозначает колбасу) — керамические коробочки для пуговиц, пепельницы из раковин с морского побережья Брайтона, личные вещи моей мачехи. Ковры, одеяла и простыни — все было в дырах. Радиоприемник с выгоревшим орнаментом — память о тридцатых — работал спорадически. В двери дуло. Над нами жила молодая пара, увлеченно занимавшаяся сексом. Сон у них был крепкий, вода из ванны переливалась через край и постоянно заливала нашу спальню. Разбудить их было невозможно.

Прошу меня извинить за не относящийся к делу naknik. Мне вспоминается время, когда я сочинял роман о человеке, помешанном на словах, любых словах, и затолкнул этого человека, помимо его воли, в вещественный мир. У Элиаса Канетти есть

1. Безделушки по-английски — knick-knacks.

роман "Ослепление"[1], в котором стареющий философ, синолог, оказывается вовлеченным в криминальную среду. В романе "Доктор болен", более английском и менее громоздком, используется похожая ситуация. Герой романа, доктор философии Эдвин Прибой, чья специальность — филология — стала в 1960-е годы не востребована, покидает колледж в Бирме, где он преподавал фонетику, и едет домой. У него, как и у меня, подозревают опухоль мозга. Он женат на темноволосой Шейле, которая ему изменяет. В такой же неврологической клинике, где обследовали и меня, ему после ряда тестов предлагают сделать операцию. Но Эдвин бежит из клиники и повсюду ищет жену, подозревая, что та изменяет ему со всеми мужчинами Лондона. При подготовке к операции его побрили, и теперь он носит шерстяную шапочку. Денег у него нет. Он связывается с преступными элементами, которых я в свое время встречал в неведомом Вирджинии Вулф Блумсбери: крупным мужчиной — он работает в Ковент-Гардене (утром на рынке с таким же названием, вечером — рабочим сцены в Оперном театре) и содержит любовницу из Танжера; торговцами краденых часов, известными как "специалисты по котлам" (среди них мазохист, который платит тому, кто его выпорет), и близнецами-евреями, владельцами нелегального питейного заведения.

Эти близнецы, Ральф и Лео, неожиданно закатились к нам в Хоув, как раз в то время, когда я собрался вставить их в роман. Они задумали открыть небольшую пошивочную мастерскую, для чего требовались двести фунтов на покупку швейных машин и на недельный аванс юной швее — по совместительству их общей любовницы. Деньги мы дали, хотя подозревали, что дело не выгорит. Что бы братья ни затевали, все шло прахом. Главным капиталом было их полное сходство, весьма полезное для обеспечения алиби. О том, что я собираюсь вывести их в романе в неприглядном виде, один из них или даже оба сказали: "Хуже того, что мы вытворяли, тебе не сочинить". Мы повели близнецов в паб, куда вошел, громко смеясь, бывший эскадронный командир с закрученными вверх усами. "Придется продать сегодня две машины", — заметил Ральф или Лео. Когда барменша с высокомерной улыбкой наливала нам джин, Лео или Ральф сказал: "Отколи пару кубиков от своей 'арис', айсберг!" "Арис" — сокращение от Аристотеля, рифмованный слэнг, обозначающий бутылку или, точнее, бутылку и стакан, а еще — задницу[2]. В

1. Этот роман (1935) Элиаса Канетти (1905–1994), австрийского, болгарского и английского писателя, лауреата Нобелевской премии (1981), Айрис Мёрдок называла "одним из величайших романов столетия".
2. Arse — задница (*англ.*), звучит тоже, как рифмованный слэнг к "арис".

Лондон они вернулись с чеком на двести фунтов, после чего в Хоуве нам нельзя было больше ходить, по меньшей мере, в пять пабов. Но их визит был знаком, что жизнь где-то, вдали от Хоува, бурлит. Я с охотой вернулся к работе над романом.

Прибоя вынуждают (между прочим, близнецы) принять участие в конкурсе на самую красивую лысую голову. Он занимает первое место, но вульгарность соревнования шокирует его. Выкрикнув односложное ругательство на телевидении, Прибой устраивает скандал, предварив Кеннета Тайнена[1]. В 1960-м я еще не мог передать то, что сказал мой герой, на бумаге. Мне пришлось зашифровать это слово, определив его как последовательность глухого, губно-зубного звука, гласной заднего ряда и задненебного взрывного. Далее Прибой встречает своего старого приятеля грека, торговца вином по фамилии Танатос. Танатос означает смерть, однако так и неизвестно, умирает Прибой после операции или выздоравливает. Не знаем мы также, реальны или иллюзорны его плутовские приключения. Он всегда жил в мире слов, но никогда не интересовался их подлинными значениями. А теперь они жалят его, возможно, даже убивают. Хотя и это может быть розыгрыш.

Прибой — неправдоподобная фамилия. Не думаю, что ее найдешь в телефонном справочнике... Возникает ассоциация с чем-то незначительным, невесомым, что отбрасывается подлинной, тяжелой водой жизни. Доктор Прибой получает научную степень за диссертацию о приставке shm — в идише в нью-йоркском ироническом варианте, или "идглише" (Эдип или Шмоэдип — какая разница: оттого что имя становится длиннее, он не меньше любит свою мать). Лично я сомневаюсь в возможности такой диссертации. Сомневаюсь и в том, что Прибой ездил, как он утверждает, в Пасадену за дипломом доктора наук. Создатель забыл о нем. Для жены он тоже не представляет интереса: у него пропало либидо, и теперь она ищет сексуальные утехи в лондонской среде тунеядцев, бездельников и неудавшихся художников, которые с радостью ей в этом помогают. Эдвин вместо любви предлагает слова. Даже мелкие мошенники, среди которых оказывается доктор, активно проворачивают свои делишки в реальном мире. Виски в нелегальном питейном клубе могут разбавлять водой, а часы, которыми торгуют из-под полы на улице, могут через день-два перестать тикать, но они реальнее слов. Прибой — всего лишь пена, человек, паразитирующий на филологии, и он заслуживает смерти. Его недуг неврологиче-

1. Кеннет Тайнен (1927–1980) — английский драматург и театральный критик; один из крупнейших деятелей контркультуры.

ского характера, но он порожден физическим состоянием главного героя — заболеванием от бессмысленной деятельности. Чек на двести долларов, пожертвованный парочке расточительных еврейских близнецов, был, со стороны автора Прибоя, признанием того, что жизнь выше слова. Прибоя не мог придумать тот, кто не был на него опасно похож. Лучше потерпеть неудачу с пошивочной мастерской, чем преуспеть в словесах.

С другой стороны, книга — это физический объект, ее можно держать в руках, взвешивать, продавать, ее задача — изображать словами мир, какой он есть, или, напротив, искажать его. Слова обретают реальность, только когда они оживляют вещи. А вещи становятся реальными, только получая названия. Мы постигаем окружающий мир разумом, функционирующим через структурные противоположности — фонемы и морфемы. И есть только один познающий мир разум — мой или ваш. Солипсизм в романе "Доктор болен" — мысль, что существование внешнего мира подтверждается только сознанием индивида — пусть даже психически больного, а что такое психическая болезнь? — определенный метафизический принцип, но я никогда не был и сейчас не являюсь метафизиком. Я был и остаюсь автором своего рода комедий, в которых развиваю несколько идей. Наверное, естественно, что немцы отнеслись именно к этому роману серьезнее, чем англичане. Есть два перевода — "Der Doktor ist Üpbergeschnappt" и "Der Doktor ist Defekt"[1], а также большое количество научных работ о нем в университетах Западной Германии. Англичане сочли этот роман, написанный чокнутым автором, абсолютно безвкусным легким чтивом.

Доктор Прибой не списан с меня, хотя в основе некоторых его приключений лежит то, что случалось со мной, в частности, временная утрата либидо. Доктор-пакистанец в Клинике тропических болезней весело назвал мне диагноз и не без удовольствия, смешанного с сочувствием, расспрашивал о моей сексуальной жизни. Неясно, было ли такое состояние связано с невропатологическим синдромом. Наши интимные отношения с женой практически прекратились в 1959 году, и медицинских объяснений этому я не искал. Так как по ночам я был слишком пьян, чтобы заниматься любовью, а утром — мучился с похмелья, то, возможно, я топил себя в джине, чтобы избежать близости. Причина была в откровенных изменах моей жены, прекратившихся в благопристойном Хоуве, но я не со-

1. "Доктор не в себе" (*нем.*).

мневался: в месте поразгульнее ее аппетиты вспыхнут с новой силой. Я был готов принять ограничения в любовных утехах, но не полное отсутствие секса — ни в супружеских отношениях, ни в каких других. В определенных пределах сексом можно пренебречь для творчества.

Ни один муж не станет возражать против измен жены, лишь бы она не распускала язык. Но рассказы о неуемной прыти пенджабца на горе Букит Чандан или какого-то евразийца в пещерах Бату никак не способствуют возникновению эрекции. Супружеский секс со временем превращается в рутину, а секс с незнакомцем — уже новизна. Измены — поиск чего-то нового, и донжуанство — не столько мужская, сколько женская проблема. Трагедия Дон Жуана в том, что все женщины в темноте кажутся ему одинаковыми — они же видят в том, что ему представляется однообразием, новизну и настолько наивны, что принимают физическое откровение за любовь. Его прискорбная ошибка — выбор непорочных девиц, которые преследуют его до смерти. Новизна нужна женщине как воздух — недаром они легкая добыча модной индустрии. Мужчины привыкают к старым трубкам и порванным курткам. Женщины любят подарки (найти оригинальный подарок для Линн на Рождество и день рождения — трудная задача) и, если им предоставляется шанс, они в восторге от любовного разнообразия. Еще со времен Флобера неудовлетворенность жен, не находящих разнообразия в браке, стала одной из самых заезженных тем в литературе. У моей жены — роскошное, медового цвета тело, но и оно меня не прельщало. Она рассказывала мне, как часто ее обнимали другие мужчины и как хорошо это у некоторых получалось. Я мог быть лучше A и B, но не так хорош, как X или Y. Не в силах усмирить свою гордыню, что было серьезным недостатком, я предпочел не участвовать в этом соревновании. Для супруга это жестокий поступок, но католическая церковь меня поймет: ведь она благословляет целомудренные союзы. Я всегда готов призвать на помощь оставленную веру в Бога, когда у меня не хватает мужества на собственное решение.

У нас никогда не возникали споры об особой форме нашего брака, который можно рассматривать как миниатюрную цивилизацию или микрополис. Или, говоря другими словами, как сложную семиотику. У нас был достаточный запас общих воспоминаний, на которых можно долго продержаться, свои секретные шифры, условные сексуальные обозначения. Словом, была тесная связь, хотя ее физическая сторона отсутствовала. С неверностью жены я смирился, попустительствуя этому, как будто она никак не влияла на нашу душевную близость. Чувство обиды обычно исходило от нее, и это никак не относилось к сексу. Одной из его форм было нежелание читать мои

книги и какое-то извращенное удовольствие от негативных рецензий на них. Другой, не то чтобы необычной, — было распространение слухов, что настоящее авторство — ее: ведь у меня бы ума не хватило. Энтони Бёрджесс — всего лишь псевдоним, и он необязательно должен быть моим. Джордж Элиот и Братья Белл[1] были женщинами. Если ей придется отстаивать свои права, а высокомерные литературные агенты, издатели и критики будут ставить условия, она начнет действовать в одиночку. Она жаждала известности, хотя ничего для этого не делала. Все, чего она добилась, хотя и это казалось мне переоцененным, осталось в прошлом: Линн была старостой в школе, играла за хоккейную и теннисную команды округа, выступала в заплыве за университет, считалась любимицей профессора Намьера, была на хорошем счету в Министерстве торговли и Министерстве военного транспорта. Она разделяла взгляды своего отца, успешного директора обычной средней школы Уэльса, тем более что ее преследовало чувство вины после смерти матери. Наш брак искрился от напряжения, но все же мы не расставались. Нашему браку придавала силы любовь, природу которой я не способен объяснить.

* * *

"Доктор болен" я написал за шесть недель. Так как Линн роман не читала, не было смысла спрашивать, узнала она себя или нет в Шейле Прибой, неверной жене. Во всяком случае, Шейла — темноволосая, Линн — блондинка, а для женщины сравнение ее с другой особой всегда вызывает сильный эмоциональный всплеск чувств. Все женщины, за исключением Энн Грегори[2], должно быть, признают, что белокурость и белокожесть никакой косметикой не заменишь. Насколько могла, Линн представляла себя героиней моих книг о Малайи, то есть белокурой, целомудренной аристократической дамой. Аристократический аспект был особенно важен, сверх того позволял ей воображать себя писательницей, куда более значительной, чем я. Важную роль здесь играло фамильное древо, монополизированное ее сестрой, учительницей начальной школы, и имя леди Шарлотты Ишервуд из Марпл-Холл[3] было вписано туда большими золотыми буквами. Аристокра-

1. Братья Белл — коллективный псевдоним, под которым выступали английские писательницы, сестры: Шарлотта (Картер Белл (1816–1855); Эмили (Эллис Белл (1818–1848) и Анна (Антон Белл (1820–1849).
2. Энн Грегори (1912–1990) — афроамериканская спортсменка, игрок в гольф. Ее называли "чернокожей королевой гольфа".
3. Полное девичье имя жены Бёрджесса — Ллуела Ишервуд Джонс; Марпл-Холл — школа в г. Марпл (Великобритания).

тическая ересь удобна тем, кто слишком ленив, чтобы развивать способности, или с горечью осознает, что у него их нет. Голубая кровь — отличный эрзац гениальности: для Ивлина Во его талант значил немногим больше приглашения к сильным мира сего. Разделение на классы — неоспоримый британский факт, и чем больше книг выходило из-под моего пера, тем больше Линн укреплялась во мнении, что я безусловный неудачник. Многие критики были согласны с ней. Для всех моих вымышленных героинь после Фенеллы Краббе, бывших для жены просто манекенами, она легко придумывала одежду. Однако ее не интересовало, как одетые ею женщины выглядят, чем занимаются. Когда был написан "Доктор болен", она надеялась, что роман будет продаваться. Хватит читать "Жизнь Джойса" Ричарда Эллмана, надо публиковаться и переходить к следующему произведению.

Джеймс Мичи из издательства "Хайнеманн" предложил мне взять литературного агента и посоветовал Питера Янсона-Смита. С романом под мышкой я поехал к нему на Чаринг-Кросс. Для Янсона — агента Яна Флеминга, профессора Норткота Паркинсона[1] и Гэвина Максвелла — я не представлял интереса, но он согласился работать со мной по доброте душевной. Он предложил роман издательству "Хайнеманн", там заключили со мной договор, но с маленьким авансом, который весь ушел на комиссионные агенту. Думаю, Янсон-Смит был хорош в своем деле, хотя я не знаю точно, что такое хороший агент. Тогда мне казалось, что самый лучший агент тот, кто может пристроить первый роман неизвестного писателя, но, похоже, таких агентов днем с огнем не найти. Когда я опубликовал "Время тигра", получил одобрительные отзывы, и все шло ко второму изданию, агенты стали заваливать меня письмами. Тяжелые времена я прошел один, в лучшие меня захотели сопровождать другие. На мой взгляд, агент должен выбивать хорошие гонорары, обеспечивать продажи за рубежом, экранизации. Все это продвигалось медленно. Не забывайте, я собирался жить на литературные заработки.

Дела пошли лучше, когда я прекратил иметь дело с агентами. Теперь я серьезно сомневаюсь в ценности литературных посредников. Сам издатель, если подумать, мало чем отличается от них. Мистер Дилли, книгопродавец, взял на продажу книгу Сэмюэля Джонсона, и хозяина магазина не пришлось убеждать выставить книгу в витрине. Основная троица в издательском де-

1. Сирил Норкот Паркинсон (1909–1993) — британский военный историк, писатель, журналист. Мировую известность приобрел как автор законов Паркинсона.

ле — автор, типографщик и продавец с кассовым аппаратом. В Америке эта троица может сократиться до одного человека. Молодой писатель, отчаявшийся, что издательство опубликует его книгу, печатает ее и затем продает на улицах. Помню, как молодой калифорниец написал интересную, но, в представлении издателя, не коммерческую книгу, в которой персонажи комикса о Попае[1] становятся фигурами в библейской аллегории. Он напечатал свое произведение на IBM и распродал копии. Продав четыреста экземпляров, он получил восемьдесят процентов прибыли. Так ему удавалось сводить концы с концами. Позже он стал наркоманом и умер, но это не бросает тень на саму практику. Если агенты и издатели жаждут бестселлеров, литературе придет конец, как и кустарным промыслам.

Когда раскручиваются бестселлеры, издатели с гордостью перечисляют языки, на которые они переведены. Но большое число переводов ни о чем не говорит. Задача агентов — найти иностранных издателей, но не переводчиков, и многие переводы никуда не годятся. Перевод книг писателей — назовем их классом 1, когда язык не несет важной функции, может быть не плох, но переводчик, имеющий дело с писателями класса 2, склонными к поэтическим эффектам, игре слов и языковым парадоксам, должен быть сам хорошим писателем. Я могу читать на нескольких индоевропейских языках и всегда прошу дать мне ознакомиться с переводом до публикации. Это трудоемкая работа, и мало кто из агентов жаждет или способен за нее взяться, но она необходима, если хочешь избежать грубых ошибок или перевирания текста. Многие переводы приходится отвергать по этим причинам. В моем последнем романе "Силы земные" приказ "ехать в Малайю и писать о фермерах, терпящих неудачи с тракторами ДТ", перевели на итальянский, как приказ писать о фермерах, занимающихся оральным сексом с богословами. Уважающий себя автор никогда не станет хвастаться количеством стран, где знают его произведения; он дотошно проверит точность и художественную ценность каждого перевода и поздравит себя, пусть и в преклонном возрасте, что окружен немногочисленными, но надежными сторонниками. Агенты же продадут твой роман хоть дьяволу, лишь бы монеты звенели. Эти ребята помешаны на деньгах.

Они — посредники между авторами и издателями, но автору кажется, что им все-таки ближе интересы издателя. Они могут ссориться с автором и даже отказаться от него как от помехи, но никогда не посмеют пойти против издателя. Ходкий товар

1. Моряк Попай — герой американских комиксов и мультфильмов, созданный художником-карикатуристом Элзи Крайслером Сегаром.

они ставят выше произведений высокой художественной ценности, которые иногда все же проникают в издательские списки в результате сделки: я передаю вам безусловный бестселлер при условии, что вы издадите неприбыльную вещичку Генри Джеймса. Идет! Агенты не очень озабочены литературными достоинствами произведения, их вполне устраивают просто грамотно написанные книги, лишь бы их можно было продать. Обычно более высокая критическая компетенция не требуется. Янсон-Смит осторожно высказал свое мнение о "Докторе..." и предложил внести кое-какие изменения. Я огрызнулся, и он отступил, понимая, что превышает свои полномочия.

Поездка в Лондон для встречи с ним, состоявшейся в офисе, о котором я помню только то, что там стояла большая канистра с бензином, должна была увенчаться визитом в Неврологический институт для взятия спинномозговой пункции. Я не пошел в институт, боясь, что узнаю об увеличении объема белка в спинномозговой жидкости, что могло сократить мне жизнь и не дать написать новый роман. Моя неявка, похоже, привела к обратному результату, потому что я получил письмо от сэра Александра Аберкромби, в котором он писал, что белок в моей спинномозговой жидкости падает со стремительной быстротой, что дает мне шансы на жизнь. Это вызвало не восторг, а новые страхи: теперь я с осторожностью переходил улицу. Если, как я задумал, у меня получится засесть за длинный роман о второстепенном поэте, живущем в уборной, боги, чтобы разрушить мои планы, могут послать мне злокачественную анемию или быстротечную чахотку. Теперь, когда смерть от опухоли мозга отступила, на свете осталось еще множество болезней, которые могли привести к летальному исходу. Жизнь — вообще смертельная болезнь, но всегда надеешься отодвинуть конец. При этом следует остерегаться того, что можно назвать биотической спесью.

* * *

Персонаж, которого предстояло назвать Эндерби, возник передо мной в ванной нашей хижины подле Бруней-тауна — видение, порожденное приступом малярии. Оно длилось какую-то долю секунды: сидя на унитазе, мужчина писал стихи. Я намеревался написать о нем роман в двести тысяч слов и назвать его просто "Эндерби". Но для богов смерти надо было сочинить что-нибудь поскромнее и покороче — скажем, "Мистер Эндерби изнутри". Затем, через какое-то время могло последовать продолжение "Мистер Эндерби снаружи" и, наконец, с героем можно было бы расстаться в "Конце Эндерби". Мне виделся очень некрасивый и одинокий мужчина средних лет, мастурбирующий холостяк, живущий в квартирке, похожей на ту, что

снимали мы с Линн. Он часто уединялся в совмещенном санузле и, закрывшись от остального мира, писал очистительные стихи в том месте, где действительно происходит очищение. Для жилья он выбрал самую маленькую комнату, хотя вскоре ему предстояло переселиться в большую — так величайшие столицы в истории, зарождавшиеся, как маленькие поселения, со временем становились мегаполисами. Елизаветинцы произносили Рим как "рум"[1], а арабы и по сей день говорят: "Наши мечи и звезда воссияют на руинах Рума" (вспомним "Хассана" Джеймса Элроя Флеккера[2] и сексуальное воспитание, которым я обязан леди из "Ассоциации образования рабочих"[3]). Эндерби женили против его воли и увезли на медовый месяц в Рим, но в брачные отношения он так и не вступил и сбежал, чтобы поскорей вернуться в творческое одиночество. Однако Муза, разгневавшись, что ее покинули ради женщины из плоти и крови, мстит ему и уходит от поэта навсегда. Эндерби пытается покончить с собой, но эта попытка кончается ничем. Плохое состояние здоровья убеждает его, что поэзия, как и мастурбация, — утехи юности, и его долг перед новой социалистической или материалистической Британией — повзрослеть. В этом ему помогает состоящий на государственной службе психиатр по фамилии Уопеншо, и в конце романа наш герой с нетерпением ожидает места бармена в большом отеле.

Финал здесь совсем не печальный. В романе "Доктор болен" филолог Эдвин Прибой не делает ничего полезного, в то время как еврейские близнецы, заправляющие подпольным клубом, по крайней мере, спаивают своих клиентов. Эндерби, однако, не чужд литературе, и его стихи что-то вроде пены на поверхности нездоровой и асоциальной жизни. Можно презирать и осуждать его образ жизни — действительно невыразимо убогий. С другой стороны, в нем можно видеть последнего упрямого индивидуалиста, молчаливого бунтаря, который живет в каждом из нас, поддерживая творческий порыв, пусть и обреченный на провал. Он не творит добро, но и вреда не приносит. "Мистер Эндерби изнутри" —

1. Так звучит по-английски слово, означающее "комнату", "место".
2. Джеймс Элрой Флеккер (1884–1915) — английский поэт, романист и драматург.
3. В "Маленьком Уилсоне и большом Боге", первой части мемуарной дилогии, рассказывается о том, как однажды юного Бёрджесса соблазнила сорокалетняя вдова, зарабатывавшая на жизнь чтением лекций в "Ассоциации образования рабочих"; искушенная в "науке страсти нежной", вдова преподнесла ему несколько важных уроков сексуальной грамотности: в частности, показала, как пользоваться презервативами, о чем писатель с благодарностью вспоминает на страницах своей "исповеди" (Burgess A. Little Wilson and Big God: Being the First Part of the Confessions of Anthony Burgess. — Vintage, 2012, p. 120).

произведение умеренно двусмысленное, как и его продолжения. В стихах, которые сочиняет наш герой, тоже присутствует некая двусмысленность. Вот, к примеру, стихотворение, явившееся ему незваным в туалете поезда, едущего на Чаринг-кросс; сам он предположил, что это песнь Девы Марии:

В летящем месте общего “толчка”,
Проглоченная мощным чревом Евы,
Сперма сектантов капала с бачка.

Я был нигде и был никто, пока,
Чтоб благодати получать напевы,
Не стал покорным сыном чужака.

И смех его бродил в этой дыре,
И рыба, и червяк кривили в смехе зевы,
Чтоб маску ту добыть, что носит он в игре.

И хоть, как голубок, он искупил
Всю плоть мою своею, но у Девы
Тщетной любви терзаний не убил[1].

Именно это — одно из трех стихотворений, ранее не приписываемых Эндерби, снисходительно похвалил Т. С. Элиот.

Так как приходилось писать стихи за Эндерби или воскрешать собственные, чтобы увеличить число его oeuvre[2], меня подчас идентифицируют с поэтом. Это не совсем справедливо. Я разделяю его тоску по своего рода дуализму, в котором нечистая плоть — очевидное свидетельство свободы духа. Эндерби, как и я, — католик в прошлом, но он еще и благочестивый затворник, воспаряющий над грешной плотью. У него, как и у меня, нескрываемый интерес к внутренним органам. До написания моего романа литература, за исключением “Улисса”, где на протяжении страницы, а то и больше, мистер Блум находится в дачном туалете, предпочитала не упоминать о работе кишечника. Рабле этого не стеснялся и был прав. Даже у сладкозвучного Шекспира в комедии “Как вам это понравится” меланхоличный персонаж по имени Жак не гнушается говорить о том, что надо бы “прочистить желудок грязный мира”, и ставит знак равенства между депрессией и запором. Реформация напрямую связана с запором Лютера. Я же, когда писал об Эндерби, страдал от сильного расстрой-

1. Перевод В. М. Сизова.
2. Здесь: совокупность произведений писателя (*франц.*).

ства пищеварения. У Эндерби больной желудок — он скверно питается. Одет он плохо, не чисто выбрит, а так как в его ванне вперемешку свалены поэтические наброски, засохшие сандвичи и дохлые мыши, он еще и довольно нечистоплотен. В отличие от него, у меня аккуратная уэльская жена, она следит за моей одеждой и готовит здоровую, простую еду. Мое расстройство, возможно, было связано с волнением о предстоящем будущем, на которое письмо сэра Александра Аберкромби позволяло надеяться.

Как я уже говорил, жена не открыла ни одной моей книги, кроме первой, но позволила прочесть ей в постели некоторые места из "Мистера Эндерби изнутри" и нашла их забавными. К кухне Эндерби она добавила блюдо под названием "Спагетти с сырным сюрпризом". Главный персонаж ей понравился, и в этом она не осталась одинокой. Возможно, многие женщины в глубине души — шлюхи. И многие из них не любят женщин.

Что до Эндерби, он боялся женщин и даже испытывал к ним физическую неприязнь, если только над фотографиями не поработали способные порнографы. Возможно, я слишком обобщаю, но за годы супружества у меня сложилось убеждение, что женщины представляют опасность для художника. В моем романе Веста Бейнбридж — вдова гонщика, хотя предпочла бы стать вдовой поэта. Почившие художники — находка для женщин, они становятся украшением, которое можно приколоть к изящному траурному платью. Однако живые, посвятившие себя творчеству, вечному сопернику женщин, — они невыносимы. Пишущие женщины не могут относиться к литературе слишком серьезно: они понимают, что их занятие всего лишь суррогат подлинно творческого чуда — рождения детей. Когда Мэри Маккарти предположила, что роман ближе к сплетням, чем к искусству, она выразила женскую точку зрения[1]. Те женщины, которые всерьез воспринимают свою творческую миссию, рискуют потерять себя. Им приходится подняться над биологией, и природа за это мстит. Они одиноки, а одиночество женщины переносят хуже мужчин. Само имя Эндерби говорит об одиночестве: Земля Эндерби расположена в Антарктиде. Ему нужен холод и одиночество. Женитьба его непременно разрушит. Колокольный звон, называемый "Невесты Эндерби", в стихотворении Джин Инджелоу[2] предвещает кораблекрушение.

1. В эссе 1960 г. "Реальность и художественная литература" ("The Fact in Fiction").
2. Джин Инджелоу (1820–1897) — английская поэтесса и писательница. С детских лет публиковала в периодике стихи и сказки, впоследствии ее "взрослые" стихи хвалил сам Альфред Теннисон.

Я готов к тому, что все написанное мною выше назовут чепухой и даже сам Эндерби не будет возражать. В основе его женоненавистничества лежит что-то очень простое и комичное. Ему ненавистна даже память о приемной матери, чье невежество и нечистоплотность распространились им на всех женщин. Чтобы лучше понять Эндерби, я воскресил в памяти свою мачеху и представил ее в романе хуже, чем она была на самом деле. Спустя десять лет я рассказал об этом в одном интервью. Кое-кто из ее живых родственников взяли мою книгу в библиотеке и, ознакомившись, рассвирепели. Символическое использование образа неприятной мачехи не вызвало интереса даже у непредвзятых читателей. Как и я, Эндерби рано потерял родную мать, не знал ее и идеализировал в образе Девы Марии. Но у Девы Марии был только один сын, и поэтому Эндерби оставил свои притязания. В первой главе его приемная мать как бы воскресает из мертвых, только для того, чтобы напомнить Эндерби, что у нее есть и другие воплощения: не только все женщины, но также море (la belle mer или la belle-mère[1]), государство и, прежде всего, католическая церковь. Уезжая из Рима, Эндерби пытается написать оду "мачехе Запада". Он мечтает о женщине, которая стала бы для него и матерью, и любовницей, но это инцест, поэтому он выбирает Музу. Но Муза далека от того, чтобы дать ему играть мужскую роль, она сама оплодотворяет его. Секс должен быть просто очистительным процессом, совершаемым, как и написание стихов, в уборной. Женившись на женщине, которая, как все женщины, скорее всего, со временем превратится в его мачеху, Эндерби совершает грех против искусства. Муза вправе его покинуть. После прохождения чистилища он должен отправиться в ад. Но ведь он комический персонаж, поэтому его извлекают из пламени и дарят второе рождение.

Место действия первой части романа — меблированная квартира в Хоуве, описанная весьма точно. Некоторые из характерных жителей Хоува вошли в книгу — завсегдатаи лесбийского кафе, беззубая ланкаширская кухарка, говорившая: "vol au vent's in 't' bloody cupboard"[2], сумасшедшая из приюта, верившая, что марксистское государство будет, как у Гегеля[3], в конечном счете раем на земле. Но Эндерби меняет место жительства, как сменили его и мы с Линн. Когда я дошел до середины романа, мы переехали в Восточный Суссекс, в деревню неподалеку от Этчингема, в двухквартирный дом с отдельным входом.

1. Игра слов: море (mer) и (mère) матушка (*франц.*).
2. "Паштет в этом чертовом шкафу" (смесь *франц.* и *англ.*).
3. По Гегелю, истинное государство — это духовный, нравственный союз людей, осознающих себя единым народом.

* * *

Этчингем расположен на железнодорожной линии между Танбридж-Уэллсом и Гастингсом. В двух милях от него находится деревня Беруош (ее часто произносят как Беррош), где жил Редьярд Киплинг. Выходит, пока писатель не купил "роллс-ройс" и не нанял водителя, он ездил на том же поезде, что и я. В Восточном Суссексе сложилось великое эдвардианское братство: Джеймс жил в Райе, Форд Мэдокс Форд — в Винчелси, однако я привез сюда свою пишущую машинку не по этой причине. Нас с Линн, как всех ищущих пристанище людей, чуть не довели до депрессии предложения разных агентств по недвижимости, и, когда мы случайно нашли это скромное, только что освободившееся жилище, еще не попавшее в лапы агентов, мы поскорее заявили на него права. Мне даже удалось внести задаток и заплатить очередной взнос по закладной. Но денег нам хронически не хватало, и обещанное мне врачами будущее обрастало серьезными проблемами. Было ясно, что творчество приносит мало денег: сто фунтов аванса, как во времена Форда и Джеймса, и тонкая струйка отчислений с продаж. Если каждый год писать по пять романов, мы просуществуем, но я сомневался, что вытяну даже четыре. Я завидовал моему Эндерби, чей небольшой доход в сочетании с скромными потребностями холостяка позволяли ему заниматься литературой. Я должен писать то, что будет читаться, и терпеливо сносить насмешки рецензентов над моей бездарностью. Но искусство не отпускало меня: подтверждением тому были небольшие продажи.

На воротах дома было написано "Яблочный сад". Довольно точное название, если принять во внимание, что в саду росли кривые деревья, приносящие кислые плоды. Перед домом — палисадник, поросший кустарником, а за домом — большой сад, тянувшийся до самой реки, называвшейся Доддер. После затяжных осенних дождей река выходила из берегов и затопляла овечьи пастбища вплоть до леса, где начинался Кентиш Уилд. Сад требовал ухода и времени — надо было косить траву, бороться с сорняками, сажать красную фасоль и разводить розы. Наше счастье, что Линн, не забывшая время, проведенное на природе, разбиралась в цветоводстве, и руки у нее были золотые. Еще мы поставили ворота для крокета.

В доме было три этажа. На верхнем, просторном чердачном, этаже мы устроили бар, с мишенью для дартс, зеркалом с рекламой виски, тремя китайскими высокими стульями и прочим добром, которое доставили медленным ходом из Брунея. Две помощницы из Новой Зеландии, замечательные девушки, упаковали наши вещи, но эти ящики долго стояли

на погрузочной платформе в Брунее в сезон дождей. Было видно, что эти ящики из камфарного лавра вскрывали на таможне в поисках опиума, и внутри мы нашли высохшую мышь. Купленная в Бруней-таун радиола работала. От некоторых книг, изъеденных термитами, остались только корешки и обложки. У картины Гилберта Вуда, изображавшей сцену в пабе, уже четвертый раз меняли раму. Понемногу дом обретал домашний вид. У нас жила кошка с котятами.

Прожив месяц на новом месте, мы купили щенка колли и назвали его Хайи. Из очаровательного лохматого малыша вырос большой сорванец. Называя его так, мы хотели установить какую-то связь между нашей английской жизнью и восточной интерлюдией. Его мать, колли по кличке Суки, обеспечивающая щенками добрую сотню учеников средней школы "Банбери", была умная и интеллигентная. Хайи же вырос хитрым, непослушным невеждой по части сексуальной жизни, за исключением каких-то извращенных форм: он недвусмысленно приставал к нашим гостям женского пола. Хайи охотился за овцами, а за ним охотились фермеры. Слово "улица" в любом контексте приводила его в истерический экстаз. Когда это слово произносили, Хайи реагировал просто на звук. Кристина Брук-Роуз написала роман под названием "Улица", и я стал использовать ее имя как синоним этого слова. Но Хайи впадал в тот же истерический экстаз — рвался на улицу и, задыхаясь, натягивал поводок. Выпущенный на свободу он дрался с другими собаками или нападал на их хозяев. Беременных овец он гнал до самого Кентиш Уилда. У него не было привязанностей, эти сантименты он оставлял нам.

На новом месте мы обустроились, но радости нам это не принесло. Деревенские жители не любили чужаков, и на них не произвело никакого впечатления, что в их среде завелся писатель. Писатель никак не вписывался в деревенскую иерархию. Кроме того, у них уже жил один писатель, поклонник лорда Альфреда Дугласа[1] по имени Руперт Крофт-Кук, которого арестовали за совращение матросов. Выйдя из тюрьмы, он стал писать и открыто заниматься сексом с мужчинами в Танжере. Писатели считались тут гнилым народцем, не то что адмиралы в отставке. Что с них взять — все они пьяницы и сексуальные извращенцы, встают поздно, только чтобы получить почту, в магазинах берут в кредит. А если ведут себя иначе, то вообще ни на что не годятся и пишут всякую муть, которую никто не читает. Кстати, такое мнение бытовало не только в анг-

1. Альфред Дуглас (1870—1945) — английский поэт и переводчик, близкий друг и любовник Оскара Уайльда.

лийских деревнях. В Хоуве тоже было неловко признавать себя писателем. “А какие вы пишете книги? Детективы? Триллеры?” Генри Джеймс трудился зря: признают только определенные жанры, лучше всего идут романы об ужасах и извращениях. Если вы скажете таксисту-французу: “Je suis homme de lettres” или немецкому бармену: “Ich bin Schriftsteller”[1], к вам отнесутся с уважением. Не так обстоит дело с соотечественниками Шекспира.

Писательских жен развратные деревенские трактирщики считали легкой добычей. Хозяин местного паба пытался изнасиловать Линн в дамском туалете. Та дала ему отпор. Мы перестали ходить в этот паб и лишь изредка ездили на автобусе в Беруш, где крестьяне, вдали от железной дороги, настроены к приезжим еще более настороженно. Говорили, что, когда наш мясник Нельсон Ярвис переехал из Беруша в Этчингем со всеми своими инструментами, он якобы воскликнул: “Прощай, берушская луна!”. Киплинг вырезал имя своего сына[2] на военном мемориале неподалеку от автобусной остановки, иначе писателя бы здесь забыли. А после местные владельцы магазинов продавали с большой выгодой для себя его чеки американским туристам.

Сосед отравил наших кошек и заявил в Общество защиты животных, что мы жестоко обращаемся с Хайи, но приехавший инспектор признал, что все обстоит как раз наоборот. Линн плохо спала, и доктор Улстерман из Херст-Грин прописал ей барбитураты. Она отлучила меня от постели, потому что я громко стонал во сне, и я перебрался на старенький диван в кабинете. Линн достала бочонок кентского сидра и пила его, смешивая с джином. Я был в мрачном состоянии духа и недостаточно оценил ее заботы по приведению дома в порядок. Хайи выл на этчингемскую луну и рычал, когда его осаживали. Напившись, Линн начинала бушевать, и тогда соседи колотили в стену. Мы установили телефон, и чуть ли не первый звонок был от сестры Линн, которая в очередной раз разбранила ее за то, что она нежилась на солнце и пила виски с содовой в Малайе в то время, как мать умирала. Она предлагала Линн прослушать запись голоса умирающей матери, наставляющей детей жить достойно и остерегаться секса. Линн вскрикнула и бросила трубку. Затем швырнула на пол салат, который я уговаривал ее съесть, разбила панцирь малайской черепахи и сломала серебряную салатную вилку.

1. “Я — писатель”.
2. Сын Киплинга Джон погиб в Первую мировую войну в 1915 г., его тело так и не нашли. Слова “Их имена будут жить вечно” на обелисках памяти героев принадлежат Киплингу.

Она заперлась в ванной и вышла оттуда со спокойным лицом, сказав только: "Так надо было сделать". Линн проглотила больше тридцати таблеток с барбитуратом.

В попытке самоубийства главное — жест. Нужно вызвать страх и сожаление у близких, которые недостаточно тебя любили. Таблетки подействовали почти сразу, и страх и сожаление сработали у нее быстрее, чем у меня. Она послушно глотала соль с водой, но уже в начале процедуры обмякла и ударилась головой о край умывальника. Я оттащил ее, уже потерявшую сознание и залитую кровью, на постель и вызвал скорую помощь. "Скорая" долго не приезжала, так что, можно сказать, единственные приметы деревни — это зелень и отсутствие помощи извне. Когда же она все-таки приехала, медики огорченно покачали головами: затрудненное дыхание жены становилось все слабее. Мы долго добирались до больницы под Гастингсом. Там подключили желудочный зонд. Я ходил взад-вперед, словно будущий отец, хотя вид у меня был более виноватый. Проходившие медсестры требовали, чтобы я потушил сигарету. Их холодные взгляды усиливали чувство вины. Что может служить большим доказательством жестокости мужа, чем попытка самоубийства жены?

Христианское богословие учит нас, что только Бог знает природу греха, и человечество демонстрирует глубину своего падения тем, что неспособно оценить свой грех в отношении высшей реальности. Представьте себе, что Бог — снежное поле, наделенное разумом, и, когда человек случайно мочится на него, тот содрогается от муки. Я ем мясо по пятницам и пропускаю воскресную мессу, а Бог страдает, рыдая от космической зубной боли. Мы недоверчиво к этому относимся, потому что мы — падшие люди. Мужчина становится менее скептическим, когда он без всякой задней мысли (если это действительно так) делает больно своей женщине. Между мужчиной и женщиной зияющая нравственная пропасть, и было бы лучше передать богословие в руки женщин, чтобы они, исходя из собственных представлений о нравственности, объяснили замысел Бога. Если верить Кьеркегору, Дон Жуан искал Бога в женщине. Я ходил по коридорам больницы и исследовал свою совесть. Я не знал точно, что плохого совершил, поэтому подозрения мои были самые чудовищные. Арабы употребляют слово *nusus*, когда говорят о неспособности мужчины выполнить супружеский долг, подразумевая под этим разные ублажения женщин. Неужели nusus привел ее к попытке самоубийства? Неужели у меня просто (но "просто" — мужское слово) не хватило нежности, внимания? Может, мой грех коренится в прошлом, когда я повез ее в тропики, довел до анорексии и подсказал утеше-

ние в джине? А может, она страдала от близкой перспективы моей смерти, хотя теперь такой перспективы уже не было?

Я навещал ее в больнице дважды в день и, следовательно, весь день проводил в Гастингсе. Только что женившемуся Эндерби предстояло долго дожидаться медового месяца в Риме. День в Гастингсе проходил в пабах, если они были открыты, или в кино, если закрыты. Здешние пабы мне не нравились. К примеру, заказываешь джин с тоником и со льдом, а приносят джин с одним тоником и говорят, что льда нет. Я впадал в ярость: теплый джин все равно что рвотное, и уходил в раздражении, находясь и сам на грани нервного срыва. Именно тогда я посмотрел фильм "Потопить 'Бисмарк'"[1], где сцены разрушений производили впечатление без каких-либо мелодраматических эффектов. Как было бы хорошо жениться на спокойной темноволосой женщине, офицере вспомогательной службы военно-морских сил с акцентом ученицы Роудин-скул. Линн была слишком агрессивной. К ней прибывали силы, и она гневно набрасывалась на меня за то, что я ее спас. Она вспоминала рассказанную в детстве историю о буром медведе, который скатывался в клубок, когда наступала зима, а весной "раскатывался". Но однажды он так и не сумел развернуться. Ей хотелось видеть себя этим медведем. Она плакала о нем и о себе. Когда ее выписали из больницы и привезли домой, я поставил себе задачу — стать лучше. Похоже, я многого достиг, но этого явно не хватало. Меня сбивала с толку книга женского богословия на непонятном языке.

Палатная сестра в очках на заостренном носу была ярой пресвитерианкой. Линн возмущало ее осуждение всех грехов, в том числе и гражданских правонарушений. Если с позиций медсестры рассматривать жизнь, то ничего, кроме смертного приговора, заслужить нельзя. Но когда у Линн после промывания случилось нечто вроде эпилептического припадка: она покачнулась, и на губах у нее выступила пена, медсестра утратила свою обычную суровость и стала, напротив, внимательной и даже проявила чуткость. Вернувшись в Этчингем, я увидел, что Хайи описал весь ковер, а заодно обгрыз ножку стола. Я приготовил свежего цыпленка в бренди (а это более эффективное рвотное, чем теплый джин). Но тут на пороге появилась Линн, приехавшая во взятой напрокат машине. Ее, хорошо одетую и даже с накрашенными губами, привели в кабинет больничного психиатра, откуда она с визгом выбежала, когда тот стал уверять ее, что все суицид-

1. "Потопить 'Бисмарк'" — английский фильм (1960), режиссер Льюис Гилберт.

ные проблемы от неправильно выбранного партнера. Она тут же выписалась из больницы.

Стояло великолепное начало лета, все цвело, пели птицы. Линн налила себе джину с сидром и твердо пообещала, что таких эксцессов в будущем не повторится. Никто из нас не приписывал ее состояние алкоголю. Мы заснули в одной постели, и я в утешение ее обнял. Это была робкая попытка возобновления супружеского долга. Потом я захрапел и был сразу же изгнан на диван в кабинет. Вскоре в свободную спальню внесли кровать, гардероб, комод, и я подолгу лежал там, прислушиваясь к доносящимся из спальни горестным стенаниям и обдумывая сюжетные ходы трех романов.

* * *

Изначально роман – развлечение, которое должно доставлять удовольствие автору. Каждое утро после завтрака, поднимаясь к себе в кабинет, я испытывал чувство вины, что иду развлекаться. Я жонглировал словами, чтобы развеяться, и страдал, не понимая толком, что творится внизу. Немцы, особенно Томас Манн, употребляют термин *Kunstlerschuld* (вина творца) для обозначения подавленного состояния художника при мысли о его легкомысленном существовании в мире, где люди совершают однообразную, но полезную работу. Моя Kunstlerschuld была глубоко личная: мне помогало справиться с ней сознание, что я пытаюсь заработать нам на жизнь. Линн напоминала мне об этом, крича снизу, что давно не слышит стука машинки. До нее не доходило, что сочинительство состоит на девять десятых из размышлений и только на одну десятую из печатания. В конце июня я закончил "Мистера Эндерби изнутри". Комическое, неудачное самоубийство Эндерби должно было изгнать из памяти далеко не комическую попытку самоубийства Линн. Я послал рукопись Янсону-Смиту, не оставив экземпляра себе. Никогда не делал копий – даже на Малайе или Борнео. У меня сохранялась наивная вера в почту. По мнению Янсона-Смита, напечатать книгу будет нелегко, ибо в ней слишком много внимания уделяется уборной. Лучше попробовать написать что-нибудь еще.

"Право на ответ" появилось тем же летом. 30 июня неизвестный обозреватель в литературном приложении к "Таймс" написал: "Книга забавна, первоначально чувствуется даже некоторый перебор комизма, который в конце оборачивается жестокостью. Наиболее правдоподобны сцены в местном пабе, но сам городок из центральных графств описан весьма неприязненно появившимся здесь чужаком. Читатель может задаться вопросом, насколько важен и важен ли для него изложенный в книге житейский опыт автора". Этот не на-

званный город — Лестер, где мы с Линн провели большую часть отпуска после жизни на Дальнем Востоке. На фоне этого самодовольного и ограниченного города я описал драму супружеской неверности и убийства из ревности; главная тема казалась мне достаточно важной: сложности, которые могли возникнуть у Британии с новыми иммигрантами из Азии.

Джон Колмен из "Спектейтора" отозвался так: "Это не самая лучшая из книг Бёрджесса. Писателю следует немного обуздать свою изобретательность: он был бы первоклассным комедийным автором, если бы сбросил шутовскую маску и прямо посмотрел бы в глаза действительности". Р. Дж. Дж. Прайс из "Панча" написал: "Не понимаю, почему все видят в мистере Бёрджессе шутника. У него зоркий глаз и такой же унылый взгляд на жизнь, как у Гиссинга[1], хотя этот 'Гиссинг' с чувством юмора — он подмечает любой комедийный аспект в опустошенном мире".

Понимают ли критики, насколько романисты нуждаются в помощи, как жаждут, чтоб им подсказали, в чем они неправы и как можно исправить недочеты? Ведь пока они не достигнут того положения, когда им будут посвящать отдельные статьи и писать о них академические диссертации, приходится полагаться на высокомерные отзывы в еженедельной прессе. Обо мне писали немного. Солидные воскресные газеты проигнорировали книгу. Как и Линн, хотя отзывы она прочитала. И вынесла суждение: "Мистер Бёрджесс не оправдывает ожиданий". А затем после субботней пьянки в Робертсбридже, где в свое время Хилэр Беллок[2] пил портвейн, а теперь прослыл литературной знаменитостью Мальколм Маггеридж[3], Линн второй раз пыталась покончить с собой.

В этот раз я силой извлек из нее таблетки и выбросил пузырек в мусорное ведро. Хайи прыгал вокруг и лаял, а новый рыжий котенок вспрыгнул с широко раскрытыми глазами на псевдокаролинский шкафчик, подаренный нам на свадьбу. Доктор приехал вместе с молодым человеком в шляпе с низкой тульей. Это был чиновник, направляющий психически больных в соответствующие клиники графства. Он привез с собой уже заполненную форму, которую доктору оставалось только подписать. Словно ко мне это не имело никакого отношения. Я

1. Джордж Гиссинг (1857–1903) — английский писатель, крупнейший представитель натуралистического романа.
2. Хилэр Беллок (1870–1953) — английский писатель, историк и поэт; родился во Франции.
3. Малькольм Маггеридж (1903–1990) — английский журналист, писатель-сатирик. Во время Второй мировой войны сотрудничал с британской разведкой.

вышвырнул молодого человека на улицу. Он даже не сопротивлялся — видимо, уже привык к таким выходкам мужей. Линн агрессивно реагировала на решительный голос доктора. Какова бы ни была причина этой суицидальной депрессии, ей следовало бросить пить. Но пить она не бросила, и я ничего не мог с этим поделать: перечить ей было невозможно. Когда импульс к саморазрушению возвращался, что происходило несколько раз за год, самоубийство казалось ей самым простым выходом. Барбитуратов теперь в доме не было, зато были кухонные ножи. Когда на Линн снова накатывало, ей звонили из организации под названием "Самаритяне", говорили разные утешительные слова, но она их не слышала из-за рыданий. Я связался по телефону с букмекером из Танбридж-Уэллса и договорился, чтобы Линн открыли счет профессионального игрока. Это помогло. Она следила за скачками в "Дейли миррор" и проигрывала только три-четыре фунта в неделю.

А у меня тем временем были свои сложности, которые не имели никакого отношения к напряженной работе ради денег. По ночам я просыпался от невралгии тройничного нерва — боль удавалось приглушить только табаком и крепким кофе. Я поехал к дантисту во Франт, и он диагностировал воспаление резавшегося зуба мудрости. Вырывая, он его сломал. Пришлось ехать в больницу неподалеку от Танбридж-Уэллса, где мне извлекли зубной корень под общим наркозом. Теперь надо было какое-то время пробыть в больнице, хотя я надеялся, что никогда сюда больше не попаду. Но главная проблема заключалась в том, что Линн не могла оставаться ночью одна — даже с собакой, которая начинала носиться, как угорелая, при одном предположении, что где-то зашуршала мышь. Линн боялась темноты, этот страх зародился в темном военном Лондоне, когда во время светомаскировки на нее напали четверо американских солдат-дезертиров. Линн боялась не мрака как такового, а тьмы своего спящего сознания. Замужняя дочь нашего бакалейщика согласилась спать на моей кровати, если сменят белье. Если история не затянется, она была готова остаться еще на несколько ночей. Нью-йоркский издатель У. У. Нортон купил "Право на ответ", шли переговоры о том, чтобы мне ехать в Соединенные Штаты для улаживания дел. Но Линн наложила запрет: столь долгого отсутствия она не выдержит.

Оказаться в больничной палате — сродни возвращению в мужское братство. Война закончилась пятнадцать лет назад, но во многих из нас жила ностальгия по ностальгии: вдали от дома мы хотели вернуться к родному очагу, а оказавшись дома, стремились назад. В палате двое больных прочли мой первый роман. Приятно, когда тебя ценят и одобряют, и ты можешь на время вырваться из давящей атмосферы жизни с

женщиной, готовой в любую минуту завопить и начать бить тарелки. Больница стала для меня местом краткого отдыха. На спине – там, где у меня брали пункцию спинного мозга, образовалась большая киста. Чтобы продлить пребывание в больнице, я попросил ее вырезать. При этом я испытывал чувство вины.

Мы с Линн постепенно приноровились к деревенской жизни, оживляемой, в основном, пьянством и угрозами покончить с собой. Один человек, чиновник Министерства национального страхования, регулярно наведывался к нам: он не мог уразуметь, почему я не заполняю карточку. Этот мистер Стэнли, человек из хорошей ланкаширской семьи, во время первого визита с любопытством смотрел на меня поверх стакана с джином. А я с любопытством смотрел на него поверх своего. Раньше он был Братом Джоном Вьянни в Колледже Ксавьера[1] в Манчестере и обучал меня основам латыни. Подобно многим сокурсникам, он ушел из ордена и женился. Воспоминания о годах в Манчестере благотворно сказывались на Линн. Как-то она пришла в колледж на танцы, и Брат Николас застукал нас в библиотеке для старшеклассников, где мы пылко занимались любовью. Позже воспоминание о Манчестере вернулось с визитом Джорджа Двайера[2], моего кузена, в настоящее время епископа Лидского. Тогда Линн встретилась первый раз со строгим католическим богословием в ланкаширском стиле. Она воскрешала в памяти уроки средневековой истории в средней школе Бедвеллти, говорила о святом Фоме Аквинском и пыталась дать определение мистицизму. Джордж Двайер знал о моем вероотступничестве, и я резко заявил ему о нежелании возвращаться в лоно церкви. Обратившись к Линн, он предупредил ее об ответственности за спасение души мужа и привел убедительные доказательства существования ада. В церковь она так и не пришла, но стала относиться к ней с бóльшим уважением, чем раньше. Даже если ад – вымысел, самоубийцы уже два тысячелетия окружены ореолом пламени. Il fallait tenter de vivre[3].

* * *

Я раскопал пожелтевшую рукопись моего старого романа "Червь и кольцо" и сел его переписывать – по возможности смягчая юмором чувство вины пред католической церковью.

1. Римско-католический колледж в Манчестере основан в 1862 г. В этом колледже учился и Бёрджесс.
2. Джордж Патрик Двайер (1908–1987) – английский прелат римско-католической церкви, 6-й епископ Лидса.
3. Нужно пытаться жить (*франц.*).

Приведя за месяц роман в порядок, я послал его Янсону-Смиту. Тот передал рукопись вместе с "Мистером Эндерби изнутри" Джеймсу Мичи из "Хайнеманна". Вначале он показал ему туалетные сцены. Мичи ничего не отверг, но и не одобрил, решив, что со временем это можно будет напечатать, но под другой фамилией. "Что там еще у вас?" — спросил он так, будто я — известный бренд, массово поставляющий "сортирную" литературу. Тогда Янсон-Смит извлек "Червя и кольцо", и его сочли вполне заслуживающим издания в 1961 году. Рональд Гант, старший редактор, отвергший роман в 1954-м, теперь оценил его высоко. Мне заплатили еще один аванс, и он опять не превышал те, что платили во времена Форда Мэдокса Форда и Д. Г. Лоуренса.

Получив половину авторских отчислений, я застонал от отчаяния: заработать на жизнь сочинительством оказалось невозможно. Продали пять тысяч экземпляров "Времени тигра", и я по глупости предположил, что и остальные части будут продаваться не хуже. Но "Врага под покрывалом" запретили из-за иска по делу о клевете, а "Восточные постели", похоже, не могли предложить обычному читателю ничего, чего не было бы во "Времени тигра". Первая книга трилогии относительно хорошо распродалась из-за окрашенной грустным юмором экзотики — в этом было что-то новое. В ней также в манере журналистов-всезнаек подавалась информация об условиях жизни в далекой стране, раздираемой идеологической войной. Когда читатели покупают книгу, они ищут в ней секс, насилие и достоверную информацию. Все это в избытке поставляет Артур Хейли, чьи герои обсуждают проблемы гостиничного бизнеса, попутно завязывая романы, пока их зверски не избивают. Читатели, которых интересовало описание Малайи, получили то, что хотели, во "Времени тигра". Третья книга была уж совсем лишней — продали меньше трех тысяч экземпляров.

Но, как всем известно, есть очень богатые писатели. Существует такая категория — бестселлеры и их авторы, и даже вроде бы имеется формула, какие книги продаются хорошо, а какие — еще лучше. Есть даже заочные колледжи по переписке, которые обучают этой формуле. Однако непонятно, как профессора, владеющие ею, не поднимутся выше простого преподавания. Как-то в одном из офисов "Хайнеманна" я взял в руки корректуру нового романа Невила Шюта[1] "Опекун из мастерской" и ясно понял, почему книге предназначе-

1. Невил Шют (1899–1960) — английский писатель и инженер. Наиболее известен его роман "На берегу" (1957), по которому снят не менее известный фильм Стэнли Крамера (1959).

но быть бестселлером. Секса и насилия в ней было мало, но она была напичкана информацией, подчас весьма технического свойства. Характеры были одномерными, то есть живыми они быть не могли. Стиль, насколько я понимаю, вовсе отсутствовал; правда, Невил Шют, про которого я знал, что он профессиональный авиационный инженер, публично заявлял, что такого рода претензий у него нет. Было ясно, что литературное образование вовсе не требуется для ремесла популярного романиста. Как только вы начинаете употреблять слова вроде "златовласый" или "эзотерический" и вам нравится их звучание, можете ставить на себе крест. С другой стороны, стоит писать о секциях притяжения и конечной амплитуде волн: ведь магия этих слов проистекает из серьезной области — технологии.

Пришлось признать, что я тот, кто есть, а мои книги — это я сам. Для меня единственный путь выплачивать ипотеку и счета торговцев — предлагать читающей публике себя самого и как можно откровеннее. Так, после выхода в свет романов "Червь и кольцо" и "Мистер Эндерби изнутри" я переработал мою стихотворную пьесу "Канун святой Венеры" в повесть. "Хайнеманн" ее не принял. Тогда я попробовал писать одновременно два романа: один под названием "Я верю тебе и люблю", основанный на четвертой книге "Энеиды", где любовь Дидоны и Энея превосходит размах Вергилия; и второй — "Запечатан любовным поцелуем" по мотивам "Нельзя ее развратницей назвать" Джона Форда[1], зловещей истории инцеста брата и сестры. Это заняло у меня месяц. Я перечитал "Саламбо", чтобы побольше узнать о древнем Карфагене, но этого мне не хватило. Я не мог пойти дальше Вергилия и оживить Энея, а в романном изложении сюжет Джона Форда был просто нелепым. В отчаянии я напечатал новое название — "Заводной апельсин"[2] — и задумался, какая история может ему соответствовать. Мне всегда нравился лондонский кокни, и я чувствовал, что в этом слове должно быть нечто большее, чем странная метафора некой, не обязательно сексуальной, эксцентричности. Какие-то образы вдруг зародились во мне.

Вернувшись домой из экзотических стран, мы с Линн обнаружили новое британское явление — банды озлобленных тинейджеров. Приезжая в отпуск в 1957—1958 годах, мы ви-

1. Джон Форд (1586—1649) — один из крупнейших английских драматургов шекспировского времени.
2. Энтони Бёрджесс подслушал это словосочетание в лондонском пабе в 1945 г. и решил, что оно из кокни — жаргона обитателей рабочих слоев Ист-Энда. Оно понравилось писателю соединением органического живого тепла и механического холода.

дели в кафе молодых людей, их называли пижонами или "тедди бойс"; они были элегантно одеты в эдвардианском стиле, носили туфли на толстой подошве и изысканные прически. Они казались слишком изысканными для грубых потасовок, но люди потрусливее их все же боялись. Разочарованные послевоенным падением роли Британии как мировой державы, эти парни казались воплощением Zeitgeist[1], и только одеждой напоминали о времени экспансии при Эдуарде VII. Первоначально их называли эдвардианскими задаваками. На короткое время этот стиль обрел популярность даже в Малайе, где местные военнослужащие носили подобный наряд в свободное от службы время. Тяжелое зрелище — видеть, как молодые малайцы и китайцы потеют в шерстяных костюмах. Теперь, в 1960-м, место стиляг заняли хулиганы, одетые как придется. Одних, носивших модную, современную одежду, называли "модами", а вторых — "рокерами", они разъезжали на мотоциклах с разными железными прибамбасами, в черных кожаных куртках. Второе издание Оксфордского словаря справедливо указывает на кожаные куртки рокеров как на признак принадлежности к определенной группе, но ошибается, полагая, что свое название они получили из-за любви к рок-н-роллу. Направляясь к Гастингсу, мы с Линн видели, как моды и рокеры от души молотят друг друга.

Похоже, молодые люди были просто приверженцы агрессии как таковой. Они представляли манихейскую модель[2] Вселенной, в основе которой противопоставление двух начал: инь — ян, х — у. Я догадываюсь, что эта бесцельная энергия новой молодежи, сытой, с деньгами в карманах основательно нарушала общественный порядок. Конечно, эта энергия возникла не на пустом месте и не была такой уж "новой". Во времена Елизаветы I бывало затевали бунт и подмастерья, но с ними быстро расправлялись — иногда вешали тут же на месте. Сначала я подумывал написать новый роман на историческую тему — о конкретном бунте ремесленников в 1590 году, когда юные головорезы избили женщин, которые, по их мнению, продавали яйца и масло по завышенной цене. Тогда, кстати, и Уильям Шекспир мог поскользнуться на скользкой от крови и яичных желтков мостовой и сломать себе бедро. Но, в конце концов, я решил пофантазировать о недалеком будущем — годах, скажем, семидесятых, когда юно-

1. Дух времени (*нем.*).
2. Манихейство — синкретическое религиозное учение, возникшее в III в. на территории современного Ирана. Оно исходит из того, что основной принцип бытия — вера в два извечных начала: добро и зло.

шеская агрессивность достигает такого накала, что правительство решает покончить с ней "павловским" методом негативного воздействия на организм. Я понимал, у романа должна быть метафизическая или теологическая основа: молодежи дана свобода — выбрать добро или зло, причем предпочтение обычно отдается злу; далее — искусственное уничтожение свободной воли у некоторых индивидуумов с помощью научных методов. И тут возникает вопрос: не будет ли с религиозной точки зрения такое решение проблемы еще большим злом, чем свободный выбор зла.

Во время работы над таким романом возникли не те сложности, которые озадачили бы Невила Шюта, — меня беспокоила проблема стиля. История должна быть рассказана парнем из будущего, а значит, необходимо придумать его собственную версию английского языка: частично это будет сленг его группы, а частично — его индивидуальная манера. Не было смысла писать книгу на сленге начала шестидесятых: сленг — явление эфемерное, и к тому времени, когда рукопись отправится в набор, от нее будет нести нафталином. Тогда это казалось мне неразрешимой проблемой. Значит, придется изобретать сленг 1970-х, а меня колотило от одной только мысли, что он будет надуманным. Я засунул в ящик наполовину написанный на сленге шестидесятых черновик и засел сочинять что-нибудь другое.

* * *

Насколько хорошо я понимаю женщин? Это можно выяснить, превратившись в женщину или скорее в девушку, непосредственную, простую, необразованную, чьи женские свойства не утратились из-за книг или рефлексии. Писать буду от первого лица — девушки из супермаркета, хорошенькой, никогда не унывающей оптимистки, муж которой, мрачный молодой человек, подозревает, что весь мир катится к черту, но из-за своей необразованности, не понимает по какой причине. Окружение супружеской пары я мог с лихвой почерпнуть из "Дейли миррор", ставшей теперь единственным чтением Линн. Публичной библиотеки, откуда я приносил бы ей дешевые романчики, поблизости не было, но их заменил телевизор — особенно нравился Линн коммерческий канал из Саутгемптона. Там еженедельно проводились телевикторины с денежными призами; вел викторины канадец по имени Хью Грин. Когда в тридцатые годы Майкл Каллахан приносил в библиотеку старших классов "Радио таймс", чтобы обвести карандашом свои любимые программы ("Танцуй до упаду" с Джеральдо и его оркестром, "Труаз и его ансамбль мандолинистов"), мы часто видели на обложке Хью Грина, юношу нашего возраста, во фраке,

радостно улыбающегося, поющего и танцующего, нахального и дружелюбного — юную звезду. Как мы его ненавидели! Теперь он превратился в серьезного, седеющего человека, с трудом произносившего некоторые особенно сложные слова в викторине. Обязательно вставлю его в роман.

Писать книгу было легко и весело: для месячной работы над ней коммерческое телевидение и "Дейли миррор" давали мне все необходимое. Муж героини работал агентом по продажам подержанных автомобилей, и потому мне пришлось изучить разделы объявлений об их продаже, а также выпить с одним типчиком в пабе святого Леонарда, знавшим все тонкости "омоложения" подержанных тачек. Со словарным запасом и произношением девушки тоже проблем не было: каждый вечер мы слышали такую болтовню по телевидению. Ее муж сначала мрачно следит за викториной, но денежные призы его прельщают. Он вступает в игру как специалист по английской литературе, о которой ничего не знает, окончив, как и жена, неполную среднюю школу. Однако его воображение волнуют великие бородатые мужчины из прошлого, книги которых предупреждают о зле и грядущих катаклизмах, и эти книги, он знает, ему никогда не прочесть. Но у молодого человека фотографическая память, и он начинает поглощать знания по литературе из энциклопедий. Теперь он ходит неделя за неделей на все викторины и без труда отвечает на самые каверзные вопросы. Однако, когда приходит вопрос на тысячу фунтов — кто автор "Хорошего солдата"? — он дает, в соответствии с данными энциклопедии, ответ: Форд Мэдокс Хеффер[1], но ответ не принимают. Правильный ответ — Форд Мэдокс Форд. В зале напряжение, тяжелое дыхание, зловещая музыка на органе Хаммонда, крики взволнованных зрителей. Но эксперты разъясняют: подходят оба имени. Чувство облегчения и радости у всех.

Молодой человек, не испытывающий никакой радости (ведь победили его фотографические мозги, а не он сам), открывает у себя еще один невероятный дар: путем концентрации внимания он может предсказать в "Дейли миррор" результаты заездов на следующий день. Все призовые деньги он тратит на ставки и быстро богатеет. Не питая никакого доверия к миру, он все же считает своим долгом посмотреть его. Они с женой едут в Америку, отдыхают на Карибах, останавливаясь в самых роскошных отелях, а по возвращении домой

1. Данное английскому романисту Форду Мэдоксу Форду (1873–1939) при рождении имя было Форд Германн Хеффер, затем он сменил его на Форд Мэдокс Хеффер, а в 1919 г. стал называть себя Форд Мэдокс Форд.

молодой человек объявляет жене, что им обоим надо умереть. Мир, погрязший в грехе, они повидали, и теперь лучшее, что можно сделать, — это его покинуть. Он протягивает жене снотворные таблетки, но та отказывается их пить и, сопротивляясь, убивает мужа. Потом бежит во Францию, прихватив оставшиеся деньги, а самого его везет в сундуке из камфарного лавра — такой мы с Линн купили в Малайе. В результате его труп, обклеванный птицами до костей, торчит на французском поле, как пугало. Довольно жуткий конец, но он не поколебал оптимизма моей героини. Из двух рук, сжатых в рукопожатии, осталась одна, но она аплодирует. Отсюда название книги из дзен коан[1] — "Однорукий аплодисмент". Я отправил роман Янсону-Смиту на рождественской неделе 1960 года. Его опубликовали следующей осенью под псевдонимом Джозеф Келл. Так появилось новое имя, а на новые имена деньги не тратят. Книга камнем пошла ко дну.

Сомневаюсь, что ее можно будет воскресить в Британии или в Соединенных Штатах. Сын Джона Миддлтона Марри[2] позже написал биографию своего отца под таким же названием, и ни один из нас не может претендовать на него. Дать роману новое название? Это будет похоже на мошенничество. Книга всегда как бы заключает в капсулу ушедшее время и его дух, и я не могу думать о ней иначе, как об отыгранной партии, принесшей мне сотню фунтов или около того. Кстати, в Восточной Европе роман имел запоздалый успех. Его расценили как приговор загнивающей культуре, в основе которой лежит извлечение прибыли, приговор всей жизни капиталистического Запада: лучше умереть, чем с этим жить. В Варшаве роман адаптировали для телевидения, в Будапеште из него сделали мюзикл. Его читали и в Восточной Германии. Он был одной из двух моих книг, известных в бывшем Советском лагере. Надо ли говорить, что как автор я не получил ни гроша.

Поздней осенью 1960 года опубликовали "Доктор болен". Как лондонский роман, он получил отклик — правда, единственный — в "Ивнинг стандард". Отечественные критики были весьма сдержанны. "Мистер Бёрджесс, — говорилось в литературном приложении "Таймс", — настолько стремится бежать в ногу со временем, что безнадежно отстает". Мой "специалист по котлам"[3] признает себя извращенцем — предполагалось, что

1. Дзен коан — явление, специфическое для дзен-буддизма. Это короткое повествование, афоризм.
2. Джон Миддлтон Марри (1889–1957) — английский писатель, журналист и литературный критик. Его сын Дж. Миддлтон Марри-мл. написал биографию отца под тем же названием, что и роман Бёрджесса.
3. Имеется в виду мазохист Боб Каридж, персонаж романа "Доктор болен".

такие вещи отошли в прошлое. Но, похоже, все возвращается и скоро будет дополнением к эротичной одежде из кожи". "Панч" счел диалектный юмор тяжелым, как "надгробный камень", а краткое — на пятьдесят страниц — произведение слишком длинным. Поэт Джеффри Григсон из "Спектейтора" счел "фантазию слишком уж нереальной, а это не работает", и закончил рецензию так: "Романист использует слова, которые ничего не значат, никак не связаны между собой и не заслуживают доверия, а его так называемые "суперостроты" (цитаты из Уэбстера, Элиота, Одена) нисколько не смешны". Морис Ричардсон писал в "Нью стейтсмен": "Будь это первый роман, я счел бы его любопытным, а автора перспективным. Но он четвертый, и потому назову его досадной осечкой". На самом деле роман был пятым. "Частично неудача в том, что опухоль мозга не предмет для веселья, здесь уместнее философический тон".

Я много думал, зачем нужны все эти рецензии. Конечно, приятно, когда тебя замечают, даже если осуждают или устало поругивают, создавая при этом впечатление, что сам рецензент выполнил бы работу гораздо лучше, имей он время. Я даже симпатизировал этим ремесленникам от искусства, на которых обрушивался мощный поток новых сочинений, которые надо быстро и кратко оценить. Но больше всего меня тревожило сознательное отсутствие эстетического подхода в сугубо личных оценках. Я был готов учиться писать лучше, но критики или не умели, или не хотели направить меня на правильный путь. Позже я выяснил, что у Джеффри Григсона вызвала неприязнь сама моя личность ("грубая и непривлекательная"), проявившаяся в стиле и теме произведения, — несправедливое основание для презрительного отношения к книге. Я и мои собратья по перу отчаянно нуждались во вдумчивой критике, а не в разгромных рецензиях. Чтобы увидеть разумный подход и даже извлечь из него пользу, я должен был дождаться публикаций в Америке. Моя страна меня разочаровала.

Конечно, основная задача газетного рецензента — информация. Примерно в это время я познакомился в пабе с мужчиной, который важно заявил, что не нуждается в рекомендациях рецензентов: он сам может решить, что ему читать. Если он читает книги Денниса Уитли[1] и ему подобных, выбор сделать не трудно, но, если он поклонник интеллектуальной литературы, тут задача посложнее. Издательства печатают анонсы, но они не объективны. Нужна когорта скромных книжных рецен-

1. Деннис Уитли (1897–1977) — английский писатель, очень плодовитый, автор триллеров и оккультных романов; один из самых продаваемых в 1930–1950 гг.

зентов, чьи пристрастия были бы, по крайней мере, не коммерческого толка. Но нельзя обойтись и без серьезной критики, ее в Британии немного — главным образом потому, что это академическая дисциплина, нацеленная на изучение литературы прошлого. В Соединенных Штатах ситуация другая.

Возвращение в Англию совпало с annus mirabilis[1], иначе говоря, чудесное избавление от смерти свершилось или отложилось на неопределенное время. Закончилась и бешеная работа над романами — одновременно с появлением средних размеров индейки на столе и красной ленты на шее Хайи. Я занялся пересмотром ценностей, не видя большого смысла в том, что было, по существу, навязанным ремеслом. В читательском мире я был не известен, зато меня знали в педагогической среде. Знали благодаря моей "Истории английской литературы", написанной с точки зрения экспатрианта, живущего в тропиках, но пришедшейся ко двору и в более холодном климате. Для преподавателей английской литературы проводился краткий курс в Оксфорде на Пасху, и меня попросили прочесть лекцию о подходе к изучению литературы. Что ж, если меня по-прежнему считают преподавателем, пожалуй, стоит вернуться к основной профессии и получать стабильное жалование. В январе 1961 года школы Кента и Суссекса сокрушались по поводу временной нехватки учителей. Я написал заявление в департамент Кента от своего настоящего имени с просьбой принять меня на вакантную должность. Ответ гласил, что после длительного перерыва в преподавании мне следует пройти курсы повышения квалификации. Я могу пройти такой курс в Оксфорде на Пасху. Так что мне предстояло узнать многое от самого себя.

* * *

Одна из лучших рецензий на "Право на ответ" появилась в "Дейли телеграф". "Комедию с такой язвительной усмешкой мир не видел со времен 'Меры за меру'. Тонкая ирония, неистовое остроумие и первоклассное развлечение". Эту высокую оценку я получил от Кеннета Янга, литературного редактора "Телеграфа". Сейчас, став главным редактором "Йоркшир пост", он написал мне, не захочу ли я делать два раза в месяц обзоры современной литературы. Жалованье небольшое — шесть фунтов статья, но дело престижное. "Йоркшир пост" — известная газета, которую внимательно читали миллионеры из Брэнфорда, и торговцы из Шеффилда, и представители по-

1. Год чудес (*лат.*). В Англии так называют 1666-й — год Великого лондонского пожара.

следних твердынь консервативной культуры. Я принял предложение, хотя понимал, что предаю свое графство. Ланкашир и Йоркшир не ладили еще с времен войны Роз и каждый год ритуально воспроизводили прошлые конфликты в крикетном матче. Но в противостоянии слабому и бестолковому югу они объединялись. Так что я теперь стал журналистом.

Кеннет Янг не упомянул еще об одном источнике заработка — последующей продаже книг, поступавших на рецензирование. В январе 1961-го, когда вышли пять или шесть непримечательных книг, этот источник был не так очевиден. Рецензирование было легким побочным заработком для временных преподавателей в Кенте и Суссексе. Тогда я еще не знал, что в январе публикаций меньше всего. Но по мере приближения весны тоненькая струйка превращалась в мощный поток, и из маленького дома приходилось тюками вывозить книги. С преподаванием было покончено, потому что теперь у меня была возможность продавать прочитанные книги за полцены. Каждый понедельник с утра я тащился, пошатываясь, с двумя набитыми чемоданами на вокзал Этчингема ("Опять ее бросил", — шептались в деревне), ехал с ними до Чаринг-Кросс, а затем брел по Стрэнду до книжного магазина Симмондза. Луис Симмондз брал все и расплачивался новыми купюрами. Это были настоящие деньги, на которые можно было купить сигары, коньяк и паштет из анчоусов. Я видел, что и другие рецензенты не брезгуют таким бизнесом, только некоторые делают это по каким-то причинам скрытно. Питер Грин, которого я встретил, сказал, что это "хороший навар".

Грину нравились мои книги, он считал (и был в этом не одинок), что они написаны в традиции Джона Лодвика[1], писателя, погибшего в Испании в автомобильной аварии (он был за рулем) вместе с четырьмя испанскими издателями. Лодвик был хороший романист, он издавался, как и я, у "Хайнеманна", но вскоре после смерти его перестали печатать и несправедливо забыли. Он был умен, образован, имел свой стиль: его приверженцы основали элитарный кружок. Авторы любят считать свои творения aere perennius[2], но и они уходят в небытие, как и все остальное. Только страстные поклонники могут их воскресить, и, возможно, Лодвик еще вернется. Вспоминая ранние шестидесятые, я свидетельствую о тщете авторских надежд. "Хайнеманн" напечатал замечательный первый роман А. Э. Эллиса "Пытка". Этот роман, действие которого развора-

1. Джон Лодвик (1916–1959) — английский писатель, его часто сравнивают с Ивлином Во.
2. Долговечный, букв. — прочнее бронзы (*лат.*).

чивается в туберкулезной клинике, а основная тема — боль и страдание, некоторые критики поставили выше "Волшебной горы" Томаса Манна. Один рецензент писал, что, читая исключительно точное описание измерения жизненной емкости легких, потерял сознание. Книга не выдержала испытания временем, так как оказалась первой и последней книгой автора, и критики не могли написать: "Пятая книга Эллиса не выдерживает сравнения с его первым блистательным шедевром". Но достоинства заключаются в самом тексте, даже существующем обособленно, и, вторя Сэмюэлю Джонсону, скажем: гарантией от забвения должна быть жизненность книги. Меня же учили, что произведение не должно быть одно, надо писать и писать, и многократное повторение имени писателя, от которого уже звенит в ушах, — единственное спасение от забвения, да и то под вопросом. Одного таланта не достаточно, он погибнет под горой бездарностей. Книг слишком много, но по-настоящему хороших — мало.

Я работал для "Йоркшир пост" два года, и меня потрясло то количество откровенного хлама, которое приносили мне каждый день. Почте Этчингема пришлось расширять штат сотрудников. Доставляли всего лишь беллетристику, не просмотренную литературным редактором, а ведь оставались еще завалы биографий, книг о путешествиях, кулинарии, спорту, сборники репортажей. Линн, знаток подобной макулатуры, помогала в сортировке. Она и сейчас не отказалась бы прочесть подобную книжонку, но предпочитала телевизор. Я, естественно, брался, в первую очередь, рецензировать последние книги Грина или Во, хотя существовала опасность пропустить в массе книжной продукции еще не открытый, скромный талант. Никогда не слышал об издателях, посылающих на рецензию новые имена, — возможно, они понимали, что реакции не дождутся. Мне было так жаль издательство "Элвин Редмен", чьей логограммой был вождь индейского племени, что я написал благосклонный отзыв на выпущенный им весьма посредственный любовный роман. Литературный редактор, тем не менее, зарубил статью про эту книгу не потому, что книга не стоила внимания, а потому что издатель не давал рекламные объявления в "Йоркшир пост". А вот Миллз и Бун[1] публиковали свои слащавые романчики в полной уверенности, что их будут читать без всяких рецензий и рекламы. Но когда рецензии так уж влияли на продажу? Разве только в то великое время, когда Арнольд

1. Джеральд Миллз и Чарльз Бун в 1908 г. основали издательский дом "Миллз и Бун".

Беннет мог одним мановением пера создать или уничтожить книгу в "Ивнинг стандард". Я ничего не знал о целом мире низовой литературы. И о "срединной" литературе тоже — с ее почтенными издателями и тусклыми романами компетентных авторов, возможно, лучшими, чем мои. Осознав, насколько мощная у меня конкуренция, я дрогнул.

Несмотря на все страхи, писать я не бросал. Лежа в постели, я читал то, что писали другие, а днем пытался работать над очень трудным романом, который назвал "Вожделеющее семя". Название пришло из народной песни, в припеве которой повторялись слова о распутном и желанном семени. Семени или матросе[1] — песня была довольно эротичной. Над темой моей книги — бурном росте населения — я задумался уже давно. Какое-то время я жил среди постоянно множащихся восточных народов и перечитывал Томаса Мальтуса: на самом деле, я готовил обстоятельную статью о нем для американского научного журнала. Если рост населения пойдет такими темпами, то люди себя не прокормят. На Западе эта тенденция не столь заметна, за исключением Оксфорд-стрит[2], так что, возможно, было ошибкой избрать местом демографической катастрофы будущую Англию: Калькутта или Бомбей подошли бы больше. Но это гипотетическая литература, и я привнес в нее голод из Африки и обязательное планирование семьи из Китая. В моем романе Англия невероятно перенаселена — большой Лондон протянулся до самого Ла-Манша. В Брайтоне — многоквартирные небоскребы, в море — искусственные острова, и все это обусловлено избытком населения. Сверхдержавы называются Анспан, Руспан и Чинспан (то есть Английские, Русские и Китайские союзы), и у каждого союза свои методы демографического контроля. В Руспане и Чинспане смертный приговор ждет семью уже за второго ребенка, но Анспан — страна более либеральная и прагматичная. В Англии официально поощряется гомосексуализм ("Гомосексуалом быть sapiens"[3], – гласит плакат), одобряется добровольное кастрирование (называемое "кастрос"). На плодовитые семьи накладываются относительно мягкие наказания, но в целом демократические традиции соблюдаются. Крикет называют Священной игрой и за отсутствием внешнего пространства матчи устраивают в старых соборах. Женщины — против мужчин.

Понятен циклический принцип работы правительства: мой герой, школьный учитель, преподает этот принцип раздутым классам. Существуют три цикла или фазы: Августианская, Пела-

1. "Семя" и "матрос" звучат в английском приблизительно одинаково.
2. Самая оживленная и многолюдная улица в Лондоне.
3. Мудро (*лат.*).

гическая и промежуточная, вроде ricorso[1] Вико[2]; кратко они обозначаются: Гусфаза, Пелфаза и Интерфаза. Основанная на признании первородного греха, Гусфаза не ждет многого от правителей. Если же они делают больше, чем от них ожидают, о первородном грехе как-то забывают, и наступает Пелфаза (при ней, как при социализме, верят, что люди в основе своей добры). Разочарование Пелфазой приводит к ужесточению правительственной политики, драконовским законам, и тогда воцаряется Интерфаза. Однако ненадолго. Правительство не удовлетворяют быстро тупеющие граждане, и возвращается то, с чего все начиналось, — Гусфаза. Циклы следуют один за другим и повторяются из века в век. Эта игривая теория — а может, не такая уж игривая — была ответом Оруэллу.

Большая часть "Вожделеющего семени" происходит во время Интерфазы. Продовольственный рацион урезан, в людях нарастает беспокойство. Повсюду забастовки и бунты, подавляемые усиленными полицейскими войсками, названными — по присущей Интерфазе цвету униформы — Серыми Парнями. Есть еще более зловещая сила, так называемая Популяционная полиция, или Поппол, на ее эмблеме разбитое яйцо. Они рыскают в поисках незаконной беременности, волокут нарушителей закона в тюрьму и заставляют сделать аборт. Однако люди восстают против такой, не свойственной Британии, бруталь-ности и, отворачиваясь от правительства, обращаются к Богу. В позитивистском государстве Бог — бранное слово, а Августин и Пелагий — мифические личности. Священники как проводники религиозного предрассудка о плодородии ("Золотая ветвь"[3] звучит кратко из-за недостатка пространства как Зол Та Ве) осуществляют свою миссию в подполье. Теперь они покидают свои убежища и открыто служат мессы. Каннибальский подтекст евхаристии вызывает к жизни реальное людоедство: ребенок вполне логично говорит: "Если можно есть Бога, то Джима Гримшоу — тем более". Полицейские, почти все гомики, стоят первыми в очереди на съедение. Когда в обществе с помощью контрактников воцаряется порядок, решено бороться с угрозой голода, развязав войну. Поначалу никто не знает будущего врага, но существуют отряды Х, действующие на большой территории, включая Ирландию. Моего героя против желания призывают на военную службу, производят в сержанты,

1. Периодическое повторение (*итал.*).
2. Джованни Баттиста Вико (1668–1744) — итальянский политический философ, риторик; крупный деятель эпохи Просвещения.
3. "Золотая ветвь" — книга известного английского религиоведа и этнолога Джеймса Фрейзера (1854–1941), показывающая связь между современными религиями и первобытными верованиями.

присваивают мой военный номер 7388026, и тут он узнает, что мужчины сражаются против женщин, а все трупы грузят на корабль, чтобы потом сделать из них консервированную тушенку. Ему также открываются две великие истины: человек — часть природы, и, если он не будет размножаться, не будут размножаться также животные и растения; у каждого есть право родиться, но нет права жить. Под конец я понял, что написал в высшей степени католический роман.

Двадцать восемь лет назад, когда опубликовали "Вожделеющее семя", никто не был готов серьезно рассматривать каннибализм как решение проблемы голода в мире, и не предполагал, что многократно возросшее человечество может прокормить себя само. Насмешек стало меньше после того, как именно каннибализм помог выжить людям, оставшимся в живых после авиакатастрофы в Андах. Они не потеряли в весе, питаясь мясом погибших товарищей, хотя у всех был ужасный запор. Покупая в супермаркетах консервы, мы толком не знаем, какое животное едим: мясо перенасыщено разными добавками. И, возможно, в будущем, думая, что приобретаем говядину, мы узнаем, что это человечина. По сути, в каннибализме нет ничего принципиально неправильного. В мои малайские времена, путешествуя по Новой Гвинее, я как-то поел жареного мяса у приютивших меня хозяев, которые только недавно расстались с привычкой скармливать свиньям нежеланных детей. Что я ел, я узнал только после ужина. Меня вырвало только из-за наложенного обществом культурного табу: сам желудок не протестовал.

У "Вожделеющего семени" было мало шансов стать бестселлером. Тем не менее борьба за финансовое благополучие продолжалась. Проблему не удавалось полностью решить за счет продажи рецензируемых книг за полцены Симмондзу на Стрэнде. Мне помог Питер Грин. Он католик — не такой, как я, а много лучше, — женатый, с растущей семьей, настоящий ученый, который, тем не менее, предпочел стезю свободного художника, а не спокойную, академическую карьеру. В журналистике он был рабом, каждый день у его машинки лежала новая книга — он мечтал накопить денег и уехать жить на греческие острова. Писал он в самые разные издания — от литературного приложения к "Таймс" до "Джон О'Лондонз", работал телевизионным критиком для "Лиснер" и кинокритиком для "Тайм энд тайд". Ему, как впоследствии и мне, доставляло мрачное удовольствие быть "человеком с Граб-стрит"[1] и тем самым как

1. Граб-стрит (ныне Милтон-стрит) в конце XVII-XVIII вв. была населена бульварными писаками; с той поры название улицы стало синонимом литературной поденщины и халтуры. На этой улице жил и критик Сэмюэль Джонсон вплоть до публикации своего "Словаря" (1755).

бы прикасаться к мозолистой ступне Сэмюэля Джонсона. Он познакомил меня и с другими окололитературными способами заработка. Можно предлагать издателям подходящие для перевода иностранные книги. Я давал оценку книгам по антропологии, социологии и структурализму, а также романам на нескольких языках и получал гинею за каждый отчет. Однажды я проглядел французский перевод датского бестселлера, название которого забыл. Слишком много венгерских и финских книг переводились на английский с французского. Мне сделал втык по телефону сотрудник фирмы "Макдональд", который должен был на собрании сделать отчет о знаменитом датчанине, но из-за моего промаха дело провалилось. Этот случай помог мне осознать, что я вовсе не вольный художник. Со мной не церемонились — могли сделать выговор, обращаться, как со слугой, которому угрожают не выплатить гинею. Меня отчитал издатель Джеймса Болдуина за то, что я не примчался в Лондон на его чествование. Почитающие себя великими авторы, вроде Брайхер[1], были недовольны, если в "Йоркшир пост" не появлялись рецензии на их произведения.

Если я считал французский или итальянский роман достойным перевода, мне могли предложить за сто фунтов перевести его самому. Контракт предписывал, чтобы работа была выполнена на "хорошем литературном английском языке", какой бы ни была сама книга. Мы с Линн не спали почти всю ночь, работая с тремя крошечными французскими романчиками. С помощью большого словаря Линн делала грубый подстрочник на английском, которому я, приходя в ужас от исходного материала, придавал качественную литературную форму. Линн была слаба во временах, она могла спутать имперфект с условным наклонением. Все это приводило к перепечаткам с проклятьями и угрозами самоубийства. Иногда я улучшал стиль до такой степени, что, к примеру, "Оливы справедливости" Жана Пелегри были особо отмечены критикой[2], говорили об элегантности его стиля, яркости воображения и вопрошали, почему англосаксонские романисты не могут писать так же.

В начале лета 1961 года вышел мой роман "Червь и кольцо". Литературное приложение к "Таймс" проявило неслыханное великодушие: "Большим достоинством книги можно считать описание личной жизни немецкого ремесленника

1. Брайхер — псевдоним английской писательницы-романистки Энни Уинифред Эллерман (1894–1983), больше известной как автор исторических романов.
2. Жан Пелегри (1920–2003) — французский писатель. Его первый роман "Оливы справедливости" навеян борьбой алжирского народа за независимость.

Кристофера Говарда, бывшего католика. Искусно описана ужасная дилемма его малолетнего сына Питера — с сочувствием и немного иронично. Питеру надо как-то примирить свою любовь к Богу и католической церкви с любовью к отцу. Отец превозносит Лютера, открывает сыну доступ к запрещенной литературе, заводит любовницу и, наконец, в Страстную пятницу ставит перед ним ветчину. У мистера Бёрджесса дар к карикатуре, что помогает перенести унылую, гнетущую атмосферу городка срединной Англии". "Панч" был не так красноречив: "Недостаток мистера Бёрджесса в том, что он всегда перебарщивает в своем бурном негодовании". Меня обвинили также в нытье, что, возможно, было правдой. Работая над романом, я возмущался тем, как относятся к учителям в Британии; а еще в нем была дидактическая тирада против буржуазного филистерства. Никогда не следует вносить в книгу свое негодование. О ней быстро забыли, я еще расскажу о причинах этого, и не скоро вспомнили. Она никогда не выходила в Америке, и ее не переводили.

А вот американское издание "Права на ответ" получило хорошие критические отзывы, хотя продавалось из рук вон плохо. "Тайм" писал: "Бёрджесс в свои сорок три года никак не оставит в покое Бога, требуя раскрытия загадки существования". Несмотря на недостатки, которые не были конкретно названы, "проза автора точна и элегантна, юмор острый, и он умеет запутать и без того комичную ситуацию до поистине вдохновенной глупости". Наоми Бливен из "Нью-Йоркера" отнеслась к роману серьезно и тщательно его изучила, найдя, что "перед нами не анекдот, а безупречное исследование человеческих проблем, которое ловко прячется за развлекательной манерой". Так у меня состоялся дебют в Америке. Рецензентам роман понравился, хотя многочисленная американская публика отнеслась к нему равнодушно. Но я сделал вывод: впредь надо иметь дело с американцами. У них есть деньги.

Похвалы из-за океана утешали. Успокоительное средство нашему нервному семейству было как нельзя кстати. Слишком много работы, мало сна, правда, здоровая диета. Линн стряпала, как ее мать, — хорошо, но без вдохновенья. Никакого coq au vin[1] или boeuf a la bourguignonne[2]. Вино береглось на выпивку. Нервные срывы Линн еще не доводили ее до попыток уничтожить мои медленно нарастающие стопки рукописей, но она не исключала, что когда-нибудь сделает это. И даже оставила предупреждение на пишущей машинке:

1.Цыпленок в красном вине (*франц.*).
2. Мясо по-бургундски (*франц.*).

Линн в маниакальной злобе
Может все вокруг угробить.
Нет страниц, романа нет...
Нравится такой ответ?

Все понимая, я, однако, по-прежнему не делал дополнительных экземпляров. Мое негативное отношение к дублированию работы с помощью копирки или копировальных аппаратов было связано с написанием музыки, где техника весьма проста — ручка, чернила и нотная бумага, копирка там невозможна, электрография затруднительна из-за множества оркестровых пометок. Музыкальная рукопись с трудом переносит переделки, копия должна быть очень четкой. Мои машинописные тексты были всегда очень четкими, и, так как на книжном рынке наш товар не очень ходкий и в денежном эквиваленте оценивается даже его внешний вид, мои рукописи всегда выглядели так, словно над ними поработала профессиональная машинистка. Однажды в нашем доме появился израильтянин, профессиональный скупщик рукописей, он привез нам в подарок израильские медовые леденцы. Увидев совершенство моей печати, он покачал головой с печальными глазами и дал мне пять фунтов за шесть рукописей. Позже я узнал, что Айрис Мёрдок и Кингсли Эмис заработали больше.

Мы с Линн чувствовали, что нам надо отдохнуть. Из Тилбери до Ленинграда ходили русские пароходы с остановками в Копенгагене и Стокгольме; возвращались они тем же путем, включая еще и Хельсинки. Между рейсами предусматривался короткий отдых в ленинградской гостинице. Про русских было известно, что они не дураки выпить, и Линн заранее знала: там она будет чувствовать себя, как дома. Выполнив очередную норму по написанию романа, рецензированию и оценки экзотической литературы, я понемногу возобновлял в памяти русские фразы. Я пытался убедить Линн выучить хотя бы алфавит кириллицы, чтобы знать, где находится дамский туалет, и уметь произносить несколько вежливых фраз, вроде *dobriy dyen* или *spasibo.* Но она соглашалась учиться только при условии, что машина времени перенесет ее в те дни, когда она была старостой школы и выдающейся спортсменкой в Бедвелти. Вместо этого она смотрела по телевизору "Десятую палату неотложной помощи"[1]. Меня тревожило такое отсутствие лингвистического любопытства и еще ее убежденность, что муж обязан быть и переводчиком, и добытчиком, и любовником, и защитником. Я написал ог-

1. Телесериал о медперсонале больницы, длился с 1957 по 1967 гг.

ромными буквами на кириллице ТУАЛЕТ, но Линн отдала бумагу Хайи, и тот ее с рычанием сжевал. Вздохнув, я продолжил трудиться над русскими словами, многочисленными глаголами, и неожиданно меня осенило — решение стилистической проблемы "Заводного апельсина" было найдено. Словарь моих хулиганов из космической эры будет смесью из русского языка и упрощенного английского, и все это будет перемежаться ритмическим сленгом и цыганщиной. Русский суффикс "надсат" станет названием диалекта молодых людей, на нем будут говорить "други", или "другс", или друзья по банде.

Слова, заимствованные из русского языка, лучше вписываются в английский, чем слова из немецкого, французского или итальянского. Английский и так, в какой-то степени, смесь из французского и немецкого. Многосложные русские слова, вроде *zhevotnoye* вместо beast, или *ostanovka avtobusa*, вместо bus stop, звучат хуже. Но в русском есть и краткость: *brat* вместо brother или *grud* вместо breast. Английское слово, в котором четыре согласные душат одну гласную, не подходит для этой восхитительной округлости. *Groodies* — это класс. Как и в восточных языках, в русском нет разницы между ногой и ступней, и то и другое называется *noga*; то же относится и к *ruka* — так можно назвать и руку, и кисть. Эта особенность делает из моего ужасного юного рассказчика заводную игрушку с невразумительными конечностями. В тлеющем в глубине моего ящика черновике много насилия, в законченном романе его будет еще больше, поэтому странный новый жаргон может стать своего рода завесой, прикрывающей чрезмерную жестокость, и не давать разгуляться собственным основным инстинктам читателя. Тонкая ирония была в том, что равнодушные к политике тинейджеры, видевшие самоцель в тоталитарной жестокости, прибегали к жаргону, основанному на двух главных политических языках времени.

Мне хватило около двухсот русских слов. Так как речь в романе шла о "промывании мозгов", то и тексту была уготована та же роль. Этот минимум русских слов "промоет мозги" читателю. Роману предназначалось стать упражнением в лингвистическом программировании, причем экзотичные слова постепенно прояснялись контекстом, так что я был намерен сопротивляться до конца требованию любого издателя снабдить роман глоссарием. Разрушив программу, он свел бы к нулю "промывание мозгов". Мне доставляло большое удовольствие изобретать новые ритмы и воскрешать старые, в основном из Библии короля Якова, — так создавался странный говор. К тому времени, когда мы были готовы отправиться в Тилбери, чтобы подняться на борт "Александра

Радищева", хорошо оборудованного парохода на Балтийской линии, мой роман был почти готов.

В те дни привычка путешествовать с большим количеством багажа еще не ограничивалась нехваткой носильщиков. Линн положила в чемодан вечернее платье, я — смокинг. У нас было неправильное представление о России, а может, мы просто хотели покрасоваться капиталистическими шмотками в стране дурно одетых тружеников. Из английских газет мы знали, что русские плохо одеваются, и у них нехватка товаров широкого потребления. Корреспондент "Дейли мирор" Марджори Прупс, побывавшая в Советском Союзе, писала оттуда своим читателям от имени Маришки, имея, возможно, в виду себя, что "эти Иваны и Иванки ценят наши изделия" и с удовольствием приобретают хорошие тряпки. Поэтому мы набили два чемодана яркими, цветастыми цельнокройными платьями из синтетики, купленными за тридцать шиллингов каждое в "Маркс энд Спенсер". "Дейли мирор" всегда называла эту цепь магазинов "Маркс энд Спаркс"[1], и мне чудилось в этом названии нечто совсем другое, вроде необъявленного государственного переворота. Нельзя всегда верить популярной прессе, но эта демократичная Маришка (позже я как-то оказался рядом с ней в пабе, и она выглядела как настоящая леди с весьма аристократическим акцентом), похоже, говорила правду. Мы или, точнее, я, изъяснявшийся по-русски, продам с большой выгодой платья в общественном туалете. Так мы оплатим наш отдых. И еще — уход за Хайи и двумя кошками. Служитель, уносивший Хайи, понял, с чем ему предстоит иметь дело, и повысил цену.

Ночь мы провели в Лондоне в отеле "Рассел", и Линн за ужином чуть не потеряла сознание. Плохое предзнаменование перед отдыхом. Как я узнал позже, это было печеночное истощение. Приступ повторился на платформе вокзала Фенчерч-стрит. Потом ей стало легче, и, пока мы ехали в Тилбери, она смотрела на унылую картину, несущуюся вдоль путей — разбитые фабричные окна, навозные кучи, надпись ДА ПОШЕЛ ЭТОТ ВСДТ![2]. Если кто-то из русских ехал тем же маршрутом, он тоже все это видел и, возможно, наслаждался зрелищем нашего национального упадка. Их сияющий пароход резко контрастировал с нашей грязной пристанью. Когда мы поднимались на борт, из громкоговорителей несся громкий советский марш. Каюта нашего класса имела общий душ с соседней каютой. Входя голый в душевую, я натолкнул-

1. Другое, вполне официальное, название того же магазина.
2. Великий союз деревенской технологии.

ся на обнаженную матрону с седыми волосами на лобке. Впрочем, душ не работал. Попадавшие в поле зрения члены экипажа на корабле были очаровательны — по большей части учителя английского языка; они носили морскую униформу — чистую, хорошего покроя — и мечтали улучшить свой разговорный английский. Еда была отвратительная, чаще всего тушеное мясо с картошкой, а на десерт, как подарок бедным детям, — апельсин. Рядом со мной сидел смуглый мужчина неизвестной национальности в ярких подтяжках, его жена стояла за ним. Похоже, он никогда не ел раньше картофель. Еда была не только невкусной, но и скудной. Возможно, здесь воруют, как и на всех пассажирских судах мира, подумал я. Я видел, как старший стюард, который надевал смокинг даже присутствуя при раздаче блюд за завтраком, перед выходом из порта пересчитывал толстую пачку фунтовых купюр — *odannadsat*, *dvyenadsat*, *trinadsat* — на темной лестнице, ведущей в кабины экипажа.

Линн выучила одно слово, которое я взял из "Заводного апельсина", horrorshow[1] — народная этимология *khorosho*, означающее "хорошо". Она неправильно поняла значение слова и произносила его за завтраком после жидкой рисовой баланды и жирного салями. Официантка с прической из "Петрушки"[2] никак не могла понять, что означает сочетание слов благодарности и нахмуренных бровей. Но если еда не лезла в глотку, можно было, по крайней мере, пить: на судне посменно работали пять баров круглые *sutki* — замечательное слово, представляющее "день" и "ночь" в единстве. Линн научилась пить водку по-русски — залпом глотать содержимое рюмки; это считалось отличным средством от морской болезни. Сладковатые грузинские вина сами по себе вызывали тошноту. Древесный спирт быстро загонял Линн в каюту, где она, обессиленная, ела апельсины, нарезанные хорошенькой белокурой официанткой изысканными кусочками или дольками, как это принято в швейцарских ресторанах, что требовало много времени, но у русских, похоже, его хватало. Линн впадала в ярость, когда ей долго не отвечали на вызов, и накричала на старшего официанта. Я вынужден был выступить на ее стороне, хотя мне совсем не хотелось ввязываться в ссору, и столкнулся с типично русской резиньяцией: людям трудно угодить, даже в мелочах они проявляют удивительную несговорчивость.

1. Жуткое зрелище (*англ.*).
2. Балет И. Ф. Стравинского, первое представление в Париже (1911). Балетмейстер М. Фокин.

Пароход казался экстерриториальным государством, почти свободным от советского оптимизма. Старший официант в смокинге был невысокого мнения о Хрущеве и грубо пародировал его, стараясь понравиться девушкам. Он был поклонником Гарольда Макмиллана, принцессы Маргарет и гонок на автомобилях. Прикрыв от света глаза, он выпивал пол-литра водки за один раз — большими глотками, словно садовник, пьющий холодный чай.

Так как Линн почти все время находилась в каюте, я мог бродить по пароходу в поисках любовных приключений. Прелестная, пухленькая официантка в баре третьего класса сказала, что норвежское побережье *krasiviy*, и я, набравшись смелости, прибавил: "*Kak tui*". Не стоило употреблять такое фамильярное местоимение: в этом было нечто от имперско-снисходительного отношения к подчиненной. Неправильная прелюдия обольщения. Похоже, русские уничтожили буржуазию, чтобы присвоить ее правила поведения. Одной американской девушке я подарил экземпляр американского издания "Права на ответ" как свидетельство моих способностей, энергии, утонченности, грубой силы и прочих качеств. Она прочла книгу и пригласила меня днем в свою каюту. Каюта была тесной, а море — бурным. Мне очень хотелось переспать с советской девушкой, но ничего не выходило. Интересно бы узнать, как марксизм влияет на сексуальность.

Почти все пассажиры были из групп "Интуриста". Среди них попадались руководители британских профсоюзов, обедавшие в подтяжках; они, видно, казались себе паломниками, едущими в Мекку. Один из них, совсем беззубый, его десны выглядели, как отполированные кораллы, говорил: "Запомните, на Невском проспекте можно съесть отличную рыбу с жареной картошкой". В то же время он жаловался, что напиток за столом — не чай, а просто моча, и получил за свои слова выговор от серьезной молодой женщины-офицера: патриотизм строгой красавицы был уязвлен. "Девочка, — ответил профсоюзный деятель, — ты еще пешком под стол ходила, а я уже был членом Коммунистической партии". Было много молодых людей, студентов-социологов из организации под названием "Спутник". *Sputnik* — советский космический корабль, в его честь названа туристическая компания. А эти ребята, ее сотрудники, собирались познакомить путешественников с "советской мечтой". Ими командовали, как на войсковом транспорте. "Клуб 'Спутник' — произнесли в рупор с хорошим оксфордским произношением, — приглашает сейчас всех желающих в кают-компанию на семинар по советской научной фантастике".

Ради такого случая Линн покинула каюту, укрепив свой дух многочисленными рюмками водки. "Да вы становитесь

настоящей русской", — сказала ей с восхищением официантка, уже другая, не та пышечка, какую мне не удалось соблазнить. Несколько советских специалистов по научной фантастике хвастались успехами Советского Союза в этой области, а один шутливо пожаловался: приходится постоянно подстегивать воображение, потому что советская технология наступает на пятки фантастам. Тут Линн выкрикнула: "Почему вы запретили 'Доктора Живаго'"? Переводчица, высокая девушка с вьющимися рыжими волосами, ответила, что вопрос не по существу, но на него, тем не менее, ответят. Ответил — довольно раздраженно — один литератор, по-видимому, профессиональный спорщик с идейными противниками. Пастернак предал Октябрьскую революцию, написав плохую прозу и отвратительные стихи, он отказался от создания характеров в духе социалистического реализма, предпочтя западную декадентскую запутанность и двусмысленность. Литература должна защищать достижения советского государства, а Пастернак, напротив, в дискредитирующей буржуазной манере защищал индивидуалистические псевдоценности. И дальше — в таком же духе. Перевод выступления был вполне приличный. Стиляги из "Спутника" развеселились. "К черту такое государство!" — выкрикнула Линн и свалилась со стула. Негодники из "Спутника" хохотали. Наш отдых проходил хорошо.

Если до сих пор ничего особенного в путешествии я не заметил, то теперь мне открылось непревзойденное мастерство советского метода изучения английского. КГБ в своих лингвистических лабораториях творил чудеса, но даже в школах методы обучения, похоже, сочетали ученую скрупулезность и фантазию, о чем я мог судить по тому английскому, который слышал на пароходе. (Некоторые не говорили ни слова, что было лучше, чем говорить ужасно.) Студенты продвигаются от кириллицы к латинице, используя Международный фонетический алфавит, облегчающий им знакомство с нашей нелогичной орфографией. В реальности то, что они читают в МФА и наше абсурдное правописание — разновидность черного юмора, но это их не пугает. Студенты разбираются в этой путанице, что не получается у большинства англичан. В разговоре русские слишком часто цитируют Шекспира. "Но вот и утро, рыжий плащ накинув, ступает по росе восточных гор"[1], — сказал мне старший стюард, когда мы на рассвете подходили к Копенгагену. И все же это луч-

1. Шекспир. Гамлет. Акт I, сц. 1. Перевод М. Лозинского.

ше, чем слушать гортанные звуки и сердитые замечания членов “Спутника”.

В Копенгагене, в садах Тиволи, Линн снова впала в обморочное состояние. Она пришла в себя в баре Гранд-отеля, где нас долго не обслуживали. Все служащие отеля обсуждали письмо, только что полученное администрацией. Оно было от клуба бывших эсэсовских чиновников, служивших в оккупированной Дании. По их словам, они прекрасно проводили там время и теперь хотели бы собраться в Гранд-отеле. Не мог бы управляющий организовать все по классу “люкс”? На пристани Стокгольма Линн грохнулась в обморок, спугнув чайку, сидевшую на голове памятника Густаву-Адольфу. Когда пароход прибыл в Ленинград, Линн не смогла выйти из каюты. Наконец, пошатываясь, она спустилась по сходням, после того как все пассажиры сошли и разъехались на автобусах. У ворот дока никого не было, и мы ступили на территорию Советской России, не предъявив наши паспорта. Поэтому у нас не было никаких проблем с отнесшимся к нам по-отечески таможенником. Яростно затянувшись *papirosa*, он уронил пепел на наши набитые синтетическим барахлом чемоданы, восхитившись тем, что западной даме требуется так много платьев. Экземпляр “Доктора Живаго”, положенный в чемодан, как приманка, не вызвал у него никакого интереса. Для меня было тяжким испытанием пройти со всеми этими платьями и прочим скарбом большое расстояние до остановки такси рядом с запущенным декоративным садиком. Ничего себе отдых!

Поначалу Ленинград не произвел на нас большого впечатления — полуразрушенные складские помещения, запах канализации и дешевого табака. Похоже на атмосферу в Манчестере или, может быть, в Солфолде. Однако Нева сверкала, словно дух Пушкина витал над ней, архитектура центра города была прекрасна, хотя и не по-советски. Я сказал шоферу такси, что он живет в красивом городе. Он пожал плечами: похоже, вступал в депрессивный период цикла, что, как мне казалось, больше свойственно кельтским, чем славянским племенам. Линн здесь будет пользоваться успехом. Рядом с шофером на сиденье валялись сигареты разных сортов, все нервно вскрытые. Может, он просто проверял — действительно ли хочет курить. Так мы доехали до гостиницы “Астория”, где нас ждал номер, заказанный из далекой Англии. Мне казалось, что я оскорблю советского служащего, если дам чаевые, но он сам чуть ли не требовал baksheesh[1]. Я дал

1. Бакшиш, чаевые (*перс.*).

ему пятьдесят копеек. Все хотели backsheesh. Хотел его и лысый старик при туалете гостиницы, усердно читавший Гоголя. У меня было только пятьдесят рублей, но смотритель не поленился найти сдачу.

Прыщавая девушка за стойкой администратора, жутко простуженная, читала роман Марджери Аллингем и хотела знать, почему Эрнест Хемингуэй покончил с собой. "Мы все здесь любим Эрнеста Хемингуэя", — сказала она. Затем нас направили в номер, что предполагало встречу на соответствующем этаже с Цербером в лице суровой, крепкой женщины среднего возраста. Лифт не работал. *Nye rabotayet* — эта надпись украшала большинство дверей ленинградских лифтов. Поднявшись на наш этаж, я задыхался от тяжелых чемоданов с синтетическими платьями. "Вы не здоровы, — сказала женщина по-английски. — Вам надо лечь". Но в постель забралась Линн. У меня было важное дело — продажа платьев.

От первой полдюжины я избавился довольно легко. Худой ловкач с сигаретой, которого трудно было назвать идеальным советским гражданином, устроил со мной торг, закрывшись в одном из туалетов нижнего этажа. Он предложил мне рубль пятьдесят за каждое платье — приблизительно такую цену я платил в Танбридж-Уэллс. Я оскорблено усмехнулся. Он мгновенно поднял цену до семи рублей и стал отсчитывать деньги слюнявым пальцем от внушительного размера грязной пачки. Я получил неплохую прибыль, но покупатель предупредил меня о суровости советских законов. Предлагать советским гражданам столь необходимый им ширпотреб — значит ослаблять советскую экономику. Я сказал, что слышал о смертных приговорах. Мужчина нервно пожал плечами: все мы когда-нибудь умрем, а полицейских легко подкупить. Но угроза всегда есть, и мне нужно быть осторожнее, если я не хочу попасть в советскую тюрьму. Кормят там ужасно, и среда чудовищная. Расставаясь, он чмокнул меня в щеку и ушел, запихнув платья в сумку с ночными принадлежностями. Если у меня есть еще что-то на продажу — паркеровские ручки, часы "Лонжин" или еще такие же платья, — он будет ждать меня здесь завтра в то же время. Но на следующий день он не появился. Когда я пришел с новой партией товара, смотритель, читавший Гоголя, окинул меня странным взглядом. Нужно быть осторожнее. Я отнес вещи в туалет гостиницы "Европа", где на вид младший брат моего первого покупателя не дал мне больше шести рублей и пятидесяти копеек за платье. Надо действовать осторожнее: я могу обрушить рынок.

Когда в первый вечер нашего пребывания в городе Линн почувствовала, что в состоянии подняться с неровной двуспальной кровати и чего-нибудь съесть, я предложил поехать

на такси в ресторан “Метрополь”, расположенный к северу от Невского проспекта на Садовой улице. Однако поймать такси оказалось трудно. Девушка из “Интуриста”, искавшая нам такси, обрадовалась, узнав, что ждать его придется не больше часа. А вот в Лондоне такси подъезжает сразу, стоит только сделать вот так, сказала Линн, щелкнув пальцами. “Невежливо так говорить, — упрекнула ее девушка из “Интуриста”, — ваши сравнения неприятны. Люди с хорошими манерами так не говорят. Вы просто не воспитанны”. Линн вспыхнула и закатила ей пощечину. У девушки выступили на глазах слезы, и тогда Линн ее обняла, что далось нелегко: та была настоящая великанша. Видит Бог, русским так нужно, чтобы их любили! Их маниакальная депрессия — как пародия на диалектический материализм. Тезис — мания, антитезис — депрессия, но — никакого синтеза. Они кажутся неустойчивыми людьми, склонными к слезам и крепким напиткам; наверное, они тоскуют по коммунизму.

Сцена в “Метрополе” была экстравагантной демонстрацией русского таланта к пьянству. Спиртное подавалось только в стограммовых графинчиках вместе со *shprotti* или килькой, вызывавшими сильную жажду. Дородные женщины с прическами под Петрушку ходили меж столиков с ватными тампонами, они обмакивали их в нашатыре и подносили под ноздри храпящим во сне пьяницам. Если это не срабатывало, женщины, приподняв толстыми пальцами спящим веки, тыкали тампоны прямо в глаза. Ослепленные пьяницы истошно вопили, и тогда вышибалы в теннисных туфлях, похожие на неаполитанцев, вышвыривали их на улицу. К нам за столик подсел молодой человек с женщиной постарше, он старался произвести на нее впечатление праздничным ужином — яичницу-глазунью подали на удлиненном декоративном блюде из зеленого стекла, принесли также *shprotti*, подрумяненные гренки, отварную осетрину, засахаренные фрукты, две бутылки грузинской малаги и триста или четыреста граммов водки в графине. На этот роскошный ужин ему не хватило денег. Мужчину стали гнать из ресторана, а его бессердечная спутница только смеялась. Я предложил доплатить за него, но предложение не прошло. Молодой человек совершил нечестный поступок и должен быть наказан. Никакого обмана. Все по справедливости.

У меня кончились сигареты: пришлось пробиваться сквозь захмелевших людей к автомату *papirosa*, на котором болталась знакомая вывеска *nye rabotayet*. Я пнул автомат кулаком, и тут он изверг бесконечный джекпот. Крепкие советские парни отталкивали друг друга, стараясь получить и свою долю. В ярко украшенном зале, справа от вестибюля, играл эстрадный ор-

кестр, и люди танцевали под советский шлягер: “Ты хочешь нежности, а я хочу любви”. Казалось, мы вернулись в военное время — молодые люди в форме и девушки в простеньких, цветастых платьях, причесанные по моде сороковых годов. А в зале, где пили, крупный мужчина барабанил на пианино что-то из мелодий Нового Орлеана, привнося в них славянскую скорбь. “Блюз Санкт-Петербурга”, — сострила Линн, она была в хорошей форме, оживлена. Ее окружали молодые люди, некоторые говорили по-английски. Один, его звали Олег, говорил на превосходном английском — можно было предположить, что он сотрудник КГБ. Линн сказала ему, что именно таким, как он, она представляет себе Раскольникова. Официант, проходя мимо, заметил: “Что до ‘Преступления и наказания’, то писать такое — преступление, а читать — наказание”. Я направился к эстраде, чтобы сесть за пианино, которое гигант освободил после нескольких энергичных и безнадежных диссонансов. (“Мягче, мягче”, — сказала Линн.) Мою джазовую манеру старший официант счел настолько неприемлемой и экзотичной, что резко захлопнул крышку, не подумав о моих пальцах. Завязалась потасовка, что немудрено для позднего вечера. Кто-то должен был дать повод, и этим человеком оказался я. Усевшись рядом с Линн, я пил и следил за развитием событий. Где полиция? Меня удивляло, что со времени нашего приезда я не видел ни одного *militsioners* в форме, с оружием или дубинкой. Возможно, все полицейские были в штатском, но, в любом случае, они были правы: ради торжества социалистической идеологии не стоит лезть в пьяные разборки. И вот тут Линн сломалась.

Ее вновь обретенные друзья, включая парня из КГБ, позабыв о драке (конечно, это был guliganism, род идеологической преступности), понесли ее на руках, как мертвого Гамлета, к выходу. Швейцар, бородатый болгарин, похожий на почтальона с картины Таможенника Руссо[1], ранее закрыл на засов стеклянную дверь, чтобы спасти ресторан от рвущихся внутрь *stilyagi*. Те галантно перестали бомбардировать дверь, пропустили Линн, неподвижно лежавшую на плечах несших ее молодых людей, подождали, пока дверь не закрыли снова, и только тогда возобновили гневные крики и застучали в нее. Своего рода ход шахматиста. Линн лежала на тротуаре. Такси, естественно, не было. Но Олег из КГБ вбежал в телефонную будку и набрал 03. Приехал автомобиль КГБ и отвез нас с Линн в “Асторию”. Да, такого отдыха я не ожидал.

1. У Анри Руссо (1844–1910), известного французского живописца самоучки, было прозвище “Таможенник”.

На следующее утро я сражался с двумя тучными матронами в буфете за право получить завтрак (*zavtrak*) — кровяную колбасу и холодный чай, а потом спустился вниз узнать, может ли прийти доктор или *vrach*, а также купить утреннюю газету. В киоске была только одна английская газета — "Дейли уоркер". Я так и думал, но все-таки спросил "Таймс". "Если б вы встали раньше, — сказали мне, — у вас был бы шанс. А теперь все экземпляры проданы". Кажется, я стал понимать русских. Они вроде ирландцев — фантазеры и задиры. Я ожидал увидеть грядущее суровое будущее, построенное на дисциплине и автоматизме, а нашел грязь и беспорядок. Я пришел к выводу, что человеческие качества лучше выявляются в этом государстве, основанном на холодной метафизике, чем в примитивной малайской деревне. Я боялся вызванного мной *vrach*: вдруг он принесет лекарства, к которым прибегала моя мачеха, в том числе и болеутоляющие, или поставит пиявки.

Но *vrach* не пришел. Вместо него приехали три фельдшера-коротышки в белых халатах, чтобы увести Линн в больницу. Но она возражала, требуя, чтоб ей только поставили диагноз и назначили лечение. Самый плюгавый из коротышек сел за стол с рецептурным блокнотом и стал писать крупным, неразборчивым почерком слово: аспирин. Только не аспирин, вскричала Линн, выставив всех из комнаты. По ее словам, она чувствовала себя лучше. Я с радостью ей поверил. Сомнений не было — дело не в алкоголе. Я пил больше, но не отключился. Известная анатомическая истина о большей уязвимости женской печени как-то не приходила мне в голову. Линн страдала от многих вещей — от войны, Малайи, моего смертельного диагноза и его последующей отмены, моего сексуального равнодушия и шаткого материального положения, — но не от алкоголя. Бог мой, только посмотрите, как пьют в России, и все они, даже женщины, крепкие люди, пышущие здоровьем. Я повез Линн на обед в гостиницу "Европа". Обед начался с двух стограммовых графинчиков водки.

В качестве основного блюда мы заказали бефстроганов, но ждали его четыре часа. Оказалось, официант принял заказ, но тут его дежурство закончилось, и наш заказ повис в воздухе. Впрочем, это было не так важно, голодными мы не были. Но мы хотели пить, а нас никто не слышал. Может, кто-то из официантов и слышал наши крики: *piva*! — но мысленно упрекал нас за нетерпение: что такое четыре часа, в то время как русский народ четыреста лет ждал, когда падет царское иго? Даже дольше. Незаметно я пробрался на кухню и увидел там холодильник, набитый до отказа отличным чешским лагером. Я принес за стол достаточное количество бу-

тылок и нагло их откупорил о краешек стола. Теперь до появления бефстроганова мы были в полном порядке.

В холле "Европы" был открыт ларек, торговавший советскими игрушками. Рубли не брали — только валюту. У меня были фунты, и, возвращаясь из *tualet*, я подумал, что сейчас подходящее время купить сувениры: *matrioshka*, которая так много говорит о русской душе (бабушка вложена в другую бабушку, та — в следующую и так далее); медведя на велосипеде, который бил в цимбалы, когда вы отпускали его в опасное, короткое путешествие; значки и броши с изображением героического космонавта Юрия Гагарина. За *matrioshka* просили один фунт, тридцать два шиллинга и пятнадцать пенсов. Я не верил своим глазам. Но продавцы, хорошенькие девушки в рыжих кудряшках, сказали, что так оно и есть. У них была папка со списком цен в иностранной валюте, толстая — как докторская диссертация. Все цены — в фунтах, шиллингах и пенсах — говорили о полном незнании Советами британской монетарной системы.

Старая система сменилась. Некоторые из моих читателей, возможно, даже не знают, что она существовала. До постыдного превращения британского пенни в новый пенс была старая и эффективная монетарная система: двенадцать пенсов составляли шиллинг, а двадцать шиллингов — фунт. Это означало делимость главной денежной единицы на равные числа кратные двенадцати. Время и деньги шли рука об руку. Только у Фрица Ланга[1] в "Метрополисе" часы с десятью делениями. Деньги соответствовали времени, а для семидневной недели просто прибавляли шиллинг к фунту и получали гинею. Гинея не только делилась на семь, но и на девять и тогда получался стрейтсдоллар[2]. Однако в то время, когда компьютерные инженеры уверяли, что десятичная система не устарела и не только восьмеричный принцип подходит для кибернетики, жестким правительственным указом вся прекрасная и освещенная веками денежная система была принесена в жертву безумной абстракции, отзвука французского революционного кошмара. Первой пала полкроны или тошерон, замечательная и целесообразная монета. Это была восьмерка, настоящий доллар, только названный половиной (изначально символом доллара была перечеркнутая восьмерка). Она не выжила, как выжили американские двенадцать центов или kupang на Вос-

1. Фриц Ланг (1890–1976) — немецкий кинорежиссер, один из величайших представителей немецкого экспрессионизма. Снял самый крупнобюджетный фильм в истории немого кино "Метрополис" (1927).
2. Стрейтсдоллар — денежная единица английской колонии Стрейтс-Сетлментс (1904–1939), расположенной в Юго-Восточной Азии.

точном побережье Малайи. Трудности Британии начались с разрушения традиционной основательности, и теперь нельзя понять, какой был счет у Фальстафа в таверне или "Песенку о шести пенсах". Я никогда не мог этого простить.

Однако сторонники реформ, возможно, оценили бы советскую фантазию, с какой я столкнулся в холле гостиницы "Европейская". Очевидно, это было подобие английской шутки; можно было и дальше шутить в том же духе. Глаза мои, пробежав по листу, затуманились при мысли о Святой Руси:

Брошь с Гагариным: £2 21s 13d
Булавка для галстука с Гагариным: £0 29s 15d
Флажок с Гагариным: £1 35s 17d
Чайная кружка с Хрущевым: £2 20s 0d

Пришлось сказать милым девицам, что цены у них представлены неправильно. Опять глаза на мокром месте: как же, унизили Россию. Но я дал им краткий финансовый урок и перевел £1 32s 15d в £2 13s 3d. Сдачу я попросил в копейках, но это оказалось противозаконно. Сдачи не было также в шиллингах и пенсах: цель была заполучить британские деньги, а не отдавать их. Поэтому я провел целый час, конвертируя шесть шиллингов и девять пенсов в жалкую игрушку "Джек из коробочки", и у меня остались еще три пенса. Я хотел дать эти деньги девушкам как baksheesh, но они пришли в ужас. Тогда я купил на них *karandash* с надписью СССР, и эти ангелочки ужасно обрадовались, что все так удачно закончилось. Я подарил им плитку молочного шоколада "Фрай", который плавился в моем кармане, — они пришли в восторг, и я был расцелован. В ресторане меня дожидался холодный бефстроганов и официант, укоризненно глядевший в мою сторону: нужно приходить вовремя, сказал он.

Ну как обращаться с такими людьми? Только любить. Где еще найдешь такой милый народ? Их нельзя бояться: если они не сумели разобраться в британской валюте, то вряд ли их расчеты межконтинентальных баллистических ракет будут в точности соответствовать действительности. Когда время в стране так мало значит, разве можно всерьез относиться к призывам безотлагательного планирования и угрозам перегнать Соединенные Штаты в области технологии? В магазинах, если они не предназначались для элиты, — хоть шаром покати. Городские улицы в плохом состоянии, дома нуждаются в покраске. Но зато нет недостатка в быстро сгорающих сигаретах с картонными мундштуками[1], а также в водке и квасе. Они живут с мозгами, затуманенными алкого-

1. Имеются в виду папиросы.

лем или идеологией, а то и тем и другим. И не видят, что их окружает: разбитые окна и грязные фасады домов не регистрируются сетчаткой их глаз. В метафизическом смысле они идеалисты: материя для них не первична. Однако что у них могло быть, кроме этой устаревшей философии материализма девятнадцатого века, утверждающей, что мозг выделяет мысль, как печень — желчь? Демократия? Пьяные драки в Думе? Монархия? Все это уже было.

А прелестные девушки были ужасно одеты. Пора мне возобновить продажу синтетических платьев. Нет, к черту! Буду просто раздавать — как *Angliskiy podarok*. Линн стало плохо после того, как она попробовала кусочек бефстроганова и опустошила графин грузинского коньяка. Я набрал номер 03 и назвал имя Олега Петровича Потапова. Быстро примчалась машина КГБ с суровым водителем, он хотел прямиком везти нас в управление. После скоротечного кулачного боя нас все-таки доставили в "Асторию". Там Линн рухнула на кровать.

Я раздарил целый чемодан синтетических платьев в холле "Астории", вызвав этим, естественно, подозрения. Я пытался объяснить, что мой поступок — проявление британской любви и щедрости. Несколько пожилых женщин, в которых еще не угасла крестьянская вера в чудеса, принимали подарки с радостью, слезами, крепко меня обнимали. Одна женщина из тех, кто любит смотреть дареному коню в зубы, сказала, что ее дочь выходит замуж в *Sabbota*, и ей не нужно ни ярко-красное платье, ни голубое и ни синее, а только белое. Я помчался наверх и принес белое платье. Она придирчиво его осмотрела и взяла, не поблагодарив. Даже на Святой Руси люди разные. Красное платье я отдал местной проститутке, хотя официально они в Советском Союзе не существуют. Она приняла платье за аванс и сказала, что может прийти ко мне в номер. С сожалением я признался, что там уже находится одна женщина.

Все платья я не раздал: на приступе искренней любви я и так потерял много денег. Оставшиеся платья я продал в туалете метро по шесть рублей за штуку. Там же расстался на выгодных условиях с моими дешевыми часами: время здесь все равно ничего не значит. Меня радовало, что я от всего избавился: последнее время мне казалось, что за мной следят двое мужчин в плащах. Ленинград — большой город, но мы с Линн стали выделяться из общей массы. Мы не ездили с группами на экскурсии, куда насильно затаскивал людей "Интурист", — на свинофермы или на заводы, где холодильники изготавливали с помощью ловких рук, молотка и гвоздей. Мы были сами по себе. Через Олега о нашем существовании знал КГБ. Линн театрально падала в обмороки, а я бесплатно раз-

давал платья. Зато с нелегальной деятельностью было покончено, если, конечно, покупателей платьев не арестуют, а они не проболтаются об *Angliskiy turist*, живущем в "Астории".

Впрочем, с "Асторией" пришлось расстаться. Линн положили в советскую больницу, а я переехал к молодому человеку по имени Саша в его убогую квартирку у Кировского завода. Пребывание Линн в больнице было рассчитано на десять дней, а цены для иностранцев в гостинице слишком высокие. У нас совсем не было желания связываться с замысловатой больничной системой. Я привел Линн в заурядное шумное кафе, и, выходя оттуда, она призналась, что ей плохо. Подожди немного, сказал я, дыши глубоко свежим воздухом с Балтики, а я поищу такси. До стоянки такси я около мили шел с одним высокопоставленным офицером, я называл его *tovarishch*, а он меня, вежливо, *gospodin*. Он тоже ловил такси, но машин не было, и на стоянке мы еще торчали приблизительно час. Вернувшись, я бросился к тому месту, где оставил Линн; она лежала на тротуаре, вокруг нее собралась толпа. Глупышка так и не выучилась ни единому русскому слову, кроме *khorosho*, и сейчас, когда находилась в сознании, но не могла подняться, малайский ей ничем не мог помочь. Она показывала на обручальное кольцо, подразумевая, что ждет мужа, но люди думали, что она хочет его продать. Видимо, кто-то вызвал "скорую помощь", потому что та вскоре подъехала. Низкорослые санитары погрузили ее в автомобиль. Здесь "скорая помощь" отличается от санитарного транспорта на Западе: у ЗИСа или "Волги" просто откидывалась задняя дверца, открывая салон, — туда Линн и положили, а ее ноги болтались на улице. Нас помчали в *bolnitsa*.

Советская больничная система представляется мне в высшей степени практичной. Подобно дантовскому Аду, она состоит из нескольких концентрических кругов — вначале идут посты первой помощи, а уже за ними — отделения с более профессиональной ориентацией. Линн, как Данте, переходила из круга в круг, что означало повторение все той же предварительной процедуры. *Familiya?* — рявкнули ей, прося назвать фамилию. Линн спьяну решила, что ей поставили диагноз — беременность. Женщина-врач, очень раздраженная, сердито проворчала: *Ya ne skazala familivay — ya skazala familiya.* Мне было приятно это слышать. В иностранных языках есть такие грамматические правила, которые трудно принять всерьез, и одно из них — женские окончания в русских глаголах прошедшего времени. Ну, например, *skazal* (для мужчины), *skazala* (для женщины). Я написал нашу *familiya* — Уилсон и прибавил данное Линн при крещении имя Ллуела. Мне было интересно, как его воспримут ленинградцы. Я изобразил не-

произносимую “л” вместе с “х” (как в loch и Bach) и за ними поставил обычную русскую ламбду[1]. Никто не верил, что такое имя существует. Когда я рассказывал об уэльских боковых шипящих, вся деятельность в больнице замерла. Во мне было, а возможно, и осталось, много от Прибоя из упомянутого мною романа — некое лингвистическое легкомыслие. В конце концов, болела моя жена.

С Линн стянули одежду, восхитившись ее бельем. Ее обрядили в советскую ночную рубашку и положили на каталку. Она порвала простыни. Это никого не расстроило. Она была *krasiva Anglichanka*, и к ее причудам надо было приноравливаться. Линн увезли. Реакцией на все ее громкие протесты были широкие ленинградские улыбки (такое не каждый день увидишь), а мне велели приходить в другой раз. Я был свободным человеком, с рублями в кармане, но их было недостаточно, чтобы продолжать жить в “Астории”. Саша Иванович Корнилов был одним их тех заботливых молодых людей, которые помогли вынести Линн из “Метрополя”. Я знал, что он работает в расположенном в Зимнем Дворце “Эрмитаже”, великолепной картинной галерее, составленной из западных трофеев. Теперь туда ходят рабочие и их жены. Саша, или *Alexei*, распределял билеты у входа. Я разыскал его там и рассказал, что нуждаюсь в дешевой квартире приблизительно на неделю и убежище от, возможно, приглядывавших за мною властей. Он мог предложить мне ночлег на полу и одеяло за три рубля в день — намного дешевле, чем в “Астории”. Ключ он мне дал. Я доехал на метро до Кировского завода, нашел Парк Девятого января и ужасный многоквартирный дом с размытым дождем барельефом, изображавшим рабочего в огромном комбинезоне. Древняя *babushka* сказала мне, что квартира товарища Корнилова находится на девятом этаже под номером одиннадцать. Я втащил наверх свой багаж, лег на пол, чтоб перевести дыхание, потом приготовил чай в самоваре и пил его из старой кружки, в которой осталась чайная ложка черносмородинного джема. Совсем по-русски.

Я жил у него больше недели, питался тем, что удавалось купить, выстаивая очереди в государственные магазины, называвшиеся так же, как продававшиеся или временно отсутствующие продукты: *riba*, *myahso*, *kleb*, *moloko*. Стены однокомнатной, грязной квартирки были увешаны фотографиями американских красоток — никаких изображений Хрущева или Юрия Гагарина не было и в помине. Почти каждый вечер атмосфера тут оживлялась дружескими попойками, участие в которых

1. Ламбда — 11-я буква греческого алфавита, у нас изображается, как “λ”.

принимали наши молодые друзья из “Метрополя”, в том числе и носивший очки бдительный Олег. Говорили о воинственных устремлениях Кеннеди, явной лжи советской прессы, нехватке потребительских товаров. Этих молодых людей не обманешь. Они читали иностранные газеты. В таком большом порту нельзя перекрыть свободный поток товаров или идей. Они любили джаз и покупали пластинки у туристов. Я явно не был единственным человеком с Запада, развернувшим здесь нелегальную торговлю. Наконец мне удалось переспать с девушкой с Балтики. Она была финка, не русская, звали ее Хелви. В Хельсинки она попала в какие-то неприятности и теперь время от времени спала с Сашей. По ее словам, она устала от их отношений. Ей нужен мужчина старше, более воспитанный и опытный. Она говорила по-русски примерно так, как и я. Хелви была блондинкой и, судя по недокормленному виду, питалась явно не регулярно. В настоящий момент Хелви сидела без работы. Она устроилась было киномехаником в кинотеатр Кировского района, но однажды перепутала тысячеверстные части какой-то степной эпопеи. Работала она и уборщицей в детских мастерских Кировского рабочего клуба, но там сочли, что она недостаточно хорошо убиралась. Хелви подумывала о том, чтобы перебраться в Москву. В таком огромном городе масса возможностей. Хельсинки просто куча *kal*.

Каждый день я ходил в Павловскую больницу. Линн поправлялась, потому что не пила, и похудела, потому что не ела. Аня Петровна Лазуркина, высокая и красивая женщина со скромными сережками в ушах, была ее лечащим врачом. Она говорила по-немецки и сумела объяснить мне на этом языке, что моя жена bitterlich[1] плакала из-за того, что ее не любят, и она не видит смысла в своем существовании. Она слишком много пьет, сказала доктор Лазуркина, потому что ей нечем заняться. Работа нужна ей не меньше любви. У нее больная печень, но сейчас, после приема лекарств советского производства, печень работает лучше. Водку ей пить нельзя — похоже, у вашей жены на нее *allergiya*. Ее нужно везти домой. У вас есть обратный билет? *Khorosho*. Поезжайте ближайшим рейсом на “Балтике” и закажите себе каюту, которую занимал Никита Хрущев, когда ездил в Америку. Там вашей бедняжке жене будет просторно, там ей обеспечат комфорт и лучший уход. Я ее поблагодарил. О плате за больницу речь не шла. СССР — страна социализма.

Итак, мы отправились в Тилбери на “Балтике” в каюте, обставленной эдвардианской мебелью. Трубы и краны в ван-

1. Горько (*нем.*).

ной вызывали в памяти змей, опутавших Лаокоона. Провожая нас, Олег поднялся на палубу. "Могу показать, — сказал он, — как легко выбраться из Советской России, если есть желание. Я спрячусь в вашей ванной. Пока совершают обход, чтобы убедиться в отсутствии лишних людей, я там отсиживаюсь и спрыгиваю с парохода, только когда убирают сходни. Проще простого удрать отсюда, если хочешь. Только я не хочу. Я люблю Ленинград". Я понимал, что полюбить Ленинград легко — сам стал частично ленинградцем. Правда, молодые люди обычно не называли город Ленинградом — чаще Питером. Ленин еще не стал тем освещенным веками мифом, чтобы его имя закрепилось за подлинным центром России. Москва же — всего лишь большая деревня. Когда раздался сигнальный гудок и пароход приготовился отчалить, Олег атлетическим прыжком соскочил на берег и, стоя на пристани, махал нам рукой на прощанье. Я махал ему в ответ со слезами на глазах. Писательская машина в моей голове уже начала перерабатывать впечатления от посещения России в некий сюжет. Мы попали в Советский Союз, даже не показав паспорта, а уехать могли с эмигрантом, принимавшим ванну в нашем номере. Ни один читатель не поверит, как все это легко провернуть: в популярной беллетристике (вроде романов Фредерика Форсайта[1]) закрепился стереотипный образ СССР с эффективной работой безупречной полиции и неизбывной враждебностью к миру. Но я ведь не пишу популярную беллетристику.

Лежа не на койке, а на кровати Никиты Хрущева, Линн предположила, что пребывание в советской больнице пошло ей на пользу. Медсестры по-матерински обнимали и целовали ее и поругивали за тягу к сигаретам и джину. Ее кормили целебным наваристым мясным супом, черным хлебом с маслом и давали пить теплый чай с крыжовенным вареньем. Линн не сомневалась в лесбийских наклонностях доктора Лазуркиной. Чушь, сказал я. Гомосексуализм запрещен в Советском Союзе. Но тут, не постучав, к нам в каюту вошел, жеманно двигаясь, белокурый стюард и спросил, не нужен ли нам *lyod*. Он подрагивал длинными ресницами и говорил, как Рудольф Нуриев, сексуально растягивая гласные. Стюард был убежден в особенных свойствах льда, хотя неясно в какой сфере он предлагал его применять. "Продавец льда грядет"[2], — говори-

1. Фредерик Форсайт (р. 1938) — английский писатель, автор политических детективов. В течение 20 лет был агентом Британской разведывательной службы МИ-6.
2. "Продавец льда грядет" — название пьесы американского драматурга Юджина О'Нила (1888–1953), лауреата Нобелевской премии (1936).

ла Линн всякий раз, когда жеманный юноша стучал в дверь. Линн приучила его стучать. Запас льда у нас был огромный, и, если на Балтике будет не по сезону холодная погода и штормы, он не скоро растает. Лежа не на койке, а в кровати в каюте Никиты Хрущева, я сочинил небольшую джазовую партию под названием "Chaika" для пароходного оркестра, в ней короткие мелодические фразы, риффы, напоминающие крики чаек, исполнялись на альт-саксофоне. Сам на концерт я не пришел. Руководитель оркестра вошел к нам без стука со словами, что мы единственные из пассажиров, которые не поднялись в зал и не танцуем. Русские — ужасные лгуны. Саша клялся, что у него живет сибирский кот пяти футов длиной, с рыжими пятнами. А была у него только Хелви.

Линн на короткое время поднялась, выпила водки — на этот раз перцовки — и мгновенно ослабела. Корабельный врач, не говоривший ни слова по-английски, но хорошо знакомый с лондонской церковной архитектурой, дал хороший совет: *Nye kurit i nye pit.* Линн он осматривал с горящей *papirosa* во рту, и от него сильно несло бомбейским джином. Она снова улеглась в постель и стала следить, как у нас накапливается лед. Когда мы прибыли в Тилбери, иммиграционные власти, глядя на ее небесно-голубые глаза, белокурые волосы, слыша валлийский акцент и видя, как она изнуренно пошатывается, решили, что это нелегально проникшая в страну русская с поддельным паспортом. Имя Ллуела — не английское имя, насколько им известно. Наш багаж изрядно потрясли, а коробки с *papirosi* и *sigareti* сочли подлежащими обложению пошлиной. Мы стояли окруженные мрачными полицейскими. Ну вот мы и попали в вымышленный Советский Союз из нашей беллетристики. <...>

Энтони Бёрджесс

Успех

Перевод В. Голышева

На днях я взял последний обзор современной английской прозы, напечатанный издательством “Пеликан”, и обнаружил, что моей фамилии — так же как, кажется, Джона Фаулза — по-прежнему нет в указателе. Это невнимание никогда меня особенно не огорчало, но было бы приятнее, если бы указатель указывал (вот вам стилистический сбой на почве недовольства) на полное невнимание к моей персоне и в самом тексте. То есть если вас совсем игнорируют, тогда понятно, в чем дело: вы в этом смысле полностью устраиваете игнорирующего. Но в обзоре мое имя всплывает то и дело — не как романиста, а как критика романистов. “Мистер Бёрджесс (сам пописывающий романы) отозвался об Айрис Мёрдок...” Такая вот история — и она мне не нравится. Прошлой весной я получил из изящных, но могущественных рук самой миссис Тэтчер награду — “Критику года”. Пришлось принять награду и глупо улыбаться камерам, но, по ощущению, из неправильной исходной точки она, и я, и остальные поднялись не на то плато, и оттуда уже не слезть. Я никогда не намеревался быть известным как критик. Критикой или рецензированием занимаешься, чтобы провести время и платить за газ. Для меня это не профессия.

Своей профессией, к которой я пришел очень поздно (в том же возрасте, что и Конрад, но ему пришлось сначала выучить язык), я считаю профессию романиста и теперь вынужден задуматься, достиг ли я в ней успеха. Сложность с беллетристикой в том, что можно рассматривать ее двояко: как бизнес и как искусство. Недалеко от меня на побережье в Канне мрачно и величественно сидит на своей яхте человек, безусловно преуспевший в литературе как бизнесе. Его зовут Гарольд Роббинс. Он, однако, не удовлетворен тем, что его книги с сексом и насилием выходят огромными тиражами: он хочет, в силу этой чрезвычайной популярности, чтобы его считали величайшим из живых писателей. Никто его таковым не сочтет (его нет ни в одном указателе, ни в одном из мне известных обзоров), и от этого он несколько обижен. Бывает, конечно, когда самый популярный романист одновременно и самый лучший — Диккенс, например; может быть, даже Хемингуэй, — но одно из другого не следует. Мы ожидаем от значительных произведений тонкости или сложности, не привлекательных для широкого читателя. Хорошего писателя часто беспокоят многочисленные переиздания: мо-

One Man's Chorus © Anthony Burgess, 1998
© В. Голышев. Перевод, 2017

жет быть, произведению не хватает тонкости или сложности? Ему кажется, что он несерьезно отнесся к работе и стал подобием Джона Брэйна[1].

С точки зрения бизнеса я могу притязать, хотя и с оглядкой, на скромный успех. Двадцать пять лет я зарабатываю на жизнь литературной работой. Даже если это означает, что вы можете позволить себе яйцо на завтрак дважды в неделю, это все равно предмет для гордости: вы никого не называете сэром, кроме, разве, чернокожего таксиста в Нью-Йорке; вы можете позвонить из постели в одиннадцать утра и послать кого-то к черту. Такая жизнь обеспечивалась, однако, постоянным прилежанием и правилом писать не менее тысячи слов в день а вовсе не фурором, каким сопровождалась "Уловка 22" или "Княжна Дэйзи"[2]. Больше денег приносила журналистика и писание сценариев, так и остававшихся на бумаге. И тонкой струйкой текли деньги от прозы. Если есть деньги на счете, то потому, что я назойливо принуждал довольно узкий круг читателей покупать по книжке Бёрджесса каждый год. Иначе говоря, не покладал пера.

Неудобство для меня в том, что невнимательный читатель справочников усматривает там признаки моего богатства. У меня три или четыре адреса, но это означает только, что я вынужден был сменить один на другой, потому что сделался persona non grata или обнаружил, что похитители интересуются моим сыном, а некие правительственные установления (как на Мальте) воспрещают мне продажу моей недвижимости. Одно цветное приложение назвало меня — наряду с Ринго Старром и теннесистом Боргом — типичным беглецом от налогов в Монте-Карло. Но с низким доходом не меньше оснований скрываться от налогов, чем с высоким. Если бы это было мне по средствам, я, наверное, жил бы в Англии. Но в каждом художнике сидит страх, что рано или поздно он потеряет способность творить. У него не будет государственной пенсии, и он должен думать о будущем без доходов. Он должен копить, пока может, а британская налоговая система, которой спокойнее жилось бы без художников-частников, копить не позволяет.

Если у меня есть какие-то небольшие деньги в разных банках (не знаю, насколько небольшие, — это вполне может быть признаком зажиточности), я не могу претендовать на финансовый успех, соизмеримый с таковым вышеупомянутого Битла, или Караяна, или любого другого поп-музыканта. Не миллионы, упаси Бог. В таком случае успех — если я его добился — должен располагаться в какой-то другой плоскости. Если не в прозе как бизнесе, тогда в прозе как искусстве? Кто скажет? Точно — не сам прозаик. Я написал около сорока книг — по большей части, романов и новелл — и, по правде, ни одной не доволен. Когда критики высказыва-

1. Джон Брэйн (1911–1986) — английский прозаик; наиболее известное его произведение — роман "Путь наверх" (1957), экранизированный в 1959 г. Джеком Клейтоном. (*Здесь и далее – прим. Н. Г. Мельникова.*)

2. Любовный роман (1980) американской романистки Джудит Кранц (р. 1928), послуживший основой одноименного телесериала (1983).

ют одобрение или чаще — неодобрение, я могу только хмуро кивать в знак согласия. Ужасная правда заключается в том, что вы не можете себя улучшить. Изъяны в созданном вами — не столько недостаток художественного старания, сколько врожденные и неисправимые дефекты вашей конституции. Мы все писали бы, как Шекспир или В. С. Найпол, если могли бы: но несколько мешает то, что мы не Шекспир и не Найпол.

Теплое ощущение успеха приходит тогда — если вообще приходит, — когда кто-то прочел одну из моих книг (обычно это человек в ослабленном состоянии, чаще всего в больнице), она открыла ему что-то новое в устройстве жизни, и он хочет выразить свое удовольствие и восхищение. В конце концов, книги пишутся не для критиков, а для людей, особенно если они в расслабленном состоянии. Вот тут действительно успех, чувство, что задача развлечь и просветить выполнена, как полагается. Книга, разошедшаяся миллионным тиражом, редко несет читателю прозрение; функция у нее другая — и тоже хорошая: скрасить время, а потом погрузить в забытье; мякоть кушаешь, косточки выплевываешь. Как бы ни был плох писатель, если он написал книгу, изменившую чью-то жизнь, значит, он достиг того успеха, к которому только и стоит стремиться.

Если писатель чувствует, что у него успех, — что он известен, что его книги читают и даже покупают, если американские литературоведы пишут книги о нем и портье в отеле "Алгонкин" помнит его фамилию, — тогда у него появляется жуткое ощущение, что он больше не движется, что он прибыл. Поднялся на чертово плато, выше лезть некуда, а тем более — возвращаться к прежним увлекательным и страшным борениям. Я рад, что Нобелевская премия или орден "За заслуги" мне не грозят — успех того рода, который означает: "Все, ты достиг. Ничего больше от тебя не ждем. Теперь, ради бога, очисть место для нового поколения". Как может какой-нибудь комитет или критический ареопаг решить, на что все еще способен писатель? Френсис Мирес восхвалил Шекспира, когда тот был еще автором сладкозвучных сонетов и романтических комедий, — и вот он вознесен на английский Парнас, успех, финиш. Какое разочарование, должно быть, постигло Мирeса, когда появились "Гамлет" и "Король Лир". Успех — это подобие смертного приговора.

Успех, выражающийся в известности — а такого успеха многим достаточно, — сегодня не то, чего достойно добиваться, поскольку его мгновенно дарит появление в телевизоре. Слава — ни то ни се. Меня еще ни разу не узнал портье в британском отеле и агент авиакомпании. Когда я называю такому свою фамилию, особенно в Америке, меня радушно спрашивают: "Это как Бёрджесс Мередит?" А в Англии: "Это как тот, что перебежал к русским?"[1] Слава может быть составляющей успеха, но многие из самых ус-

1. Гай Бёрджесс (1911–1963) — сотрудник британской контрразведки, работал на советскую разведку; в 1951 г., находясь под угрозой разоблачения, бежал в СССР.

пешных предприятий в истории не приносили славы. Мильтон принимал славу как признание литературного мастерства, но имел он в виду славу своих книг (и то в ограниченном кругу людей ученых и со вкусом), а не свою лично. Великий Джеймс Мюррей[1], отец "Оксфордского английского словаря" отвергал славу с устрашающим достоинством.

Итак, успех, в несколько высокопарном смысле, как я трактую его здесь, означает заслуженную награду за создание чего-то, не принадлежащего миру повседневного существования. Успехом может пользоваться суфле – но не в том смысле, как сонет или симфония (и то и другое, сказал бы Оскар Уайльд, одинаково бесполезны). Мужчина или женщина, создавшие удачное произведение, можно считать, добились успеха. Вознаграждение, если оно финансовое, не только не относится к делу, но и ущербно. Деньги означают потребление, а потребление – помеха в работе. Уйма восторженных писем требует ответа, а это означает, что на писание книг остается меньше времени. Неудивительно, что успех вызывает депрессию.

Всякого художника, считающего, что он достиг успеха (к каковым я отношу и себя, но со многими оговорками), гложет червь сомнения – правильно ли он выбрал стезю. Может быть, подлинные достижения ждали его на другом поприще, том, что манило, но он им пренебрег. В молодости, когда я еще не решил, что моим ремеслом будет проза, я мечтал стать большим композитором. Трудился довольно прилежно – и не состоялся. Став известным писателем, я получил возможность вернуться к первой любви с некоторой надеждой, что меня будут исполнять. Но поздно уже возвращаться к былым мечтам о девяти симфониях и пяти операх (хотя следующей задачей представляю себе хорал и музыку на слова "Крушение 'Германии'"[1]). Трудился я недостаточно усердно и недостаточно долго: если Полигимния[2] (не помню, та ли это муза) и не повернулась ко мне спиной, то ухмыляется, а не улыбается моей музыке. Но в справочниках я хотел бы фигурировать как большой британский композитор, а не как критик, пописывающий романы, и не как романист, приложивший руку к созданию жестокого фильма или (что тоже случается) как писатель, достигший умеренного успеха благодаря большому количеству романов. Если что и открыл мне успех – то размеры моей неудачи.

1980

1. Джеймс Огастес Генри Мюррей (1837–1915) – британский лексикограф.

Британский характер

Перевод В. Голышева

Я не имею в виду хороший характер или плохой. Я имею в

© В. Голышев. Перевод, 2017

1. Поэма Джерарда Мэнли Хопкинса (1844–1889).
2. В греческой мифологии муза торжественных гимнов и пантомимы.

виду психический склад, сочетание элементов, национальные предрасположенности — все это очень расплывчатые понятия. Невозможно дать краткую характеристику национальности, а тем более нации. Британцы были когда-то чем-то вроде национальности, но теперь они нация из многих национальностей — ирландцев, корнуэлльцев, англосаксов, ютов, нормандцев, жителей острова Мэн, вест-индских негров, тамилов, бенгальцев, сингалезов, сикхов и т. д. Нацисты сделали ошибку, попытавшись приравнять нацию к национальности. Отсюда истребление евреев — а многие из них были больше немцами, чем австриец Гитлер. Сила нации, как показывает пример Америки, в ее способности связать национальное многообразие в единое культурное целое. Под культурой мы понимаем не Ковент-Гарден и Вирджинию Вулф. Мы понимаем под ней то, что едим, как отвечаем на внешние воздействия, как ведем себя, в какие игры играем, — всю структуру общественного существования.

Я хотел бы определить британца как человека, чей дом — Британия, но, учитывая свою собственную ситуацию, понимаю, что это не годится. Я родился в Британии, у меня британский паспорт, но последние девятнадцать лет я живу не на родине. Я не обязан это объяснять или оправдывать. Многие британцы жили не в Британии. Некоторых отправляли отсюда морем на каторгу, другие эмигрировали в поисках заработка или спасаясь от религиозных преследований; третьим в те времена, когда у нас была империя, назначалось уезжать, чтобы править туземцами. У меня были личные причины, не обусловленные исторически. Мне легче оценивать моих соотечественников, находясь вдали от них. Я вижу их яснее, на время приехав домой, — именно благодаря тому, что не пребывал среди них ежедневно и круглый день. Живя гостем в других странах — особенно во Франции и Италии, — я могу сопоставить британцев с другими народами конкретнее и даже комичнее.

Различие между французским и британским характерами настолько хорошо известно, что, может быть, и не стоило бы говорить об этом снова. Французы называют себя рационалистами-картезианцами, хотя Рене Декарта многие не читали. Это означает, что их подход к проблемам политики, экономики и даже любовным в высшей степени логический. Если заимствованный институт, например, супермаркет, представляется им разумным и поддающимся математической оценке, тогда они утверждают, что придумали его сами. Если нежелательно, чтобы посетители засиживались в закусочной и неудобные табуреты в этом смысле полезны (американское изобретение), французы сделают их пыточными, как операцию геморроя. Идея должна быть доведена до логического завершения. В 1940 году логично было уступить немцам. Нелогичные британцы так не думали. Британцы — прагматики, эмпирики. Они не любят слишком много думать: излишек мыслей опасен.

Уолтер Бэджет[1] сказал, что британцы глупы и, возможно, в глупости их спасение. Столкнувшись с превосходящим противником, с 1940 года они ошибались грубейшим образом, к удивлению логичной оккупированной Франции — и выстояли, потому что в жизни, как и в сказках, глупость часто вознаграждается богиней удачи, презирающей богов разума. Британцы не интеллектуалы и недолюбливают интеллектуалов, которые поэтому избегают называть себя таковыми. Французы интеллектуалами восхищаются. В Париже я видел людей, входящих горделиво в "Клуб интеллектуалов". В Лондоне, Эдинбурге, Белфасте или Кардиффе такого не увидишь. Можно найти более мягкий синоним для глупости — определить ее как доверие своим инстинктам, подсознательному ресурсу исторического опыта, урокам истории, впитавшимся в плоть и кровь. Французы держат свою историю в голове, у британцев она — в фибрах.

Есть очень британское понятие "fair play", "честной игры". Его почти невозможно перевести на французский. Мой приятель швед, который живет во Франции и делает телефильмы для Стокгольма, недавно снял часовую ленту как раз на эту тему. Он интервьюировал французов, считавших, что они прилично знают английский, по крайней мере, знакомых с этим термином, — и они не могли сказать, что он значит. Они думали, что он как-то связан со сбоем логики. Логично пнуть лежащего противника, поскольку он не ответит тем же. Логично не испытывать сострадания к осужденным преступникам. Логика закона убрала их за решетку: там им и место; забудь о них. "Честная игра" тесно связана с ощущением, что закон, то есть логика, не может адекватно распорядиться с человеческой ситуацией.

Пример "честной игры" можно наблюдать по британскому телевидению после местных новостей. Старик жалуется — хотя без галльской горячности, — что у него отнимут садик позади дома, поскольку там прокладывают новую дорогу. Тут же в дело вступают защитники "честной игры" и добиваются того, что строители вынуждены с ущербом для себя пустить дорогу в обход. Хризантемы старика спасены. И тоже на телевидении, несколько лет назад, я столкнулся с другим проявлением "честной игры". Я был участником телевизионной игры и должен был угадать значение слова "trank"[1]. К сожалению, я знал его и, наверное, по глупости сказал об этом. Меня отправили в комнату для гостей и больше не приглашали. Я неправильно играл. Невежество — почитаемая в Британии добродетель; но не во Франции. "Честная игра" гнушается словарями и игнорирует закон. В правилах крикета не сказано, что нельзя ловить мяч шапкой, — но так не играют, так играть не честно.

1. Уолтер Бэджет (1826–1877) — британский экономист и политический философ.

1. Кусок кожи, из которого выкраивается одна перчатка.

Может показаться парадоксом — восхвалять британцев за то, что не бьют лежачего, когда британские парни печально известны как раз тем, что бьют лежачего ногами. Нам не хочется думать, что британцы буйный народ, но есть исторические основания полагать, что ценимые британские институты — парламентская демократия, право на неприкосновенность частной жизни, приличия и мягкость обращения, — это результат трудной борьбы за то, чтобы обуздать буйство, некогда опустошавшее Британские острова. Когда британская молодежь напивается или отчаивается, она выпускает энергию через акты агрессии. Конечно лучше, когда эта сила действует в индивидуальном порядке, чем в упряжке реакционных политических партий, стремящихся завладеть государственной машиной. Политического насилия в Британии немного. Даже бессмысленное насилие в Северной Ирландии порождено в большей степени романтической памятью об исторических поражениях, нежели политической реальностью. Радикалам не понравится, если им скажут, что замечательные достоинства британцев ярче всего проявляются в поведении среднего класса, самого многочисленного слоя британского общества и, пожалуй, легче всего — так же как в Скандинавии — отождествляемого с самой нацией. Даже поэты и художники принадлежат к среднему классу. Приезжая в Англию, я всякий раз удивляюсь хорошему поведению очередей в буфетах театров и концертных залов в перерывах. У британцев большой запас терпения и философской резиньяции, который позволяет им сохранять хладнокровие и делает их лучшими солдатами на свете. Но и терпению есть предел. Недаром сказал Джон Драйден: "Бойся гнева терпеливого человека"[1]. У британца гнев обычно вызывают проявления нечестной игры. Он чует в бюрократии приверженность к бездушному исполнению закона. Поэтому британские бюрократы особо не увлекаются, ведут себя осмотрительно; итальянские и французские бюрократы не таковы. Их полиция не породила аналога британского бобби, хотя, увы, он все сильнее заражается континентальным примером. Но он по-прежнему не вооружен.

В конце 1930-х годов Оруэлл в эссе о британцах отметил, что не стоит пренебрегать мелочами жизни островитян, ибо они часть национальной культуры и, вероятно, значат больше, чем кажется на первый взгляд. Приезжая в Британию и останавливаясь в гостиницах, я радуюсь плотному британскому завтраку (позаимствованному и американской культурой). На континенте в отелях, а также в домах тебе предлагают кофе и круассаны, и в этом несытом начале дня я вижу причину утренней раздражительности французов. С утра голодный французский таксист или почтовый служащий выливает свою желчь на клиента. Потом он съедает тяжелый обед, и желчь в нем только ра-

1. Ставшая крылатой фразой строчка из сатирической поэмы Джона Драйдена "Авессалом и Ахитофел" (1681).

зыгрывается. У британцев проблем с желчью, кажется, нет.

Британцы слишком много пьют. В частности, и этим можно оправдать приступы агрессии и даже безобидную театральность, обычно не свойственные их поведению, поскольку у них, островитян, оно сформировано привычкой к тому, что частная жизнь есть неприкосновенная территория. Иностранцам британцы кажутся холодными — холодностью жители густо населенного острова ограждают свою частную жизнь. Холодность улетучивается в театральности пьянства и в трезвости театра. Британия родила лучшие пьесы на свете и лучших на свете актеров. Сейчас по французскому телевидению еженедельно показывают снятого на Би-би-си полного Шекспира с субтитрами, и французы, с которыми мне доводится говорить, изумляются мастерству и страсти совсем почти неизвестных актеров. Приехав в Британию, они могли бы также изумиться актерским талантам местных жителей, никогда не ступавших на сцену. Дело в том, что британцы, будучи такой смесью национальностей, не уверены в своей идентичности и ищут ее в разыгрывании ролей.

Одна из причин, почему британцы, при их неискоренимом лицедействе, не хотят совсем отказаться от классовой системы, состоит в том, как ясно показал Бернард Шоу в "Пигмалионе", что эта система проявляет себя в поверхностных особенностях речи и манер, которые искусному актеру, сидящему в каждом британце, не так уж трудно сымитировать. Классовая система уже не выражается в четко экономическом расслоении, она имеет мало отношения к замкам и просторным акрам, зато предоставляет массу возможностей для социальной комедии. В Британии лучшие на свете аферисты.

Оруэлл заметил, что британцы равнодушны к искусству и обожают цветы. Французы, интеллектуалы, склонные к абстрагированию, не знают названий цветов, но могут прочесть вам лекцию по ботанике. В увлеченности среднего класса своими садиками Оруэлл видел проявление тяги к частной жизни. Это — эксцентричность, в смысле отстранения от жизни общественной. Это одно из британских хобби. Недавно около Дублина я познакомился с англо-ирландцем, который оклеивал стены своего ветхого домика страницами "Поминок по Финнегану" (книгу читать он не предполагал) — это очень в британском характере. Хобби; не искусство. Британия рождает прекрасных писателей и дает пристанище прекрасным музыкантам с континента, но не величает своих артистов "maestro" или "cher maître". Это — одно из проявлений недоверия к интеллектуализму.

Мы изобретаем судно на воздушной подушке, реактивный двигатель, компакт-диск, систему "Dolby". В Кавендишской лаборатории с помощью сургуча и веревочки мы расщепляем атомы. Когда доходит до того, чтобы похвастаться нашими открытиями или протолкнуть наши продукты, на нас нападает жуткая застенчивость. Недавно в новостях на американском телевидении был мате-

риал о спокойном, ненавязчивом юморе британской телерекламы; ведущий высоко оценил его, но вынужден был добавить: "Британцы терпеть не могут продавать". Призывы правительства к британским промышленникам быть агрессивнее, как немцы, японцы или американцы, не учитывают национального характера. Британцы не будут превозносить свои продукты, а скорее выскажутся о них пренебрежительно. Сильное высказывание им претит — сдержанность у них в крови. Мы можем грустно посмеяться над тем, что фильм о героизме наших летчиков во время войны преподносится под сурдинку: "Не бог весть какое полотно, но в принципе, кино занятное", но еще раз с сожалением осознаем, каковы мы. Агрессия наша — удел молодых, которые пускают в ход ноги, но в конце концов вырастают в примерных законопослушных граждан.

Тем из нас, британцев, кто работает в искусстве, легче заниматься им в странах, где мы "maestro" и "cher maître". Нам приходится сетовать на антиинтеллектуализм наших соотечественников, но мы понимаем, что с этим вряд ли что поделаешь. Я, случалось, негодовал, что королевское семейство засыпает в опере и во все глаза следит за Аскотскими скачками; но было бы как-то неловко иметь королеву, которая читает Кафку, и принца-консорта, со знанием дела рассуждающего о раннем Шёнберге. Мы не захотели бы, так сказать, континентализации Британии, будь она поощряема примером хоть законодателей, хоть титульной главы государства. Мы остаемся отдельными, островитянами, — сикхи, кельты, китайцы, англосаксы и прочие.

Я понимаю, что представил британский характер с весьма негативной точки зрения. Видимо, так и должно быть, поскольку легче определить британца через то, чем он не является — а именно французом, — чем с помощью конкретно его собственных атрибутов, которые он не так уж жаждет выставлять напоказ. Французы, естественно, не сосредотачиваются на достоинствах бриттов. В телерекламе, например, чая "Твайнинг" или какой-то марки виски, чтобы обозначить происхождение продукта, они прибегают к годами проверенной карикатуре: аристократ в смокинге, попивающий чаек, между тем как рушится его дом, или костистый шотландец в юбке. Они, как и мы, цепляются за национальные стереотипы. Они признают качество, известное как британское чувство юмора, и по воскресеньям показывают переведенное на парижское арго шоу Бенни Хилла, силясь проникнуть в его юмор. И не понимают предваряющую ролик заставку Дональда Макгилла. Но думают, что понимают британское лицемерие.

Моя жена — итальянка, как и большинство итальянцев, любит Англию и, по меньшей мере, раз в неделю напоминает мне, что я, британец, — лицемер. С британским терпением я вынужден объяснять ей, что лицемерие — один из аспектов нашей театральности и нашего островного самосознания. Мы должны представить миру добродетельный фасад, тайно пре-

даваясь за ним умеренным порокам, дабы отстоять таким образом свою частную жизнь. Другими словами, мы сознаем необходимость проводить различие между миром общественных ценностей и тем миром индивида, который никакой моральной системой не определяется. Мы делаем вид, что любим животных — и охотимся на лис. Мы притворяемся гуманными, но мы единственный народ, которому потребовалось Общество по предотвращению жестокого обращения с детьми. Мы охотно напиваемся и при этом настолько нравственны, что принимаем законы о торговле спиртным. То есть мы признаем необходимость общественной морали, но в душе понимаем, что это — спектакль. Тем не менее стыдливо об этом умалчиваем. Без лицемерия, однако, мы не создали бы величайшую литературу. Стоит задуматься об этом — и обращаюсь я не только к жене.

1987

Джеймс Джойс: пятьдесят лет спустя

Перевод Анны Курт

Бóльшую часть своего шедевра (я имею в виду роман "Улисс") Джеймс Джойс написал в Цюрихе в годы Первой мировой войны. Здесь же во время Второй мировой он умер. Ему стоило немалых трудов выбраться с семьей из оккупированной нацистами Франции и получить убежище в нейтральной стране. Оставаясь гражданами Ирландии, они очень дорожили английскими паспортами. Внук Джойса Стивен, никак не связанный с Англией, продолжает эту семейную традицию. 16 июня 1982 года, когда отмечали сто лет со дня рождения Джойса, его родной Дублин без особого энтузиазма воздал почести величайшему из своих сыновей — памятник здесь, мемориальная доска там, — ведь Ирландия никогда его не любила. Его издатели жили в Лондоне, а покровительница, Харриэт Шоу Уивер, была англичанкой и примыкала к протестантскому движению квакеров. В ранних книгах Джойс возвеличил английский язык, а в поздних, по мнению многих, стремился разрушить его. Какая страна может считать его своим гражданином? В 1904 году вместе со своей возлюбленной из Голуэя Норой Барнакл он покинул Ирландию и жил в Триесте, Цюрихе и Париже. Он был настоящим изгнанником: единственная его пьеса так и называется "Изгнанники", и его можно считать писателем-космополитом, поскольку ни одну страну он не считал своей (за исключением этой странной истории с английским паспортом). И вместе с тем по-настоящему его интересовала лишь одна довольно узкая тема: главным героем всех его книг был Дублин.

Мы можем отправиться в Дублин, как делают многие, и попробовать отыскать там призрак юного Джойса — бедного, оборванного, близорукого, с головой погруженного в литературу и уже полиглота, — но того города, который он знал, больше нет. То был один из прекраснейших городов Европы, несмотря на нищету и перенасе-

© Анна Курт. Перевод, 2017

ленные кварталы, которые специалисты по подрывным работам ныне успешно сносят. Современный Дублин — это типичный европейский город с офисами, магазинами и дискотеками. Его население составляет более миллиона человек, и японские фирмы, производящие и продающие электронику, многим предоставляют работу. Город по-прежнему сильно пьющий, и его подлинная жизнь происходит в пабах, за пивом, виски и странными разговорами. Мужчины слишком много пьют, чтобы интересоваться сексом. В Дублине гомосексуалистом считается тот, кто женщинам предпочитает выпивку.

Дублин, с любовью описанный Джойсом, так же мертв, как Лондон в "Оливере Твисте" или Мадрид в "Торквемаде"[1]. В "Дублинцах" можно увидеть, каким был город в 1904 году, — морально и сексуально бессильным, но социально живым, плодоносным, наполненным разговорами и пьянством.

В "Портрете художника в юности" мы видим тот же город, но в центре внимания автора — развитие юной души, которая хочет вырваться из сетей религии, семьи и нации, борющейся за независимость от Британской империи.

"Улисс" — крупнейший роман XX века, где Дублин — архетип города, а его герой — архетип горожанина. Однако Леопольд Блум не типичный дублинец. Он наполовину еврей. Нынешние жители Дублина ссылаются на своих предков, утверждавших, что в их католическом городе никогда не жили евреи.

Конечно, жили, но в Триесте, где Джойс начал писать книгу, их было куда больше. Соединение двух городов в один (порт на Адриатике и в Ирландском море) еще раз доказывает, что Джойс по своему мироощущению космополит. Он пишет о современном городе вообще. Блум — это в каком-то смысле все современные люди.

Но не об этом рассказывает "Улисс" и не в этом его самобытность. Сюжет книги довольно прост. Блум потерял сына и находит ему замену в молодом поэте Стивене Дедалусе, герое раннего романа "Портрет художника в юности" и слегка завуалированном варианте самого Джойса. Жена Блума Молли изменяет ему и вместе с тем хочет, чтобы Стивен вошел в их семью как сын, спаситель и, возможно, любовник.

Книга о том, что люди нуждаются друг в друге: в узком смысле — в семье и в более широком смысле — в городе. Этот простой мотив становится всеобщим, когда на него накладывается вечный миф об Одиссее, странствующем в поисках своего маленького острова и царства.

Блум — Одиссей или Улисс. В книге описан всего один день из его жизни — 16 июня 1904 года; автор проводит комические параллели между довольно банальными переживаниями Блума и приключениями гомеровского героя. Эту классическую параллель подчеркивают разные символы и стилистические приемы.

Скажем, Блум встречает в дублинском пабе ирландского

1. "Торквемада" — пьеса Виктора Гюго.

националиста по прозвищу Гражданин. Его параллель у Гомера – Циклоп. Возникает литературный стиль (своего рода "гигантомания"), в котором все непомерно раздуто, преувеличенно, как в многословной риторике или псевдонаучной демагогии. Вот Блум приходит в родильный дом, чтобы справиться, родила ли подруга его жены миссис Пьюрфой. Параллель у Гомера: спутники Одиссея убивают быков Гелиоса. Они символизируют плодовитость, а молодые дублинские студенты-медики в больнице глумятся над чадородием, воспевая совокупление без размножения. Композиция главы имитирует рост плода в материнской утробе. Мужское семя оплодотворяет женское лоно; мужское англосаксонское начало оплодотворяет женское латинское начало; перед нами вся история английского языка, показанная через развитие литературы, в которой Джойс выступает как мастер пародии.

Стиль становится важнее содержания, однако пристальное внимание к языку позволяет Джойсу охватить широчайшие горизонты человеческого ума, прежде не доступные романисту. Язык не просто сложный, но неслыханный по своей откровенности: книга изобилует сексуальными намеками, в ней используются слова, которые не только в 1922 году, когда она была издана, но и сорок лет спустя оставались табу. Поэтому "Улисс" был запрещен и Джойса несправедливо обвинили в распространении непристойности и порнографии.

С помощью "внутреннего монолога", обнажающего самые потаенные мысли и чувства героев – на до-синтаксическом и до-словесном уровне, – автор "Улисса" достиг предела в исследовании человеческого сознания. Когда книга вышла, Джойсу было всего сорок лет, и перед ним стоял вопрос: что он будет делать в оставшиеся годы творческой жизни, дойдя до таких глубин? Жить ему оставалось всего девятнадцать лет, и все они были отданы работе над невероятно насыщенной и сложной книгой "Поминки по Финнегану", которую лишь с большой долей условности можно назвать романом.

Изучив мир сознания, Джойс теперь глубоко погрузился в мир сновидений. "Поминки по Финнегану" – запись одного сна. Этот сон снится Хемфри Чимпдену Эрвиккеру ("Уховёртову"), трактирщику из пригорода Дублина, который олицетворяет собой отцовство, то есть всех отцов человечества – от Адама до самого Джойса. Его жена Анна Ливия символизирует материнство, а их дочь Иззи – всех искусительниц (от Евы и Далилы до леди Гамильтон). Их сыновья-близнецы – соперники, каких было немало в истории, начиная от Каина и Авеля до Наполеона и Веллингтона.

Язык книги сновидческий. Как время и пространство растворяются в снах, так же должно быть и со словами, с помощью которых мы рассматриваем временной континуум: они искажаются, но не теряют своего значения; оно становится неоднозначным, двусмысленным. Природа сна двусмысленна. Джойс знал, что фрейдовская и юнговская техники толкования снов недостаточны. Такие неологизмы, как "cropse" – гибрид слова "crops" и

"corpse"[1] — объединяют два противоположных значения: жизни, вырастающей из земли, и мертвого тела, погребенного в ней. Действие сна происходит в 1132 году — символическая дата, в которой 11 означает воскресение (досчитав до десяти на пальцах, мы начинаем сначала), а 32 — падение: тела падают на землю со скоростью 32 фута в секунду.

Выражение "the abnihilisation of the etym" означает расщепление атома и воссоздание значения (греческого слова "Otymon") из ничего (ab nihilo).

Книга представляет собой попытку примирить противоположности, настойчиво подчеркнуть, что ничто не умирает; ее пафос жизнеутверждающий. Книга больше, чем роман, это манифест жизненной силы. В ней можно увидеть Джойса-католика, который чуть было не вступил в орден иезуитов, но предпочел ему другой вид священства — искусство, в котором насущный хлеб обыденности пресуществляется в вечный и прекрасный хлеб причастия. Джойс не ходил в церковь, отказался от церковного брака со своей гражданской женой и лишил детей привилегии крещения. Он утратил веру и не желал обрести ее, но европейское католичество составляет атмосферу его творчества, которое ближе к Данте, чем к Гёте и даже к его кумиру Ибсену. Наполовину еврей и агностик, Блум видит в религии лишь силу, скрепляющую общество, тогда как его жена Молли, родившаяся на берегах Гибралтара, знакома со всеми оттенками католичества (от средиземноморских до северных) и исповедует веру францисканцев. Стивену Дедалусу является умершая мать, с воплем призывающая его к покаянию, и кажется, что он так и не оправился после пугающей проповеди об аде, прозвучавшей в "Портрете художника в юности". Джойса изучает множество профессоров-атеистов, но, пожалуй, полностью понять его может только католик.

Между тем мы отмечаем пятидесятую годовщину его смерти и праздновали (с большим размахом) сто лет со дня его рождения как чисто литературное событие. Мы живем в эпоху постмодернизма и остаемся наследниками модернизма, а Джойс наряду с Паундом и Элиотом, блестяще показал, что такое модернизм. Модернизм с лингвистической точки зрения — это стиль, в котором сочетается разговорный, традиционно-поэтический и новейший научно-технический язык. Модернисты придают большое значение языковой точности и вместе с тем сознают, что по своей природе язык несет в себе двойственность, которую можно использовать в художественных целях. Модернизм честен и не прибегает к философским формулам для спасения мира. Он вне политики и с большим недоверием относится к тоталитаризму и популизму. Модернизм сложен, как и сам Джойс, потому что видит всю сложность и многообразие человечества; лишь политики, жрецы и авторы низкопробных бестселлеров предпочитают видеть в нем нечто

1. Crops — урожаи, corpse — труп (*англ.*).

простое. "Поминки по Финнегану" — чрезвычайно сложная книга именно потому, что рассказывает о человечестве. Модернизм осмелился копнуть глубоко, а средний человек боится столь смелого проникновения: оно может обнажить то, что нам удобней не замечать.

В нашем обзоре творческих достижений Джойса мы упустили качество, составляющее его живительную силу. Я имею в виду юмор. В отличие от мрачного мира Достоевского, трагического видения Драйзера и безжалостного насилия, наполняющего многие современные бестселлеры, роман в своей основе — комический жанр. Величайший роман всех времен "Дон Кихот" — грандиозная комедия, и Джойс научился у него большему, чем признавал. В "Улиссе" мы сталкиваемся с перевернутой ситуацией "Дон Кихота": Санчо Панса — главный герой, а Дон Кихот — второстепенный, занимающий подчиненное положение сына по отношению к отцу. Когда Леопольд Блум и Стивен Дедалус идут ночью по безлюдному Дублину, мы видим высокую худощавую фигуру и рядом с ней маленького толстяка. Блум знает гораздо больше, чем Санчо, но его ум того же свойства, что у Санчо, и выражается в избитых поговорках. Мечтатель и поэт Стивен нуждается в здравом смысле Блума, заменившего ему отца. Их связывают комичные отношения, и их поддерживают или, вернее, им противостоят многочисленные комические персонажи. "Улисс" — одна из редких книг, способных вызвать у нас настоящий хохот. В "Поминках по Финнегану" тоже много смешного: вся книга построена на комических возможностях английского языка. Английский можно рассматривать как комический язык, поскольку в нем сосуществуют непримиримые германские и латинские элементы, постоянно сталкивающиеся друг с другом. Если перевести "Поминки по Финнегану" на испанский или итальянский, этот комический элемент исчезнет. Чудо Джойса в том, что, выжав из английского языка все возможное и невозможное, он остался европейским писателем. Он замкнут, как в колбе, в пространстве английского языка и все-таки вырывается из него и возвышается над ним.

Как все великие романисты, он продолжает существовать за рамками национальной литературы. Дон Кихот и Санчо Панса разъезжали вокруг арен Вальядолида в 1605 году и до сих пор участвуют в латиноамериканских карнавальных шествиях. Персонажей Чарльза Диккенса узнают даже невежды. Леопольд Блум, Молли Блум, Стивен Дедалус и Хемфри Чимпден Эрвиккер принадлежат к тому же типу классических персонажей. Они столь грандиозны, что способны выдержать любую дозу стилистической эксцентрики или игры слов, и продолжают сверкать всеми гранями, остаются полнокровными и потрясающе живыми. В эпоху, когда многие писатели настроены пессимистически, приятно и радостно воздать должное тому, кто сказал жизни "да".

1990

“Исследуя закоулки сознания”

Интервью Энтони Бёрджесса Джону Каллинэну

Перевод Светланы Силаковой

Значительная часть этого интервью была взята по переписке в период с июня 1971 года вплоть до лета 1972 года. Остальное — разговор, записанный на диктофон 2 декабря 1972 года в Центре исследований XX века при Висконсинском университете. График того двухдневного визита Бёрджесса в университет был просто изнурительным: встречи со студентами в рамках учебных занятий, литературные чтения, посвященные Джойсу, интервью — и все почти без передышки. Но каким бы усталым Бёрджесс ни выглядел после этой программы, на мои вопросы он отвечал развернуто; и, когда два текста были объединены, оказалось, что фрагменты нашей устной беседы выглядят такими же отточенными, как и рабочий вариант интервью по переписке.

— Раздражают ли вас хоть немного обвинения в том, что вы чересчур плодовиты как писатель или что в ваших романах чересчур много аллюзий?

— Писательская плодовитость сделалась грехом только после того, как люди из кружка Блумсбери, особенно Форстер, провозгласили, что хороший тон требует, так сказать, сквалыжничать при производстве текстов. Меня раздражают не столько насмешки над моим предполагаемым перепроизводством, сколько намеки, будто “писать много” — значит “писать плохо”. Я всегда пишу очень тщательно и даже несколько медлительно. Просто я посвящаю работе намного больше часов в день, чем удается выкроить некоторым писателям. Что до аллюзий — подразумеваются, полагаю, литературные аллюзии, — так это, разумеется, дань традиции. За любой книгой стоят все остальные книги, написанные когда бы то ни было. Автор эти книги знает; и читателю тоже следовало бы знать.

— В какое время дня вы обычно работаете?

— По-моему, это не особенно важно; я работаю по утрам, но считаю, что для работы хорошо подходит дневное время. Большинство людей днем спит. Я же всегда находил, что это

“Anthony Burgess: The Art of Fiction No 48” © Anthony Burgess, The Paris Review 1973
© Светлана Силакова. Перевод, 2017

хорошее время для работы, особенно если второй завтрак у тебя не слишком плотный. Это время затишья. В это время твое тело находится не в самом бдительном, не в самом восприимчивом состоянии: тело бездействует, дремлет; зато мозг может быть весьма бдителен. Кроме того, я считаю, что подсознание обычно заявляет о себе именно после полудня. По утрам голова ясная, но днем нам следует гораздо активнее исследовать закоулки сознания.

— Очень интересно. Тем не менее Томас Манн практически каждый день писал строго с девяти утра до часу дня, словно ему требовалось отмечать начало и конец работы на табельных часах.

— Да. Можно работать с девяти до часу, и, по-моему, это идеально; но я нахожу, что нужно использовать дневное время. Оно всегда было для меня удачным. Наверно, это у меня со времен, когда я писал в Малайе. Все утро я проводил на работе. После полудня почти все мы ложились спать; воцарялась полная тишина. Даже слуги спали, даже собаки спали. Можно было работать на солнышке в тишине, пока не смеркалось, и тогда ты созревал для вечерних занятий. Почти всю свою работу я выполняю днем.

— Воображаете ли вы идеального читателя своих книг?

— Идеальный читатель моих романов — отпавший от церкви католик и неудавшийся музыкант, близорукий, дальтоник, с гипертрофированно развитым слуховым восприятием, прочитавший те же книги, которые прочел и я. А еще приблизительно мой ровесник.

— Читатель, несомненно, специфический. Значит, вы пишете для узкой, высокообразованной аудитории?

— Далеко бы продвинулся Шекспир, если бы ориентировался только на специфическую аудиторию? Он стремился нравиться всем слоям публики, имел кое-что про запас как для самых утонченных интеллектуалов (тех, кто прочел Монтеня), так и, в гораздо больших дозах, для тех, кто мог оценить только секс и кровопролитие. Мне нравится разрабатывать сюжеты, которые способны заинтересовать широкую — широкую в разумных пределах — аудиторию. Но возьмем "Бесплодную землю" Элиота: она пронизана глубокой эрудицией, но — вероятно, благодаря своим элементам, близким к массовой культуре, и обаянию своей риторики — полюбилась тем, кто при первом прочтении ее не понял, а потом заставил себя разобраться. Для Элиота эта поэма была конечной точкой на пути всестороннего познания, а для других сделалась отправной точкой развития эрудиции. Думаю, всякий писатель хочет "сотворить" себе аудиторию. Но творит он по своему образу и подобию, и его основная аудитория — зеркало.

— Волнует ли вас мнение критиков?

— Я злюсь на глупость критиков, которые сознательно отказываются понять, о чем на самом деле мои книги. Я знаю, недоброжелательное отношение ко мне действительно существует, особенно в Англии. Ужасно больно, когда негативную рецензию пишет человек, которого я высоко ценю.

— *Стали бы вы из-за замечаний критика менять замысел книги или любого другого литературного начинания?*

— По-моему, если не считать случая, когда из "Заводного апельсина" выкинули всю последнюю главу, меня никогда не просили переделывать написанное. Полагаю, автор лучше знает, что ему писать: в том, что касается структуры, замысла и т. п. Дело критика — истолковывать элементы глубинных пластов, о которых автор никак не может знать. А когда толкуют о том, в чем писатель сплоховал: о технике письма, вопросах вкуса и т. п. ...Что ж, лишь в редких случаях критик указывает на огрехи, о которых сам писатель пока не подозревает.

— *Вы упоминали о возможности поработать со Стэнли Кубриком над киноверсией жизни Наполеона. Можете ли вы сохранять полную самостоятельность при обдумывании романа о Наполеоне, который вы сейчас пишете?*

— Проект о Наполеоне, который мы начинали вместе с Кубриком, теперь развивается самостоятельно и к Кубрику больше не имеет никакого отношения. Я обнаружил, что эта тема заинтересовала меня в разрезе, не предполагающем экранизации, и Кубрик не сможет воплотить в кино то, над чем я работаю теперь. Жаль, что я потеряю в деньгах и всяком таком прочем, но в остальном я рад чувствовать себя свободным, рад, что мне никто не заглядывает через плечо.

— *Вы были профессиональным рецензентом. Помогло ли вам это писать романы? Или, наоборот, чинило помехи?*

— Никаких помех не было. От сочинения романов это меня не отвратило. Зато подкинуло благоприятные возможности. Заставило вникать в те сферы жизни, куда бы я по собственной воле не сунулся. Давало мне деньги на текущие расходы. Романы приносят такие деньги лишь в редких случаях.

— *Случалось ли, что при работе над рецензиями вы нежданно-негаданно набредали на новые для себя темы или книги, которые впоследствии приобрели для вас огромное значение?*

— Писателю полезно рецензировать книги, в которых он теоретически вообще не должен разбираться и которыми он теоретически интересоваться не должен. Рецензирование для журналов типа "Кантри лайф" (от которых пахнет скорее лошадьми, чем сафьяновыми переплетами) означает, что ты прорабатываешь отличную пеструю выборку книг, и в результате тебе часто открываются области жизни, которые

чем-то пригодятся для твоей творческой работы. Например, мне приходилось рецензировать книги о заведывании конюшней, вышивке, автомобильных моторах — о весьма полезных житейских познаниях и умениях, о том самом, из чего складываются романы. Рецензирование короткой лекции Леви-Стросса по антропологии (лекции, которую никто другой не хотел рецензировать) стало отправной точкой процесса, который привел меня к написанию романа "М. Ф.".

— Вы подчеркивали, что для хорошего рецензента важна пунктуальность. Как вы думаете, литератор, занятый творческой работой, тоже должен придерживаться жесткого рабочего графика?

— Обычай сдавать заказанную вещь вовремя — один из признаков воспитанности. Я не люблю опаздывать на деловые встречи; мне не нравится вымаливать снисхождение у редакторов, когда не успеваешь к сроку. Корректность в журналистской работе обычно приучает к дисциплинированности и в творчестве. Когда берешься за роман, важно избежать канители. Если ты потратишь на роман слишком много времени или станешь делать слишком долгие перерывы между сеансами работы, роман обычно теряет свою цельность. Такова одна из бед "Улисса". Конец не похож на начало. На середине романа писательская техника меняется. Джойс потратил на эту книгу слишком много времени.

— Вы хотите сказать, что монолог Молли Блум не подходит для финала, так как по технике письма отличается от трех первых глав, посвященных Стивену Дедалусу?

— Я имею в виду не финальную часть "Улисса". Я хочу сказать, что, начиная с эпизода "Циклопы", Джойс принимает решение удлинять главы, чтобы время, потраченное на их чтение, совпадало с гипотетической длительностью действия. В этом смысле "Улисс" не настолько целостен в техническом отношении, как предпочитают думать читатели. Сравните эпизод "Эол" с "Быками солнца", и вы увидите, о чем я говорю.

— Если учесть, сколько времени потратил на свой роман Пруст, сколько времени Манн посвятил "Иосифу и его братьям", неужели для такого великого произведения, как "Улисс", семь лет — это слишком долго? А как тогда оценивать тот факт, что с "Поминками по Финнегану" Джойс провозился семнадцать лет?

— Наверно, по большому счету читателя не должно волновать, сколько времени ушло на написание книги. ("Мадам Бовари", книга относительно небольшая, наверняка писалась дольше, чем тетралогия об Иосифе). Вопрос только в том, способен ли писатель на протяжении длительного времени оставаться одним и тем же человеком, у которого одни и те же цели, один и тот же подход к технике. "Улисс", вещь нова-

торская, был просто обязан в процессе создания становиться все более новаторским, и это в некотором роде лишает его цельности. В "Поминках по Финнегану", хотя они отняли намного больше времени, основная техника письма установилась довольно быстро.

— Насколько я понимаю, скоро выйдет ваша новая книга "Укол Джойсом". Чем она отличается от "О Джойсе"?

— В "Уколе Джойсом" до известной степени охвачен тот же материал, что и в книге "О Джойсе". Это попытка взглянуть на характер джойсовского языка, но не с чисто лингвистической точки зрения, а с точки зрения, которая находится, так сказать, ровно на полдороге между литературной критикой и лингвистикой; научных терминов в книге почти нет. В ней проведен фонетический анализ джойсовского языка; нынче мало лингвистов, которые в состоянии это сделать. Фонетика — фи, как старомодно. Но в книге все же рассмотрены вопросы диалектов в "Улиссе", то, как важно установить правильное произношение звуков в "Поминках по Финнегану", проанализировано, как Джойс строит фразу. Книга не углубляется в какие-то там недра; она задумана, как введение в джойсовский язык для начинающих; подлинное исследование языкового метода Джойса следует препоручить кому-то, кто ученее меня.

— Вы говорите, что применяете к языку Джойса старомодный, по вашему же выражению, фонетический подход; но в "М. Ф." вы нашли применение структурализму Леви-Стросса. Было бы вам интересно взглянуть на Джойса под углом структурной лингвистики?

— Думаю, это не по моей части; думаю, это следует препоручить ученым. Думаю, для этого нужно постоянно работать в университете, а не впрягаться, как я, в работу над книгами, преподавание, чтение лекций и довольно пеструю жизнь в индустрии "шоу-биза"; нет, это работа для бесстрастного ученого. Думаю, у меня нет надлежащей квалификации. Мне интересно, какие звуки слышит Джойс, когда он записывает речь Молли Блум, Леопольда Блума и второстепенных персонажей. Рискну утверждать, что этот вопрос имеет огромное значение для литературы, так как финальный монолог Молли Блум предписывает ей определенную манеру выражаться, которая не вяжется с происхождением Молли, упомянутым в тексте. Тут у Джойса нечто совершенно неправдоподобное — тот факт, что Молли Блум, дочь майора, получившая воспитание в гарнизоне на Гибралтаре, приезжает в Дублин, изъясняясь и мысля на манер любой простой дублинской торговки с рыбного рынка. Это выглядит совершенно несообразно, причем до меня на эту несообразность никто не указывал. Я знаю Гибралтар лучше, чем знал его Джойс, лучше, чем боль-

шинство джойсоведов. И пытаюсь проанализировать эту деталь.

— Допустим, монолог Молли слишком изящен, но разве Джойс не стремился сделать так, чтобы из просторечия возникала поэтичность? Разве у него не было такой идеи?

— Монолог недостаточно изящен. Я имею в виду тот факт, что она употребляет ирландские выражения типа "Pshaw"[1]. Она бы не стала употреблять никаких подобных слов, ничего подобного.

— География неподходящая.

— Тут предполагается определенная закономерность. Социальное происхождение неподходящее. В малюсеньком городе-гарнизоне типа Гибралтара, воспитанная этим самым майором Твиди, чья предыдущая жена была испанка, дочь Твиди, наполовину испанка, владела бы либо испанским как родным (но с нестандартной грамматикой), либо английским как родным, но определенно говорила бы на обоих языках, в первом случае — на андалузский манер, во втором — на псевдоаристократический манер, с четким сознанием своей принадлежности к определенному социальному слою. Никак невозможно, чтобы по возвращении в Дублин она вдруг принялась бы изъясняться в стиле дублинских торговок рыбой.

— Значит, в плане социального происхождения язык Молли, наверно, ближе к языку Норы Барнакл.

— Верно. Этот образ в финале — образ Норы Барнакл, а вовсе не Молли. А как нам известно по письмам Норы, Джойс, должно быть, скрупулезно изучал ее письма и учился по ним воссоздавать эту нежную женскую манеру речи. Нора обходилась без каких-либо знаков пунктуации, и порой фрагмент письма Норы трудно отличить от отрывка из финального монолога Молли.

— Буду ждать выхода этой книги. Не подумываете ли вы написать какой-нибудь длинный, объемистый роман?

— Я задумал два длинных романа: один — про театральную династию от средневековья до дня сегодняшнего, другой — о некоем великом британском композиторе. Настолько крупные проекты, что я боюсь к ним приступать.

— А может быть, вам для начала написать несколько отрывков, придав им форму рассказов?

Писать рассказы я не могу. Во всяком случае, они мне нелегко даются, и, кроме того, я предпочел бы держать свой роман под спудом, пока он не будет готов увидеть свет. Однажды я совершил просчет — опубликовал в "Трансатлантик ревью"

1. "Тьфу" (*англ.*). (*Здесь и далее – прим. С. Силаковой и Н. Мельникова.*)

главу из романа, который тогда был в стадии формирования, и один лишь взгляд на этот отрывок, набранный сухим типографским шрифтом, внушил мне отвращение к моему начинанию. Это мой единственный незаконченный роман.

— Вы все еще надеетесь написать роман о встрече Тезея с Минотавром? Или сценарий Роуклиффа в "Эндерби" поставил крест на этом замысле?

— Что касается идеи Минотавра, то я думал опубликовать томик всех стихов Эндерби, и в эту книгу попало бы и его "Ручной зверь" (кстати, эти слова стали названием итальянской версии "Эндерби" — "La Dolce Bestia"). Я могу понять, какой смысл притворяться, будто твою книгу, особенно твою книгу стихов, написал за тебя кто-то другой. Снимаешь с себя ответственность. Мол, "знаю-знаю, книга плохая, но я же ее не писал: ее написал один из моих персонажей". "Дон Кихот", "Лолита", "Ада" — старая, доныне не увядающая традиция. Я не знаю, что такое творческий кризис, что такое "не пишется": это случается лишь с моими авторучками, но не со мной; но, бывает, меня так тошнит от написанного, что неохота продолжать.

— Как вы приступаете к работе: вначале пишете наиболее значимые сцены, как делал Джойс Кэри?

— Начинаю с самого начала, дохожу до конца и на этом прекращаю писать.

— И каждая книга заранее планируется целиком?

— Вначале я набрасываю небольшой план: список имен, черновой синопсис глав и так далее. Но чересчур все распланировать — на это как-то не осмеливаешься; столько всего рождается непосредственно в момент написания.

— А нехудожественные вещи вы пишете как-то иначе?

— Процесс тот же самый.

— Сильно ли влияет на конечное произведение тот факт, что первый черновик вы печатаете на машинке?

— У меня вообще не бывает черновиков. Я по много раз переделываю первую страницу, потом перехожу ко второй. Складываю страницы в стопку, и каждая из них — уже в окончательной форме, и со временем получается роман, который, в моем понимании, уже не нуждается в шлифовке.

— Значит, вы вообще ничего не шлифуете?

— Как я уже сказал, шлифовке подвергается каждая страница, а не каждая глава всей книги. Переписывать всю книгу было бы скучно.

— Почему вы решили спустя несколько лет продолжить роман "Мистер Эндерби изнутри" — первую половину "Эндерби"?

— Я планировал это произведение как длинный роман, который в итоге был опубликован в Америке, но поскольку бли-

зился конец единственного года жизни, который дали мне врачи, то на рубеже 1959–1960-го я смог написать только первую половину. Нежелание издателей публиковать "Мистер Эндерби изнутри", как называлась первая часть в Англии, заставило меня отложить работу над второй частью. Но всю историю я держал в голове с самого начала.

— После того как на Брунее вы прямо на занятии упали в обморок и врачи поставили вам диагноз "опухоль мозга", почему вы решили посвятить свой "последний год" писательской работе, а не путешествиям, например? Вы чувствовали себя полуинвалидом?

— Никаким полуинвалидом я не был. Чувствовал себя бодрым и деятельным. (Это, кстати, заставило меня усомниться в диагнозе.) Но для путешествий по миру требуются деньги, а у меня их не было. Только в романах люди, которым осталось жить "последний год", имеют какие-то сбережения на черный день. Дело в том, что нам с женой надо было что-то есть и т. д. и т. п., а единственная работа, которую я мог выполнять (кто бы меня тогда нанял, а?) — это писать книги. Писал я много, потому что платили мне мало. Я не особо жаждал оставить после себя громкое литературное имя.

— Изменился ли ваш стиль на протяжении того года? Если изменился, то, возможно, оттого, что вы чувствовали себя приговоренным к смерти?

— Не думаю, что он изменился. К тому времени, с возрастом, у меня уже сложился какой-то свой стиль повествования; но, разумеется, подлинная работа над стилем началась впоследствии. Романы, написанные в тот, так сказать, квазипредсмертный год — псевдопредсмертный год, — создавались, знаете ли, без излишней спешки; идея была в том, чтобы усердно работать каждый день, очень усердно и каждый день, причем целый день и по вечерам тоже. В эти произведения вложено огромное усердие, а люди, рассматривая то, что им кажется результатами чрезмерной плодовитости, склонны разыскивать признаки небрежности. Возможно, легкая небрежность была; но не из-за спешки или мнимой спешки, а из-за изъянов в том, как я устроен. Не думаю, что можно утверждать, будто какая-то конкретная вещь явно написана в предсмертный год. Не думаю, что между романами есть какие-то качественные различия; также я определенно не замечал никакого влияния на стиль, на манеру письма, которое исходило бы от знания, что этот год — последний.

— В некоторые из ваших романов включены стихи, написанные разными персонажами. Не думали ли вы вернуться к серьезному сочинению стихов?

— Я видел постановку моей версии "Сирано де Бержерака". Она написана в рифму и, как я и ожидал, хорошо выполнила

возложенную на нее задачу. Но я не планирую книг стихов — это было бы что-то слишком обнаженное, слишком личное. Я планирую новые переводы для театра — "Пер Гюнт", чеховская "Чайка", — работаю над мюзиклом по "Улиссу". Намного вероятнее, что я вернусь к музыке. Меня попросили написать концерт для кларнета, а моя музыка к "Сирано" была встречена довольно тепло.

— *Вы когда-либо используете музыкальные формы при планировании своих романов?*

— О да, у музыкальных форм можно многому научиться, я планирую роман в стиле классической симфонии[1] — с менуэтом и всем таким прочим. Мотивации будут чисто формальными, так что часть-разработка, где воплощаются эротические фантазии, может, без каких-либо объяснений или переходных приемов, следовать за реалистичной экспозицией, а потом возвращаться к этой экспозиции (теперь уже в качестве репризы) тоже без психологических обоснований или фокусов с формой.

— *Композиторы много оперируют связующими звеньями. Не согласитесь ли вы с мыслью, что этот конкретный случай выстраивания литературного произведения по аналогии с музыкальным — образчик "фокусов с формой", которые лучше всего поймет читатель-музыкант, пусть даже музыкант он непрофессиональный?*

— Полагаю, тех, кто занимается другими искусствами, музыка действительно учит полезным формальным приемам, но читатель не обязан знать, откуда эти приемы берутся. Вот один пример. Композитор переходит из одной тональности в другую, используя "каламбурный" аккорд, увеличенный секстаккорд (каламбурный, так как это одновременно доминантсептакккорд). В романе можно переходить от сцены к сцене, используя фразу или утверждение, которое их объединяет: это делается сплошь и рядом. Если же фраза или утверждение в разных контекстах имеют разное значение, тем лучше, тем музыкальнее.

— *Можно подметить, что форма романа "Вид на крепостную стену", согласно замыслу, повторяет форму пассакалии, которую пишет Эннис, но можно ли в целом проводить между музыкой и литературой аналогии — разве что самые приблизительные?*

— Соглашусь, что аналогии между музыкой и литературой могут быть крайне приблизительными, но в самом широком из возможных смыслов, касающемся формы (сонатная форма, опера и так далее), мы едва начали исследовать потенци-

1. Речь идет о романе "Наполеоновская симфония" (1974), над которым Бёрджесс работал в это время.

альные возможности этих аналогий. Роман о Наполеоне, над которым я работаю, по своей форме копирует "Героическую симфонию": в первой части (вплоть до коронации Наполеона) — раздражительность, быстрота, стремительные переходы; во второй — медлительность, тягучая неспешность, со связующим ритмом, напоминающим похоронный марш. И это не прихоть, а попытка объединить массив исторического материала в тексте относительно небольшого — примерно сто пятьдесят тысяч слов — объема. Что до того, должен ли читатель разбираться в музыке, то это, в сущности, почти не имеет значения. В одном романе я написал: "Оркестр грянул громкий аккорд из двенадцати нот, причем все ноты были разные". Музыканты слышат, что это диссонанс, не-музыканты не слышат, но все равно фраза их не озадачивает, не мешает им читать дальше. Мне непонятна бейсбольная терминология, но я все равно могу наслаждаться "Самородком" Маламуда. В бридж я не играю, но партию в бридж в "Лунном гонщике" Флеминга нахожу захватывающей: важно не то, что игроки делают руками, а какие эмоции передаются через описание их действий.

— А что вы скажете о влиянии техники кинематографа на вашу писательскую работу?

— На меня гораздо больше повлиял театр, чем кино. Сцены, которые я пишу, слишком длинны для того, чтобы при экранизации снимать их одним дублем. Но мне нравится прокручивать сцену у себя в голове перед тем, как я заношу ее на бумагу: вижу, как все происходит, слышу обрывки диалогов. Для телевидения и кино я тоже писал, но не очень успешно. Получалось что-то слишком литературное или даже не знаю что. Режиссеры исторических фильмов зовут меня перерабатывать диалоги, а потом возвращают им изначальный вид.

— А что сталось с предложениями экранизировать "Эндерби" и "На солнце не похожи"[1] *?*

Съемки "Эндерби" сорвались, потому что на Каннском кинофестивале продюсер вдруг упал замертво. Шекспировский проект[2] едва не осуществился, но дело было во время продажи "Уорнер Бразерз", и, когда власть на киностудии сменилась, все прежние начинания пошли под нож. Может статься, проект все же когда-нибудь осуществится. У киношников

1. Роман Бёрджесса, названный цитатой из сонета Шекспира "На солнце не похожи", издан на русском языке под названием "Влюбленный Шекспир", но не имеет никакого отношения к одноименному фильму.
2. По-видимому, речь идет о сценарии музыкального фильма по мотивам биографии Шекспира.

крайне консервативный подход к диалогам — они искренне уверены, что мгновенная понятность слов важнее, чем эффект ритма и эмоциональной подачи текста. Считается остроумным притворяться, будто в прошлом люди разговаривали бы совсем как мы с вами, если бы им посчастливилось позаимствовать наш язык, они схватились бы за шанс увидеть себя и свою эпоху нашими глазами. "Лев зимой" считается блистательным решением проблемы средневековых диалогов, но, разумеется, это лишь дешевое трюкачество.

— *А роман, над которым вы сейчас работаете, – подбрасывает ли он вам какие-то конкретные языковые проблемы, которые могли бы озадачить и Стэнли Кубрика?*

— В плане диалогов роман о Наполеоне писать трудно, но интуиция подсказывает, что нужно использовать ритмы и лексику, которые не так уж отличаются от наших. Как-никак, "Дон Жуан" Байрона мог бы быть написан чуть ли не сегодня. Могу себе представить, что тогдашние солдаты разговаривали совершенно так, как нынешние.

В любом случае, разговаривают они на французском языке. Что касается фильма о Наполеоне, то Кубрик должен идти своим путем, и он обнаружит, что путь этот нелегкий.

— *Как вы думаете, вы вернетесь к сочинению исторических романов?*

— Я подумываю написать роман, который должен приемами Дос Пассоса передать атмосферу Англии в правление Эдуарда III. По-моему, возможности у исторического романа колоссальные, если только его автор — не Мэри Рено[1] или Джорджетт Хейер[2]. XIV век, каким он предстанет в моем романе, будет изображаться преимущественно через запахи и интуитивные ощущения, и во всем этом будет сквозить не сладенькая ностальгия по старой — хей-нонни![3] — Англии, а безотчетное отвращение.

— *Какую именно технику Дос Пассоса вы намерены применить?*

— Роман, который я задумал — а я уже составил его план на девяносто страниц,— повествует о Черном Принце. Мне показалось, что выйдет занятно, если я бессовестно украду у Дос Пассоса его приемы "Камера-обскура" и "Новости дня" — просто посмотрю, как они будут работать, особенно в отно-

1. Мэри Рено (урожд. Эйлин Мэри Чаллэнс; 1905–1983) — английская писательница, подвизавшаяся на ниве исторической прозы.
2. Джорджетт Хейер (1902–1974) — английская писательница, автор многочисленных детективных и любовных романов из "эпохи Регенства" (1810-е гг.).
3. Хей-нонни — слово-паразит из языка елизаветинцев, аналог русского "ай-люли" или "тра-ля-ля" в песнях. Например, у Шекспира "хей-нонни" (hey nonny) встречается в пьесе "Много шума из ничего", в песне Бенедикта (акт II, сцена 3).

шении Черной Смерти, битвы при Креси и испанской кампании. Возможно, покажется, что это XIV век в какой-то другой галактике, где язык и литература каким-то образом перескочили в XX век. Возможно, из-за этой техники исторические персонажи станут выглядеть далекими от нас и довольно комичными; того-то мне и надо.

— Неужели пересказы греческих мифов у Мэри Рено настолько плохи?

— Да нет, не сказать, что они совсем никуда не годятся, отнюдь. Добротное динамичное чтиво, если вам такое нравится. Просто во мне они не пробуждают отклика, вот и все. Бесспорно, дело не в них — это со мной что-то неладно.

— Как вы думаете, напишете ли вы еще один роман о будущем, что-то типа "Заводного апельсина" или "Вожделеющего семени"?

Романов о будущем я не планирую, за исключением одной безумной новеллы, где Англия сделалась всего лишь туристической достопримечательностью под управлением Америки.

— То есть Англия превратится в гигантскую сувенирную лавку? Или в пятьдесят первый штат?

— Когда-то я думал, что Англия могла бы превратиться просто в местечко, где радуются гостям, наподобие того острова в "Мэри Роуз"[1] Дж. М. Барри, но теперь я наблюдаю, что столько вещей, на которые стоит посмотреть, столько старины исчезает ради того, чтобы Англия могла превратиться в циклопический Лос-Анджелес: сплошные автострады, передвижение важнее, чем прибытие в пункт назначения. Теперь вместо интеграции в Америку, интеграции, которой я когда-то ждал, и даже с надеждой, Англия движется к интеграции в Европу и, наверно, переймет у Европы ее недостатки, но не достоинства. Десятеричная монетная система — это чудовищно, а скоро пиво будут мерить на литры, как в "1984", а дешевого вина и ординарного табака не станет. В любом случае, это поглощение, поскольку Англия должна либо сама поглощать, либо подвергнуться поглощению. Наполеон победил.

— Вы упомянули, что в британском издании "Заводной апельсин" завершается главой, которая отсутствует в американских изданиях. Вас это не коробит?

— Да, меня бесит, что существуют две разные версии одной и той же книги. В американском издании недостает одной главы, и потому арифметический план скомкан. Кроме того, в американском издании недостает подспудного взгля-

1. "Мэри-Роуз" — пьеса Джеймса Мэттью Барри (1860—1937), героиня которой таинственно исчезает на шотландском острове, а затем, спустя долгое время, возвращается, не постарев ни на день.

да на подростковую жестокость как на стадию, через которую нужно пройти и перерасти ее; поэтому книга низводится до всего лишь притчи, хотя замышлялась как роман.

— А что происходит в той двадцать первой главе?

— В двадцать первой главе Алекс взрослеет и осознает, что ультражестокость — это как-то скучно, а ему пора обзавестись женой и malenky гулюкающим malchickiwick, который будет звать его "па-па-па-папа". Это задумывалось как умозаключение зрелого человека, но в Америке идея такого финала никому так и не понравилась.

— Раздумывал ли Стэнли Кубрик об экранизации версии, которая вышла в издательстве "Хайнеманн"?

— О существовании последней главы Кубрик узнал, когда снял уже полфильма, но думать о смене замысла было уже поздно. В любом случае он тоже счел последнюю главу чересчур пресной — он же американец. А я сам не знаю, что теперь о ней думать. Как-никак, с тех пор как я это написал, прошло двенадцать лет.

— А вы пытались опубликовать в Америке роман полностью?

— Да... Вообще-то я сильно сомневался в этой книге как таковой. Когда я ее написал, моему литагенту даже не хотелось предлагать ее издателям, что довольно необычно; а издатели, работающие в Англии, отнеслись к ней с большим сомнением. Итак, когда американский издатель стал возражать против финальной главы, я счел, что мои позиции на переговорах не очень сильны. Я не вполне решался выносить оценку своей книге, я же стоял к ней слишком близко. Я подумал: "Ну-у, возможно, они правы". Понимаете, авторы имеют обыкновение (особенно когда книга уже дописана) сильно сомневаться в ее ценности; и, пожалуй, я капитулировал слишком малодушно, но отчасти я руководствовался финансовыми соображениями. Я хотел издать книгу в Америке и получить с этого какие-то деньги. И я согласился. Не знаю, согласился бы я теперь; но столько критиков убеждало меня, что в американской версии книга сильно выиграла, что я говорю: "Ну ладно, им лучше знать".

— А возможен ли такой вариант: какое-нибудь американское издательство делает малотиражное издание "Заводного апельсина" в твердом переплете и включает туда вычеркнутую главу наподобие приложения?

— Думаю, возможен. Лучше всего было бы сделать издание с комментариями и этой финальной главой; мои издатели почему-то возражают против такой идеи, даже не знаю почему. Мне было бы очень интересно послушать, что скажет среднестатистический, например, американский студент о различиях между двумя версиями. Ведь сам я теперь не могу

четко разобраться, правильно ли я поступил. А какого мнения придерживаетесь вы, как вы к этому относитесь?

— Насчет финальной главы у меня есть сомнения, поскольку, хотя она переносит роман в совершенно иной контекст, она словно бы разочаровывает после изящного воскрешения прежнего Алекса в двадцатой главе.

— Так и есть.

— И все же она должна остаться, так как, когда этот контекст убирают, меняется смысл, вложенный вами в книгу.

— Что ж, худший из известных мне случаев необоснованного редакторского вмешательства — "Конец парада" Форда Мэдокса Форда, когда в британском издании, под маркой "Бодли Хед", Грэм Грин взял на себя смелость представить читателю "Конец парада" в качестве трилогии, сославшись на то, что не считает четвертый роман, "Последний пост", удачным и подозревает, что Форд, пожалуй, согласился бы с его мнением; и потому Грин позволил себе вольность избавиться от финального тома. Думаю, Грин неправ; думаю, что бы ни говорил Форд, "Конец парада" — все равно тетралогия, и утрата финального тома ее сильно калечит. В суждениях о таких вещах нельзя доверять автору. Авторы частенько стараются смотреть на свои книги равнодушно. Авторов определенно тошнит от их собственных книг, тошнит настолько, что они не хотят судить о них всерьез. Эта проблема всплывает, видите ли, когда читаешь "Пригоршню праха" Ивлина Во, потому что этот ужасающий финал (где Тони Ласт только и делает, что читает Диккенса метису в джунглях) раньше публиковался в качестве рассказа; и, когда ты знаешь рассказ, у тебя возникает странное отношение к роману. Напрашивается ощущение, что разнородные вещи преднамеренно были склеены воедино, и исполинская фигура, возникающая в финале, не рождается из книги естественным путем, а лишь произвольно заимствуется из другого произведения. Возможно, о таких вещах лучше не знать слишком много. Но, разумеется, ты неизбежно о них узнаешь. Две версии "Пути всякой плоти" Сэмюэла Батлера ставят нас перед проблемой. Которая из версий нам больше понравится, которая — правильная? Лучше знать только одну версию, оставаться в полном неведении о том, что происходило. Ну, понимаете, о закулисной истории той версии, которую мы знаем.

— Но ведь это аргумент против издания "Заводного апельсина" в полной форме, не правда ли? Ведь все накрепко запомнили версию из двадцати глав.

— Не знаю; обе версии важны. Мне кажется, они в каком-то смысле выражают разницу между британским и американским отношением к жизни. Возможно, можно сказать что-то очень глубокое о разнице между этими двумя формами, в ко-

торых роман предложен читателям. Не знаю; я-то не в состоянии судить об этом.

— В "Заводном апельсине" и особенно в "Эндерби" явственно чувствуется насмешка над молодежной культурой и молодежной музыкой. Есть ли в этой культуре и этой музыке хоть что-нибудь хорошее?

— Я презираю все, что на самом деле эфемерно, но подается, словно непреходящая ценность. Например, "Битлз"[1]. Львиная доля молодежной культуры, особенно музыка, основана на крайне слабом знании традиции и часто возводит невежество в ранг достоинства. Подумайте о тех, кто, не зная музыкальной грамоты, пристраиваются в "аранжировщики". А молодежь настолько привержена конформизму, так мало интересуется нестандартными ценностями, так гордится тем, что просто живет на свете, вместо того чтобы гордиться своими делами, так железно уверена, будто она-то знает, что к чему, а остальные — нет.

— Вы когда-то играли в джаз-банде. Можно ли надеяться, что интерес к рок-музыке приведет молодежь к джазу или даже к классической музыке?

— Я до сих пор играю джаз, преимущественно на четырехоктавном электрооргане, и мне это нравится больше, чем джаз слушать. Думаю, джаз создан не для прослушивания, а для исполнения. Мне бы хотелось написать роман о джазовом пианисте или еще лучше о пианисте из паба, которым я когда-то был, как и мой отец до меня[2]. Не думаю, что рок-музыка влечет за собой любовь к джазу. У молодняка удручающе косные вкусы. Молодые дико жаждут, чтоб были слова, а джаз прекрасно обходится без слов.

— У вас есть два романа, где поденщиков от литературы – Шекспира и Эндерби – вдохновляет Муза. Но в то же время вы говорили, что хотели бы воспринимать свои книги как "вещи, изготовленные профессиональным мастером на продажу".

— Муза из "На солнце не похожи" — ненастоящая, это была не муза, а только сифилис. Девушка в "Эндерби" — на самом деле секс, а секс, как и сифилис, имеет определенное отношение к творческому процессу. В смысле, нельзя быть гением и импотентом. Я все равно считаю, что вдохновение рождается из самого акта создания артефакта, вещи, которую изготовляет мастер-ремесленник.

1. В романе "Эндерби снаружи" (1968) знаменитая ливерпульская четверка представлена в травестийном виде как претенциозная рок-группа "Грузи-друзи", состоящая из трех ударников и одного гитариста, харизматичного Йода Крузи (поэта-графомана и плагиатора, чьим образом автор явно метил в Джона Леннона).
2. Замысел был реализован в романе "Пианисты" (1986).

— Значит, произведения искусства — это порождения мощного либидо?

— Да, я считаю, что искусство — это сублимированное либидо. Если ты евнух, ты не можешь быть священником, и художником тоже быть не можешь. Я заинтересовался сифилисом, когда одно время работал в психиатрической больнице, где было множество пациентов с прогрессивным параличом. Я обнаружил корреляцию между спирохетой и безумной одаренностью. Туберкулезная гранулема тоже настраивает на лирический лад. У Китса было и то и другое.

— Повлиял ли ваш интерес к "Доктору Фаустусу" Манна на роль, которую сифилис и другие болезни играют в ваших собственных произведениях?

— Тезис манновского "Доктора Фаустуса" повлиял на меня в значительной мере, но я не хотел бы сам заболеть сифилисом ради того, чтобы сделаться Вагнером, Шекспиром или Генрихом VIII. Слишком высока цена. Ах да, вам, наверно, нужны конкретные примеры этих талантов с прогрессивным параличом. Один мужчина превратил себя в кого-то вроде Скрябина, другой мог назвать вам, на какой день недели выпала любая историческая дата, третий писал стихи в духе Кристофера Смарта[1]. Многие пациенты были красноречивыми ораторами или грандиозными вралями. Там ты чувствовал себя так, словно тебя заперли внутри истории европейского искусства. И политики тоже.

— Использовали ли вы для своих романов какие-то случаи прогрессивного паралича, с которыми столкнулись?

— Вообще-то одно время я намеревался написать длинный роман — что-то наподобие "Волшебной горы", наверно — о жизни в психиатрической больнице; возможно, я все-таки за него засяду. Конечно, есть одна загвоздка: такой роман приобрел бы что-то вроде политического подтекста. Читатели вспомнили бы произведения типа "Ракового корпуса"; возможно, сочли бы, что в романе проводится четкое разграничение между пациентами и персоналом больницы. Получилось бы, что я работаю на поле политической аллегории, так сказать; это очень легко сделать. Но для меня тема психиатрической больницы, которая специализируется на случаях прогрессивного паралича, интересна другим — взаимосвязью болезни с талантом. У таких пациентов прорезаются удивительные умения, в том числе совершенно поразительные безумные таланты... И все эти та-

1. Кристофер Смарт (1722–1771) — английский поэт, с 1756 по 1763 гг. содержался в сумасшедшем доме, где написал прославившие его поэмы "Песнь Давиду" и "Возвеселитесь в Агнце".

ланты происходят от спирохеты. Я пытался отразить эту тему в паре романов (как минимум, в одном), но для того, чтобы сделать это в более крупном масштабе, необходимо логическое обоснование, до которого я пока не додумался. Не думаю, что такой роман надо писать как чисто документальный, натуралистически изображая жизнь таких больниц; но замысел подсказывает, что тут есть связь с какими-то символами, с каким-то внутренним, глубинным смыслом. Конечно, ты никогда не можешь предугадать, что это будет за смысл, но в "Волшебной горе", под внешним слоем натуралистического описания, глубинный смысл есть. Мне не хотелось бы этому подражать. Боюсь, надо дожидаться — иногда подолгу, — пока твой собственный опыт не предстанет перед тобой в форме, пригодной для работы, в форме, из которой можно вылепить что-то вроде художественного произведения.

— Не видите ли вы противоречия между тем, что вы выбрали такого мастера, как Джойс, в качестве одного из своих литературных образцов для подражания, но одновременно относите себя к "писакам с Граб-стрит"[1]*?*

— А в чем тут противоречие? Но я, в сущности, никогда не смотрел на Джойса как на литературный образец. Подражать Джойсу невозможно, и никаких подражаний Джойсу в моем творчестве нет. Все, чему можно научиться у Джойса, — это тщательности при подборе слов. Под "писаками с Граб-стрит" подразумевались не только наши жалкие колумнисты, но и доктор Джонсон, а Джонсон подбирал слова тщательно.

— Вы, безусловно, изучали Джойса весьма дотошно. Что дает знание сделанного им — открывает ли это знание перед человеком больше дверей, чем закрывает?

— Джойс открыл двери только в свой собственный узкий мирок; свои эксперименты он проводил исключительно для самого себя. Но любой роман — экспериментальный роман, и "Поминки по Финнегану" — эксперимент не более эффектный, чем, скажем, "Чванный черномазый" или "Его жена-обезьяна"[2]. Он выглядит эффектно благодаря своему языку. "М. Ф.", хотите верьте, хотите нет, — эксперимент совершенно оригинальный.

— Согласитесь ли вы, что попытка Джойса посвятить практически целый роман бессознательному — нечто большее, чем чисто языковой эксперимент?

1. Граб-стрит — название улицы в Лондоне, где в XVII—XVIII вв. жили и работали полунищие литераторы. "Писаками с Граб-стрит" называли литературных поденщиков.
2. "Чванный черномазый" — роман английского писателя Рональда Фербенка (1886—1926). "Его жена-обезьяна" — роман английского писателя Джона Кольера (1901—1980).

— Да, конечно. Мир бодрствующего сознания узок лишь в том смысле, что на деле он погружен в сон, он сосредоточен на одном-единственном наборе побуждений, а персонажей в нем слишком мало.

— *Но ведь современные писатели могли бы применить некоторые приемы Джойса, не скатываясь в банальное подражание?*

— Приемы Джойса невозможно применять, не будучи Джойсом. Техника неотделима от материала. Нельзя писать, как Бетховен, и при этом писать не "бетховенщину", а что-то другое, — разве что ты и есть Бетховен.

— *Повлиял ли на ваше творчество Набоков? Вы очень хвалили "Лолиту".*

— Прочтение "Лолиты" означало, что в "Праве на ответ" я с удовольствием использовал перечни разного рода вещей. Набоков повлиял на меня не очень сильно, да я и не намерен поддаваться его влиянию. Я писал так, как пишу, еще до того, как вообще узнал о его существовании. Но за последние лет десять ни один писатель не производил на меня такого огромного впечатления.

— *И все же вас называют "английским Набоковым", вероятно, из-за некоего налета космополитизма и присущей вашему творчеству словесной изобретательности.*

— Влияние равно нулю. Он русский, я англичанин. В том, что касается некоторых талантов, обусловленных темпераментом, я отчасти с ним совпадаю. Но он очень искусственный.

— *В каком смысле?*

— Набоков — прирожденный денди грандиозного международного масштаба. А я остаюсь парнишкой-провинциалом, который боится, что его костюм сочтут слишком опрятным. Литература вообще искусственна, и творения Набокова неестественны только по части récit[1]. Диалоги у него всегда естественные и виртуозные (когда он сам этого хочет). "Бледный огонь" называется романом лишь потому, что для него не придумано другого термина. Это мастерски изготовленный литературный артефакт, представляющий собой поэму, комментарий, историю болезни, аллегорию, безупречную композицию. Но я подмечаю, что, прочитав книгу по первому разу, большинство людей затем перечитывает поэму, а не то, что накручено вокруг нее. Поэма, безусловно, прекрасная. Что Набоков, по-моему, делает не так: у него порой старомодное звучание; беда в ритме, такое ощущение, что Гюисманс для Набокова — живой и современный писатель, чья традиция достойна продолжения. Джон Апдайк иногда звучит ста-

1. Повествование (*франц.*).

ромодно в том же смысле: лексика и образность восхитительны, но ритм недостаточно мускулист.

— Заслуживает ли Набоков места в высшей лиге, рядом с Джойсом?

— Он не останется в истории среди величайших имен. Он недостоин расстегивать крючки на ботинках Джойса.

— Появились ли в последнее время какие-то молодые писатели, которым, на ваш взгляд, суждено стать великими?

— В Англии ни одного не могу припомнить. А с американскими писателями беда — они умирают раньше, чем становятся великими: Натанаэль Уэст, Скотт Фицджеральд и т. п. Мейлер станет великим автором автобиографии. Эллисон[1] будет великим, если только станет писать побольше. Слишком много homines unius libri[2] типа Хеллера.

— Как бы то ни было, американские писатели определенно склонны сгорать рано. Как вы думаете, одна книга — это слишком мало для того, чтобы писатель заслужил звание "великого"?

— Человек может написать одну великую книгу, но великим писателем это его не сделает — он будет лишь автором одной великой книги. "Путь всякой плоти" Сэмюэля Батлера — великий роман, но Батлера никто не называет великим романистом. Думаю, чтобы стать великим романистом, писатель должен очень широко брать и очень далеко углубляться.

— Есть ли у Фицджеральда хоть один великий роман?

Я не считаю книги Фицджеральда великими: стиль чересчур заемно-романтический, намного меньше той любопытной свежести взгляда, которую находишь у Хемингуэя... Хемингуэй — великий романист, по-моему, но он так и не написал ни одного великого романа (а вот великую повесть написал). Мне кажется, Америке нравится, когда ее творческие люди умирают молодыми, во искупление грехов меркантильной Америки. Англичане препоручают безвременную смерть кельтам типа Дилана Томаса и Биэна[3]. Но я не могу понять этих американских творческих кризисов — например, у Эллисона или Сэлинджера, — разве что подоплека в том, что человек, испытывающий кризис, не имеет финансовой необходимости писать книги (а у английского писателя такая необходимость обычно присутствует, он не может рассчитывать на гранты или жилье

1. Ральф Уолдо Эллисон (1914–1995) — американский прозаик.
2. Писатели одной книги (*лат.*).
3. Речь идет об ирландском писателе, поэте и журналисте Брендане Биэне (1923–1964); будучи активным членом Ирландской республиканской армии, Биэн провел несколько лет в английской тюрьме и некоторое время жил за пределами Ирландии, в Париже; как и знаменитый валлийский поэт Дилан Томас (1914–1953), был известен гомерическим пьянством, которое и свело его в могилу: он умер от цирроза печени.

при университетах) и, следовательно, может позволить себе роскошь опасаться, что критики разругают его новую вещь, сочтя, что она уступает предыдущей (или первой). Когда американские писатели пребывают "в творческом кризисе", они много пьют, и опьянение — этот, в некотором роде, суррогат искусства — усугубляет кризис. Я же предпочитаю, особенно с тех пор, как умерла от цирроза печени моя первая жена (а она пила меньше меня), выпивать по маленькой. Но я много курю, а это, наверно, хуже, чем пять мартини в день.

— Вы хвалили Дефо как романиста и как профессионального журналиста, вы также восхищаетесь Стерном как писателем. Чем вас особенно притягивают эти писатели XVIII века?

— Дефо я восхищаюсь за его усердный труд. А Стерном — за то, что он сделал все, что сейчас столь неумело пытаются делать французы. Проза XVIII века отличается колоссальной живостью и размахом. Но только не Филдинг. Он сентиментален, слишком склонен к хитроумным затеям. Стерн и Свифт (Джойс говорил, что им следовало бы поменяться фамилиями[1]) — вот у кого всю жизнь можно учиться технике.

— Кстати, о французах: ваши озорные "романы идей", как правило, принадлежат скорее к французской традиции, чем к какой-то другой. Может быть, именно это помешало им получить широкую известность в Англии и Америке?

— На самом деле, если говорить об интеллектуальной стороне, мои романы пронизаны средневековым католицизмом, а сегодня людям ничего такого не хочется. Боже упаси мои романы от "французскости". Если их не читают, то потому, что лексика слишком богата, а люди не любят лазить в словарь при чтении какого-то там романа. В любом случае, мне на это наплевать.

— Эта сосредоточенность на католицизме отчасти объясняет тот факт, что ваши романы часто сравнивают с романами Ивлина Во. И все же вы говорили, что вам не импонируют аристократические представления Во о католицизме. А чем вам нравится его творчество?

— Во пишет смешно, Во пишет изящно, Во пишет лаконично. Его католицизм, который я презираю, поскольку все урожденные католики презирают обращенных, — та из его черт, которая значит для меня меньше всего. Собственно, она портит его "Меч почета".

— В этом (а также в сентиментальности) часто обвиняют "Возвращение в Брайдсхед", но "Меч почета" часто называют луч-

1. Стерн созвучно английскому слову "stern" ("суровый"), swift по-английски значит быстрый.

шим из англоязычных романов о Второй мировой войне. В каком смысле католицизм Во (или Гая Краучбека) делает роман слабее?

— Католицизм Краучбека делает "Меч почета" слабее в том смысле, что придает ему узко конфессиональный характер... Я хочу сказать, мы узнаем, как Краучбек смотрит на войну с точки зрения морали, а этого недостаточно: нам нужно нечто глубинное, лежащее под религией. В наши времена основывать роман на католическом богословии — слабость, поскольку это значит, что все вопросы решены заранее и автору не приходится заново размышлять над ними. Слабость "Сути дела" Грина — производное от интереса автора к богословию: страдания героя — страдания богословские, вне узких рамок католицизма они утрачивают легитимную силу. Когда я проходил Во и Грина со студентами-мусульманами в Малайе, они обычно посмеивались. Спрашивали: а почему этот мужчина не может иметь двух жен, если ему так хочется? Что такого в том, что ты съел кусочек хлеба, полученный от священника, а сам спишь с женщиной, на которой не женат? И тому подобное. Над трагическими героями греков и елизаветинцев они никогда не смеялись.

— *Значит, разница между католицизмом у урожденных и обращенных католиков так существенно влияет на творчество писателя, что вы предпочитаете Грэму Грину кого-нибудь типа Франсуа Мориака?*

— Англичане, принимающие католицизм, обычно заворожены его волшебным шармом и даже ищут в нем больше шарма, чем он содержит на самом деле — так Во грезил о старой английской католической аристократии или Грин был заинтригован грехом в каком-то крайне отвлеченном смысле. Хотел бы я, чтобы Мориак как писатель нравился мне больше. На деле я предпочитаю обращенных католиков, потому что они лучше пишут. При чтении Грина я вообще-то пытаюсь забыть, что он католик. И, по-моему, он тоже теперь пытается об этом забыть. "Комедианты" стали чем-то вроде философской поворотной точки. "Путешествия с моей тетушкой" очаровательно свободны от какой-либо морали, кроме упоительной морали шиворот-навыворот.

— *В эссе об Ивлине Во вы упомянули, что "в каждом английском католике притаился в засаде пуританин"*[1]*. Замечаете ли вы это остаточное пуританство, притаившееся в вашем собственном творчестве?*

1. Цитируется бёрджессовский некролог Ивлину Во (Burgess A. Evelyn Waugh, 1903–1966. The Comedy of Ultimate Truths // Spectator, 1966, № 7190 (April 15), p. 462.

— Оно во мне, конечно, есть. Мы, англичане, относимся к своему католицизму серьезно, а итальянцы и французы — нет, и потому мы серьезно относимся к греху, одержимо. Мы всей душой впитали идею ада (а это, пожалуй, ярко выраженное североевропейское понятие) и думаем о нем в момент прелюбодеяния. Во мне столько пуританства, что, когда я описываю поцелуй, я невольно заливаюсь краской.

— Существуют ли какие-то языковые ограничения, которые, на ваш взгляд, должен соблюдать литератор при описании щекотливых тем?

— В художественных произведениях я неохотно описываю амурные подробности, наверно, потому, что так высоко ценю плотскую любовь, что не хочу посвящать посторонних в ее секреты. Ведь, как-никак, когда мы описываем совокупление, мы описываем свой собственный опыт. Мне нравится, когда частная жизнь остается частной. Думаю, другие писатели пусть делают то, что умеют, и, если они могут, не засмущавшись, потратить — как одна девушка, моя американская студентка, — десять страниц на акт фелляции, что ж, пожелаю им удачи. Но я полагаю, что изобретательный обход табу может доставить большее эстетическое удовольствие, чем так называемая полная вседозволенность. Когда я писал мой первый роман об Эндерби, пришлось заставить моего героя говорить "Вали отсюда"[1], поскольку "отъе..сь от меня" тогда было неприемлемо. Ко второй книге обстановка изменилась, и Эндерби получил свободу говорить "отъе..сь". Меня это не устроило. Слишком уж просто. Он по-прежнему говорил "Отвалите" в то время, как другие отвечали "Сам вали в задницу"[2]. Компромисс. Однако в атмосфере табу литература расцветает; собственно, искусство вообще расцветает при столкновении с техническими трудностями.

— Несколько лет назад вы написали: "Полагаю, миром временно управляет неправильный Бог, а настоящий Бог обанкротился", и добавили, что писатель самим своим призванием предрасположен к этому манихейскому воззрению. Вы по-прежнему так считаете?

— Я по-прежнему придерживаюсь этого мнения.

1. Цит. по: Бёрджесс Э. Мистер Эндерби изнутри / Пер. Е. В. Нетесовой. — М.: Центрполиграф, 2002. — С. 113. В оригинале романа (ч. I, гл. 4) главный герой кричит своему обидчику "For cough" (что является паронимом куда более уместного для описываемой ситуации обсценного выражения "Fuck off").
2. Цит. по: Бёрджесс Э. Эндерби снаружи / Пер. Е. В. Нетесовой. — М.: Центрполиграф, 2003. — С. 162. В оригинале (ч. II, гл. 1) уличные хулиганы в ответ на "For cough" Эндерби не стесняясь и не жеманясь отвечают: "You fuck off too, English fuckpig".

— Как вы думаете, почему романисты предрасположены воспринимать мир в понятиях "основополагающих оппозиций"? Ведь, по-видимому, вы, в отличие от манихеев, придерживаетесь традиционной христианской веры в первородный грех.

— Романы пишутся о конфликтах. Мир романиста — мир основополагающих оппозиций в характере, жизненных устремлениях и так далее. Я манихей лишь в самом широком смысле: считаю, что дуальность — это высшая реальность; а эпизод с первородным грехом — в сущности, не оппозиция, хотя и приводит тебя к удручающим французским ересям, например, к янсенизму Грэма Грина, а также к альбигойству (конфессии Жанны д' Арк), катаризму и т. п. Я как романист, если не как человек, имею право на эклектичное богословие.

— Когда вы замышляете свои романы, возникала ли у вас когда-либо мысль разделить их, как делает Сименон, на "коммерческие" и "некоммерческие" произведения или, как Грин, на романы "серьезные" и "развлекательные"?

— Все мои романы относятся к одной категории — они задуманы, можно сказать, как серьезное развлечение, никаких тебе нравственных задач, никакой солидности. Я хочу доставлять удовольствие.

— Значит ли это, что для вас мораль — отдельно, а эстетика — отдельно? Такой подход определенно гармонирует с тем, как в "Шекспире" вы отбросили англосаксонское представление, будто тот, кто достиг высот в искусстве, обязан быть высоконравственным человеком.

— Нет, я не считаю, что мораль — отдельно, а эстетика — отдельно. Я лишь полагаю: тот факт, что кто-то достиг высот в писательстве, никак не отражает его личную этику. Правда, я не считаю, будто дело литературы — учить нас правильному поведению, но, думаю, литература способна, обнажая подоплеку жизненных проблем, прояснить суть нравственного выбора. Литература ищет правду, а правда и добродетель — разные вещи.

— Вы говорили, что роман наделяется неким негласно подразумеваемым набором ценностей, производным от религии, но другие искусства – например, музыка и архитектура – "нейтральны", в отличие от художественной литературы. Возможно, в этой связи другие искусства влекут вас больше, чем литература? Или, наоборот, меньше?

— Я наслаждаюсь сочинением музыки именно потому, что при этом отрываешься от "человеческих" соображений — от суждений, поведения и т. п. Музыка — чистая форма и больше ничего. Но затем я, как правило, начинаю презирать музыку именно потому, что она начисто лишена мысли. Я тут сочинял струнный квартет, основанный на музыкальной те-

ме, которую нам подбросил Шекспир, — она записана по системе сольмизации[1] в "Бесплодных усилиях любви", тема CDGAEF, — и это было абсолютное блаженство. Я с головой погружался в свою музыку в самолетах, в гостиничных номерах, — везде, где больше нечем было заняться, — если только там не наигрывала эта распроклятая фоновая музыка. (Неужели поставщики фоновой музыки никогда не думают о людях, которым вообще-то надо писать собственную музыку?) Но теперь я слегка стыжусь своего блаженства, потому что музыка решает исключительно проблемы формы. Итак, я разрываюсь между страстью к чистой форме и сознанием того, что литература ценна, должно быть, своей способностью что-то высказать.

— Как понимать в этом контексте политический нейтралитет? В ваших романах те, кто занимает нейтральную позицию, например, господин Теодореску в "Трепете намерения", обычно – злодеи.

— Если искусство должно быть, по возможности, нейтральным, то в жизни надо, по возможности, занимать активную гражданскую позицию. Политический или религиозный нейтралитет не имеет ничего общего с тем счастливым благоприобретенным нейтралитетом, который свойственен, например, музыке. Искусство — это, так сказать, церковь торжествующая, но остальная жизнь проходит в церкви воинствующей. Я верю, что есть добро и есть зло (правда, к искусству они не имеют никакого отношения), а также верю, что злу следует давать отпор. Нет ни малейшей неувязки в том, чтобы придерживаться эстетики, которая весьма далека от подобной этики.

— В ряде ваших недавних романов действие происходит в экзотических странах, хотя несколько лет назад вы обронили, что художник должен полностью использовать ресурсы того, что есть "здесь и сейчас", – так выясняется, чего на самом деле стоит его творчество. Значит, вы изменили свое мнение?

— Да, я изменил свое мнение. Теперь я обнаружил, что скован своим темпераментом: меня может тронуть или восхитить любая страна мира, если это не Англия. Следовательно, все места действия у меня должны быть "экзотическими".

— Почему вам кажется, что тема Англии скучна?

— Может, другим она и не скучна, но мне — да. Мне нравятся общества, где конфликтам свойственна динамичность. Иначе говоря, я считаю, что романы должны рассказывать об об-

1. Сольмизация — практика пения мелодий со слогами ut, re, mi, fa, sol, la, а также любой метод пения мелодий с произнесением слоговых названий ступеней какого-либо звукоряда или названий звуков, отвечающих их абсолютной высоте.

ществе в целом (хотя бы подспудно), а не только о каком-то тесном мирке-коконе внутри большого общества. Английская литература склонна рассказывать о таких мирках: о любовных интрижках в Хемпстеде, о богемствующей аристократии, как Пауэлл, о власть имущих, как Сноу. А вот Диккенс, совсем как Бальзак, дает тебе полную картину всего. Многие современные американские писатели дают тебе полную картину всего. Даже по маленькой безумной фантазии типа "Груди" Филипа Рота можно воссоздать современную Америку целиком. Но, возможно, с Англией у меня личные счеты — ощущение, что передо мной захлопнулись какие-то двери и тому подобное. А, может быть, причина самая банальная — мне нравятся климатические крайности, и потасовки в барах, и экзотические набережные, и рыбный суп, и чтоб в еду клали побольше чеснока. Я тут обнаружил, что мне легче вообразить сюрреалистическую версию Нью-Джерси, чем старой доброй Англии, хотя я могу вообразить, что какой-нибудь гениальный американец вырастит целый странный мир из наследия Хита[1]. Должно быть (если учесть, что Томас Пинчон никогда не бывал в Валетте, а Кафка — в Америке), лучше всего самому навоображать себе заграницу. Я сочинил отличное описание Парижа, когда еще ни разу там не бывал. Он получился лучше, чем настоящий.

— *В романе "Змей и кольцо"?*

— Да. Я всегда старался избегать Парижа, но в последнее время бываю там все чаще и нахожу, что мое описание Парижа (хоть оно и попахивает картами и путеводителями) довольно похоже на реальность. Та же история — с Гибралтаром у Джойса в "Улиссе"; необязательно бывать в стране, чтобы о ней написать.

— *Тем не менее в "Клюкве для медведей"[2] у вас хорошо описан Ленинград.*

— Ну-у, Ленинград я знал. Да, верно. Знал, но не слишком хорошо; если ты слишком хорошо знаешь какой-то город, острота впечатлений притупляется, и писать о нем уже неинтересно. В любом случае, вот интересный нюанс: первое знакомство с городом — это знакомство с его запахами; такое правило особенно верно для Европы. Ленинград имеет свой, специфический, запах, а со временем к этим запахам привыкаешь и забываешь, чем это пахнет; и если ты слишком хорошо знаешь

1. Эдвард Ричард Джордж Хит (1916–2005) — английский политик, с 1965-го по 1975 г. — лидер партии консерваторов, премьер-министр Великобритании с 1970-го по 1974 г.
2. В оригинале роман называется "Honey for Bears"; имеется два перевода на русский язык: "Клюква для медведей" (Перевод Е. Цыпина. — СПб.: Симпозиум, 2002) и "Мед для медведей" (Перевод А. Фролова. — М.: Центрполиграф, 2002).

какую-то местность, то не сможешь, когда ее описываешь, рассмотреть ее через эти обостренные чувственные ощущения. Если прожить в городе примерно месяц, уберечь чувственное ощущение не удается. То же самое с Парижем: когда приезжаешь, чувствуешь запах "Голуаз", но со временем теряешь к нему чувствительность. Свыкаешься.

— Вы писали, что Ленинград похож на Манчестер. А чем именно?

— Думаю, это было просто ощущение от архитектуры: в Ленинграде здания довольно обшарпанные, и чувствуешь, что вокруг тебя полно рабочих, одетых довольно убого. И, наверно, запах в чем-то манчестерский: у меня Манчестер всегда ассоциировался с запахами кожевенных фабрик, очень едкими запахами, знаете ли. Ленинград, насколько я ощутил, пахнет точно так же. Пустяк, но такие пустяки подчиняются занятной закономерности: они обретают для тебя значимость. Ты пытаешься как-то зафиксировать город в своей памяти. Не знаю, какой запах у Милуоки, по-моему, американские города вообще ничем не пахнут. Наверно, потому-то они такие... почти незапоминающиеся. Из всех пяти чувств обоняние дает самые неуловимые ощущения. Для романиста обоняние, сам не знаю почему, — важнейшее из чувств.

— Вы также говорили, что серьезному романисту требуется готовность осесть на одном месте и узнать его по-настоящему. Надеетесь ли вы, что теперь по-настоящему узнаете Италию?

— Об этом я тоже, наверно, изменил свое мнение. Наверно, я предпочту скорее выдумывать страны, чем просто воссоздавать их на бумаге... Прошу вас, не объясняйте это влиянием "Ады". Действие следующих четырех моих романов будет развиваться, соответственно, в средневековой Англии, в современном Нью-Джерси, в Италии последних пятидесяти лет и в Англии Джейн Остин.

— Приобрели ли вы в путешествиях особое чутье на многообразие человеческих типов, наподобие профессора Годбоула у Форстера?

— Все люди, в сущности, одинаковы, я достаточно долго прожил среди множества разных народов, чтобы утверждать это категорично. Годбоул из "Поездки в Индию" — тип эксцентричного мистика, который может породить любая культура.

— Кем вы себя считаете на данный момент – англичанином-экспатриантом или изгнанником?

— Это словесные экивоки. Я отправился в изгнание добровольно, но не навеки. И все же мне не приходит в голову ни одного веского резона возвращаться в Англию, кроме как на отдых. Но, как говорила Симона Вейль, человек верен национальной кухне, на которой вырос, и, должно быть, именно в этом состоит патриотизм. Я порой испытываю душев-

ные и физические страдания оттого, что мне не хватает ланкаширской еды: хот-пота, лобскауса и тому подобного, я непременно должен ими питаться. Полагаю, я верен Ланкаширу, но не настолько пламенно, чтоб мне захотелось вернуться и обосноваться там снова.

— *Что такое "хот-пот" и "лобскаус"?*

— Хот-пот, или же ланкаширский хот-пот, готовят так. Глиняный горшок, слой мяса ягненка (мясо предварительно отбить, обрезать с него жир), слой из ломтиков лука, слой из ломтиков картошки, и так кладете слой за слоем, пока горшок не наполнится доверху. Залейте бульоном из костей, сдобренным специями. Сверху положите грибы или еще несколько ломтиков картошки, чтоб подрумянились. По желанию можно еще добавить устрицы или почки. Долго запекать в духовке на умеренном огне. Подавать с маринованной капустой. Лобскаус — блюдо ливерпульских моряков ("скаусерами" прозвали ливерпульцев), очень немудрящее. Нарежьте кубиками картошку и лук, сварите в кастрюле в воде со специями. Когда картошка и лук почти разварятся, слейте лишнюю воду и добавьте консервированную солонину: понадобятся одна или две банки солонины, только сначала нарежьте ее кубиками. Нагреть на медленном огне. Подавать на стол с различными соленьями. Я люблю готовить эти блюда, а нравятся они всем, стоит только попробовать. Честные и простые блюда. В Ланкашире отличная кухня, в том числе примечательная "кухня из магазина" — в смысле, в магазинах продаются настоящие деликатесы. Ланкаширские женщины традиционно работают на ткацких фабриках и готовят обед только по выходным. Потому-то в магазинах готовой еды вы можете купить фиш-энд-чипс[1], бэрийскую кровяную колбасу, экклские слойки, рубец, говяжий студень, мясные пироги (их продают с пылу с жару, причем, когда вы их покупаете, берут кувшин с подливой и заливают ее в пирог сквозь дырочку в корке) и тому подобное. Фиш-энд-чипс теперь, по-моему, получили международное признание. Пожалуй, самое лучшее из ланкаширских блюд — пирог с мясом и картошкой — тот же хот-пот, только "посуше", с тонкой слоистой корочкой.

— *Всё, меня уже тянет в Манчестер. Лоренс Даррелл, еще один английский писатель-экспатриант, утверждал: поскольку наше будущее предопределяют Америка и Россия, то, если ты оказываешься в одной из этих стран, твой долг — не путешествовать, а преда-*

1. Рыба, обжаренная во фритюре, с картошкой-фри. Считается неофициальным национальным английским блюдом.

ваться размышлениям. Он говорил, что совсем другое дело — поездка в Италию, это уже чистое удовольствие. Согласитесь ли вы с ним?

— Даррелл пока ни разу не сказал ничего, с чем я бы мог согласиться. Он напоминает мне телеведущую из Америки, Вирджинию Грэм[1]. Черт возьми, даже не знаю, что он, собственно, имел в виду. В Америке и России я знакомлюсь с людьми, напиваюсь, ем, совсем как в Италии. И не вижу никаких предвестий, которые несли бы в себе сугубо метафизический смысл. Предвестиями пусть занимаются правительства, а правительств я пытаюсь не замечать. Любое правительство — зло, не исключая и правительства Италии.

— В этом звучит что-то слегка анархистское или, по крайней мере, абсолютно неамериканское. Был ли у вас в студенческие годы период марксизма, как у Виктора Краббе в малайской трилогии?

— Марксистом я никогда не был, хотя всегда, даже в студенчестве, был готов играть в марксизм: анализировать Шекспира с марксистских позиций и тому подобное. Я всегда любил диалектический материализм. Но с самого начала я любил его любовью структуралиста. Глупо относиться всерьез к социализму, я имею в виду именно социализм в противоположность минимальному обобществлению (которое срочно требуется Америке).

— А разве для "минимального обобществления" не потребуется расширить аппарат и полномочия центрального правительства? Только американское федеральное правительство в силах финансировать что-то вроде английской или скандинавской системы государственного здравоохранения; у нас есть острая необходимость в недорогой медицинской помощи.

— Я питаю отвращение к государству как таковому, но признаю, что сегодня в любой цивилизованной стране социалистическая медицина — одна из первоочередных задач. Не будь в Англии такой медицины, не избежать бы мне банкротства, когда моя жена неизлечимо заболела (правда, возможно, полис частной страховой компании мог бы покрыть эти расходы. Но государственная система распространяется на тебя автоматически, а частную страховку ты покупаешь по личному выбору). Социалистическая медицина — кстати, в Англии ее идея исходила от либералов — это еще не обязательно переход к полному социализму, к национализации всего. Если Америка обзаведется социалистической медициной, чинить ей помехи станут разве что врачи и зубные техники, но, как и в Англии, никакие объективные обстоятельства не мешают частной ме-

1. Вирджиния Грэм (1912—1998) вела в США дневные телешоу с середины 50-х по середину 70-х гг.

дицине сосуществовать с государственным здравоохранением. Когда в Англии приходишь к стоматологу, он спрашивает: "Вам за свой счет или за государственный?". Разница в лечении едва заметна, но аксессуары и медицинские материалы, которые полагаются пациенту государственной системы (пломбы, очки и тому подобное), менее качественные, чем те, которые ты оплачиваешь за свой счет.

— *Означает ли это, что по политическим взглядам вы консерватор? Вы говорили, что в Англии, скрепя сердце, голосовали бы за консерваторов.*

— Думаю, я — якобит: то есть я традиционно придерживаюсь католической веры, одобряю монархию Стюартов и хочу ее реставрации, недоверчиво смотрю на навязанные перемены, даже когда кажется, что они только к лучшему. Я искренне считаю, что Америке следует сделаться монархией (желательно под властью Стюартов), так как при ограниченной монархии нет президента, а президент — это лишь еще один элемент правительства, подверженный коррупции. Ненавижу все республики. Полагаю, поскольку мой идеал — имперское монархическое правление католиков — неосуществим на практике, мой консерватизм в действительности — что-то вроде анархизма.

— *Многие американцы полагают, что в их стране президентское правление переродилось в некую форму монархии, и результаты обескураживают. Как вы думаете, анархия – жизнеспособная политическая альтернатива?*

— Американское президентское правление — это монархия Тюдоров плюс телефоны. Какие альтернативные варианты у вас есть? Либо возврат к ограниченной монархии наподобие Британского Содружества: конституционный монарх, по крайней мере, не вовлечен в политику, его невозможно подкупить; либо разделение на нефедеральные государства и создание некой нежесткой структуры для совместного осуществления крупных проектов. Анархия — это когда человек сам по себе, и, думаю, прошло время, когда анархию можно было бы счесть жизнеспособной системой (или "несистемой") для столь огромной страны, как Америка. Анархия отлично подходила для Блейка или Торо (ими обоими я бесконечно восхищаюсь), но мы никогда уже не возродим ее в столь полнокровном виде. Все, что мы можем делать, — это беспрерывно досаждать своему правительству, не подчиняться ему в меру своей дерзости (ничего не поделаешь, нам всем надо как-то зарабатывать на жизнь), спрашивать "А почему так?", взять недоверчивость за обычай.

— *Вы призвали своих коллег: чтобы произведение было глубоким, следует "глубоко копать, разыскивая мифы". Что вам интереснее —*

создавать новые мифы или, как вы обошлись с "Энеидой" в "Виде на крепостную стену", рассматривать под новым углом старые?

— Сейчас мне интересно, чему нас может научить структурализм в области мифологии. Не думаю, что я способен придумать собственные мифы. Я по-прежнему уверен, что есть большой простор для литературного возрождения мифа о Ясоне и золотом руне и тому подобное (кстати, я планирую написать роман на эту тему). В уже существующих мифах есть полезная для писателя глубина, бездны смысла, они очень выручают романиста — не надо что-то дополнительно изобретать.

— Как можно приложить к нашей эпохе сюжет о том, как Ясон добывал золотое руно?

— В моем романе о Ясоне, если я его вообще напишу, история аргонавтов послужит всего лишь обрамлением плутовских авантюр. Никакого глубинного смысла.

— Не раздумывали ли вы написать роман на основе мифов, связанных с восточными религиями, — наподобие "Обмененных голов" Манна?

— Как ни странно, я подумывал о том, чтобы переделать "Обмененные головы" Манна в пьесу для музыкального театра: вещь прелестная, но это лишь игра, хотя иногда ей приписывают глубокий психологизм. Я шесть лет прожил на Востоке, но восточные мифы меня не особенно влекут, кроме бесконечных представлений яванского театра теней — а они, собственно, похожи на "Поминки по Финнегану". Но я подумывал написать роман на основе "Истории Абдуллаха" Абдуллаха Мунши[1]. Очень любопытное явление — это томление по Востоку у немцев: у Гессе, как и у Манна. Возможно, будь они чиновниками в колониях, Восток не казался бы им столь романтичным. Хотя, возможно, они как раз мечтали сделаться чиновниками в колониях.

— В "М. Ф." структурализм играет большую роль. Насколько важен он для вас как для автора "романов об идеях"?

— Структурализм — научное подтверждение богословского кредо: тезиса, что жизнь состоит из двух компонентов, что наш мир — не "уни-версум", а "дуо-версум" и т. п. Я хочу сказать, что понятие "основополагающая оппозиция" (не Бог/дьявол, а просто икс/игрек) — нечто сущностное, таков чисто структуралистский взгляд на вещи. В итоге мы приходим к тому, что форма важнее содержания, что речь и искус-

1. Абдуллах бин Абдул Кадир Мунши (1796–1854) — малайский просветитель и писатель. Известен также под сокращенным именем Абдуллах Мунши (Абдуллах-учитель). Почитается в Малайзии как отец современной малайской литературы.

ство — фатические[1] процессы, а рассуждения о головоломных главных вопросах нравственности — только сотрясение воздуха. В том же направлении, независимо от Леви-Стросса, потихоньку ковыляет Маршалл Маклюэн. Какое чудо, что это фундаментальное раздвоение, которое представляет собой человек, выражено в форме брюк, на которых начертано имя "Леви-Стросс"[2].

— Вы не только установили прочную связь между языком и мифом, но и предрекли будущее романа: "только через исследование языка можно упросить человеческую личность раскрыть еще несколько ее тайн"[3]. Не могли бы вы подробнее пояснить, что имели в виду?

— Расширение лексикона, осторожное искажение синтаксиса, эксплуатация различных приемов просодии, которые традиционно монополизируются поэзией, — всеми этими способами, несомненно, можно изобразить некоторые сложноустроенные, ускользающие от четких формулировок области сознания. Изобразить более компетентно, чем если бы ты писал в стиле, например, Ирвинга Стоуна или Уоллеса.

— Бывает ли у вас искушение одарить сложноустроенной прозой какого-то немудрящего персонажа, как сделал Флобер в "Простой душе"?

— Старайтесь, чтобы ваш язык соответствовал не теме, а вашему представлению о теме. "Вон идет дуралей, написавший изысканнейшей прозой про какую-то горничную Фелисите". Но Флобера, несомненно, интересовало ее благородное сердце, и именно на это он щедро израсходовал богатства своей прозы. Стиль — скорее, вечная проблема, чем главная забота. Я хочу сказать, проблема в том, как найти стиль, соответствующий объекту описания. Наверно, это значит, что сначала появляется объект описания, а потом уже стиль.

— Вы говорили, что вы — "автор серьезной прозы, пытающийся расширить спектр тем, которые доступны художественной литературе". Каким образом вы пытались это сделать?

— Я писал об агонии Британской империи, уборных, структурализме и тому подобном, но, кажется, в момент, когда я сделал это заявление, я подразумевал кое-что другое. Я подразумевал изменение мировосприятия британского романа, и, возможно, мне удалось его изменить, самую чуточку. Новые области, которые открылись, — скорее технические, чем тематические.

1. Фатическое общение — "общение ради общения", обмен репликами в целях установления контакта.
2. То есть джинсов фирмы "Levi Strauss". Основателя фирмы, американского предпринимателя, в русской традиции принято называть "Ливай Страусс", а при рождении в Германии он звался Лёб Штраусс.
3. Цитируется эссе Энтони Бёрджесса "Что там с романом?" (Burgess A. What Now in Novel? // Spectator, 1965, № 7135 (March 25), p. 400).

— В "Романе сегодня" вы написали, что роман – единственная значительная литературная форма, которая у нас осталась. Почему вы в этом убеждены?

— Да, роман — единственная из крупных литературных форм, которая у нас осталась. Роман способен содержать в себе другие, менее масштабные литературные формы, от пьесы до лирического стихотворения. Поэты вполне преуспевают, особенно в Америке, но им не дается умение систематизировать, которое когда-то стояло за эпической поэмой (кстати, в наше время роман — ее замена). Краткого, резкого выброса энергии — не только в поэзии, но и в музыке — недостаточно. Монополия на форму сегодня принадлежит роману.

— Признаем за романом это определенное превосходство, но тревожно, что в целом продажи романов снижаются, общество больше интересуется нехудожественной литературой. Не посещает ли вас искушение уделять больше времени, например, жанру биографии?

— Я продолжу сочинять романы и буду надеяться, что мне перепадут небольшие гонорары на стороне. Писать биографии — тяжелейшая работа, в ней нет места вымыслу. Но будь я сейчас молод, я даже не мечтал бы сделаться профессиональным писателем. И все же однажды, возможно в скором времени, люди заново осознают, что чтение про вымышленных персонажей и их приключения — самое большое удовольствие в жизни. Или, возможно, второе по силе удовольствие.

— А первое — какое?

— Ну, это смотря по вашим личным вкусам.

— Почему вы сожалеете о том, что стали профессиональным писателем?

— По моему мнению, умственное напряжение, нервотрепка, знаете ли, сомнения в себе — все это вряд ли стоит свеч; муки творчества, чувство, что ты в долгу перед своей музой, — вся эта всячина складывается в бремя, с которым невозможно жить.

— Значит, в наше время гораздо сложнее прокормиться качественной художественной литературой?

— Не знаю. Я лишь знаю, что чем старше становлюсь, тем больше мне хочется иметь на жизнь, а возможностей все меньше. Наверно, я не хотел бы приковать себя к какой-то форме искусства; самоутверждение через некую форму искусства превращает тебя в кого-то вроде Франкенштейна — ты, так сказать, создаешь монстра. Мне бы хотелось жить беззаботно, я сам жалею, что меня снедает чувство долга перед искусством. Больше всего мне хотелось бы отвертеться от необходимости писать кое-какие романы — те, которые должны

быть написаны, потому что никто другой их не напишет. Мне бы хотелось иметь больше свободы, свободу я люблю; и, наверно, я был бы гораздо счастливее, будь я чиновником в колониях, иногда пишущим романы на досуге. Тогда, зарабатывая на жизнь не писательством, я был бы счастливее профессионального литератора.

— Как экранизация меняет судьбу романа – к лучшему или к худшему?

— Фильмы меняют судьбу романов к лучшему, я на это смотрю с досадой и признательностью одновременно. По милости Стэнли, дешевое издание моего "Заводного апельсина" разошлось в Америке более чем миллионным тиражом. Но мне не нравится, когда я обязан своим благоденствием всего лишь кинорежиссеру. Я хочу пробиться наверх исключительно благодаря литературе. А это, естественно, невозможно.

— Вы отмечали, что ваш первый роман "Вид на крепостную стену" — это, "как и все истории, написанные мной с тех пор, медленное и жестокое вынужденное освобождение от иллюзий", и все же вас часто называют автором комедийных произведений. Значит, комедии присуща жестокость? Или вы считаете себя скорее сатириком?

— Комедия стремится к истине никак не меньше, чем трагедия; а у них обеих, как осознал Платон, есть общая основополагающая черта. И трагедия, и комедия — процесс срывания покровов; и трагедия, и комедия срывают с человека все внешнее и выставляют на обозрение тот факт, что он — "бедное двуногое животное"[1]. Сатира – специфический вид комедии, она имеет дело с определенными областями поведения, а не с человеческим бытием в целом. Я не считаю себя сатириком.

— То, что вы пишете, — черный юмор? Или все эти категории вас слишком сковывают?

— Думаю, я автор комедийных произведений malgré moi[2]. Наполеон получился у меня комическим персонажем, что определенно не входило в мои намерения. Что такое "черный юмор", я, наверно, даже не знаю. Сатирик? Сатира – жанр трудный, эфемерный, если только сама форма не отличается колоссальной живучестью, как в "Авессаломе и Ахитофеле", "Сказке о бочке", "Скотном дворе": я имею в виду, что произведение должно существовать само по себе, как образец про-

1. Цитата из монолога короля Лира: "Неприкрашенный человек и есть именно это бедное, голое двуногое животное, и больше ничего. Долой, долой с себя все лишнее!". (Уильям Шекспир. Король Лир. Акт III, сцена 4. Перевод Бориса Пастернака.)
2. Вопреки моей воле, поневоле (*франц.*).

зы или поэзии, даже когда объекты сатиры позабыты. Теперь сатира – элемент каких-то других форм, а не отдельная форма. Мне нравится, когда меня называют просто романистом.

– Лет десять назад вы написали, что считаете себя пессимистом, но полагаете, что "мир может предложить много утешений: любовь, еда, музыка, бесконечное разнообразие народов и языков, литература, удовольствие от художественного творчества". Сегодня ваш список спасительных радостей выглядел бы так же?

– Да, ничего не изменилось.

– Жорж Сименон, еще один профессиональный писатель, говорил: "Писатель – это не профессия, а призвание, обрекающее на несчастную жизнь. Не думаю, что художник может быть счастлив". Как, по-вашему, это правда?

– Да, Сименон прав. На днях мой восьмилетний сын спросил: "Папа, а почему ты не пишешь ради удовольствия?". Даже он догадался, что дело, которым я занимаюсь, доводит до раздражительности и отчаяния. Наверно, если абстрагироваться от супружеских отношений, счастливее всего мне жилось, когда я работал преподавателем и на каникулах не имел особых забот. Писательский труд причиняет просто невыносимое беспокойство. А гонорары – в этом пункте я не соглашусь с Сименоном – никак не компенсируют потраченную энергию, подорванное стимуляторами и наркотиками здоровье, боязнь написать какую-то гиль. Думаю, если бы у меня завелось достаточно денег, я на следующий же день бросил бы литературу.

Paris Review, 1973, № 56 (Spring), p. 123–163

Грэнвилл Хикс

Изобильный мир Энтони Бёрджесса

Перевод
Николая Мельникова

Год назад Энтони Бёрджесс опубликовал в книжном обозрении "Нью-Йорк таймс" статью под названием "Семнадцатый роман"[1]. Во всех отношениях это было интересное эссе, но пока давайте сконцентрируемся на цифре "17". По данным на 21 августа 1966 года Бёрджесс написал шестнадцать романов и, по крайней мере, два тома нехудожественной прозы – впечатляющий рекорд для любого писателя младше пятидесяти. Бёрджесс, однако, начал публиковаться, когда ему было около сорока.

Я еще не прочел все шестнадцать романов. В сущности, я даже не могу перечислить все названия. Но теперь издательство "Балантайн букс" выпустило в мягкой обложке восемь из них (точнее, десять, поскольку три части "Малайской трилогии" были изданы в Англии отдельными книгами) и один том нон-фикшн. За последние несколько недель я с удовольствием ознакомился с этими изданиями, которые ввели меня в странный, порой забавный, порой ужасающий, мир Энтони Бёрджесса.

Получив музыкальное и филологическое образование, Бёрджесс шесть лет отслужил в армии; затем, преподавая историю языка и риторику, посвятил себя сочинению серьезной музыки. Позже он провел несколько лет в Малайе и Брунее и только по возвращении в Англию заделался романистом.

Тем не менее один роман, "Вид на крепостную стену", был написан в 1949 году и опубликован только в 1965-м. Когда Бёрджесс наконец решился опубликовать его, он написал к нему

© Николай Мельников. Перевод, 2017

Грэнвилл Хикс (1901–1982) – американский писатель, критик, преподаватель литературы.

1. Burgess A. The Seventeenth Novel // New York Times Book Review. 1966. August 21, p. 2. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

предисловие, в котором сообщил, что в 1948–1949 годах создал массу музыкальных произведений (их список прилагается). "К началу каникул 1949 года я был пуст в музыкальном плане, но меня все еще мучил зуд творчества". Вот он и написал роман – за каникулы, – что, как он утверждает, спасло его от депрессии.

Роман ему не понравился, и он "не приложил усилий, чтобы подыскать издателя". Шестнадцать лет спустя Бёрджесс смог перечитать роман, испытывая "куда меньшую душевную боль и не столь сильное чувство авторской неудовлетворенности, как ожидал", а потому решил предложить его вниманию публики.

Хотя Бёрджесс откровенно заявляет, что роман основан на его личном опыте, когда с 1943-го по 1946-й он служил в Гибралтаре, он утверждает, что все персонажи им выдуманы. Даже если в целом это правда, весьма вероятно, что центральный персонаж, Ричард Эннис, имеет много общего с Энтони Бёрджессом военных лет (кроме увлечения музыкой). Эннис принадлежит к тому же типу, что и эмисовский Счастливчик Джим: молодой человек, у которого талант доставлять самому себе всяческие неприятности. Бёрджесс пишет, что его роман соотносится с "Энеидой" Виргилия так же, как "Улисс" Джойса, которым он восхищается, – с "Одиссеей", но боюсь, что для меня без авторского указания это вовсе не было бы очевидно. Не имея ничего общего с Энеем, помимо сходства имен, Эннис – рассерженный молодой человек, опередивший свое время.

"Малайская трилогия" была написана, когда Бёрджесс работал в Юго-Восточной Азии. Недавно он заметил: "Я очень хорошо помню, как писал ее: сначала в жаркие малайские, а затем и брунейские послеполуденные часы, когда все спят. Клавиши пишущей машинки стали скользкими от пота, капли пота стекали с моего лба на бумагу. Но я источал слова: мои вербальные поры были открыты". Это произведение погружает читателя в звуки, цвета и запахи экзотического края.

Автор "Малайской трилогии" не предъявляет обвинений против империализма, подобно Джорджу Оруэллу в его "Днях в Бирме". Он изображает империализм, который уже отжил свой век, который умирает, издавая "не взрыв, а всхлип", если процитировать не самого любимого поэта Бёрджесса[1].

Англичан, изображенных в романе, нельзя назвать ни злобными деспотами, ни идеалистами без единого пятнышка. Они слабые люди, еще больше слабеющие от жизни на Востоке. Преподаватель Виктор Краббе, персонаж, появляющийся во всех трех частях трилогии, лучше других, но и он лишен героических черт. Что касается аборигенов, то они представлены в изобилии: малайцы, сикхи, тамилы, китайцы – некоторые из них милы, некоторые смешны, одни отличаются верно-

1. Цитируется концовка поэмы Т. С. Элиота "Полые люди".

стью, другие коварны и т. д. Понятное дело, существует множество неразрешимых проблем, которые могут только обостриться с уходом британцев. Однако Бёрджессу интересны не проблемы, а люди, и в этом — сила его произведения.

Хотя и в "Малайской трилогии", и в "Виде на крепостную стену" есть проявления того, что обычно называют "черным юмором", только после возвращения в Англию, в романах "Доктор болен" и "Право на ответ", написанных в 1960 году, Бёрджесс показал, каким жестоким и насмешливым он может быть. В первом из них лингвист Эдвин Прибой, пораженный загадочной болезнью во время работы в Моламьяйне, вынужден вернуться в Англию и лечь в больницу. Там, после серии болезненных и действующих на нервы тестов, решено подвергнуть его операции на опухоль головного мозга. Накануне операции он сбегает из больницы, после чего вовлекается в череду захватывающе интересных приключений на "дне" Лондона.

В первой части романа реакция Прибоя (всегда вполне осознанная) на его больничное окружение исполнена комизма. Он чувствует, что врачи и медсестры видят в нем не человека, а любопытное отклонение от нормы, объект медицинских экспериментов, и весьма энергично и красноречиво выражает свое негодование. Во второй части забавно то, с какой легкостью респектабельный профессор приспосабливается к жизни преступного мира. Он даже находит способ, как использовать свои знания филологии, чтобы обмануть полицию. Какие из его приключений реальные, а какие воображаемые — вопрос открытый, но так или иначе он испытывает чувство свободы, которого никогда не знал прежде. В минуту эйфории он думает: "До чего легко жить в этом мире, в огромном невинном доверчивом Лондоне. Назад к природе; повсюду растут плоды, только рви. Действительно, только дурак вернется к тяжкому труду преподавания лингвистики под солнцем Бирмы"[1].

"Право на ответ" — более мрачный и, за исключением нескольких сцен, не такой смешной роман. Повествователь Дж. У. Денхэм — преуспевающий бизнесмен, по своим делам разъезжающий по всему миру, начинает так: "Я рассказываю эту историю по большей части ради собственного блага. Мне самому хочется уяснить природу того дерьма, в котором, похоже, пребывает множество людей в наши дни..."[2].

Среди людей, вовлеченных в историю, — господин, претендующий на звание поэта; отец и сестра Дж. У. Денхэма; перевозчик наркотиков, который, подобно Грэму Грину, ударяется в религию; добродушный, хотя и скуповатый владелец паба; кинозвезда и мистер Радж — студент из Цейлона, который привязался к Дж. У. Денхэму в надежде получить помощь в изучении расовых взаимоотноше-

1. Роман цитируется в переводе Е. Нетесовой.
2. Роман цитируется в переводе Е. Калявиной.

ний в Англии; он ковыляет к своей цели, то и дело попадая в разные передряги. Он один из тех гротескных персонажей, к которым читатель питает сострадание.

Поскольку все персонажи представлены с точки зрения Дж. У. Денхэма, мы принимаем его оценки и удивляемся их клоунскому поведению. Но постепенно до нас доходит, что повествователь не так уж сильно отличается от тех, о ком рассказывает, и, в конце концов, он сам это осознает. Дж. У. Денхэм замечает, что они "глупые вульгарные людишки, потревожившие бомбу, сокрытую под покровом стабильности". Затем, перечитав свои записи, он осознает свое "самодовольство, многословие, претенциозность". Он понимает, насколько ошибался в своих оценках — "не желающий ни во что вмешиваться пухлый отпускник при деньгах, яростно нападавший на грехи, совершить которые у него кишка тонка". Последнее слово Дж. У. Денхэм оставляет за Раджем и признает, что его вера в любовь, губительная, как нам доказывалось прежде, достойна большего уважения, нежели холодное безразличие. Но заглавие книги показывает, что Бёрджесс, в основном, согласен с самопровозглашенным поэтом, который приходит к выводу: "...никому из нас на самом деле не дано право на ответ".

Написав два романа о современной Англии, Бёрджесс сочинил еще два о ее будущем, экстраполируя туда тенденции, замеченные в настоящем. "Вожделеющее семя", менее удачный их этих романов, живописует возможные последствия демографического взрыва. Англия достигает той стадии, когда правительство едва способно удерживать рост населения поощрением гомосексуализма и наказаниями семей, имеющих более одного ребенка. Но еще остаются женщины, которые хотят иметь много детей, и одна из них — Беатриса-Джоанна, главная героиня романа. Внезапно катастрофически начинают иссякать запасы продовольствия — возможно, потому что мир животных и растений начинает подражать бесплодности людей. Мощная реакция приводит к власти новое правительство, которое поощряет рождаемость, но ограничивает население с помощью узаконенного каннибализма и организации фиктивных войн, в ходе которых все нежелательные лица уничтожают друг друга.

Хотя история Беатрисы занятна, а приключения ее мужа Тристрама во второй части книги исполнены драматизма, роман не вполне удался. Многие подробности весьма забавны, однако я никогда не чувствовал, что имею дело с правдоподобной версией будущего, как это чувствовал, в первый раз прочтя "1984" Оруэлла. Самое интересное место в книге — сцена, где Тристрам излагает свою теорию о колебаниях в истории между Августинианской и Пелагианской фазами: между либеральной верой в свободу воли, в совершенство человека и консервативной верой в детерминизм и первородный грех. (Один из персонажей романа "Вид на крепостную стену" вкратце из-

лагал эту же концепцию.) В попытке превратить сюжет романа в иллюстрацию данной теории Бёрджесс терпит неудачу, поскольку ему не хватает времени, чтобы подтвердить свою точку зрения.

Напротив, в "Заводном апельсине" видение будущего предлагается нам с пугающей убедительностью. Это не слишком далекое от нас будущее, где с наступлением темноты банды юнцов фактически правят Лондоном. Алекс, рассказывающий свою историю на странном, но вполне подходящем для данного случая жаргоне, выдуманном для него Бёрджессом, спокойно описывает то, как он и три его дружка грабят магазины, избивают беспомощных стариков и старух, калечат членов враждебной банды и дерутся друг с другом. Настоящий специалист по части жестокости, мастер в том, как причинять боль, Алекс получает сексуальное удовлетворение в изнасилованиях.

По обвинению в убийстве Алекс посажен в тюрьму и обречен терпеть мучения от людей не менее жестоких, чем он сам. Поскольку даже тюремному начальству ясно, что подобными методами ничего не добьешься, психологам разрешают опробовать метод обработки заключенных, весьма похожий на тот, который предлагался в статье, появившейся недавно в "Нью-Йорк таймс мэгэзин". Эксперимент прекрасно иллюстрирует бёрджессовскую теорию маятника. С помощью чрезвычайно болезненных процедур Алекса очищают от его жестоких инстинктов. Но очищают и от другого: он больше не способен защищать себя. Музыка теперь не стимулирует его сексуальные извращения, а причиняет боль. Произведенная над ним психологическая обработка с выработкой рефлекса против насилия также лишила его возможности получать любое сексуальное удовольствие. Когда маятник качнулся в другую сторону и психологи исправили все сделанное ранее, Алекс возвращается к своему первоначальному состоянию.

В первой части романа Бёрджесс показывает силу зла так, как могут лишь немногие писатели. Когда в конце первой части Алекс говорит: "Ну, натворил делов. А ведь мне еще только пятнадцать"[1], — читателя пробирает холодная дрожь. Но Бёрджесс не довольствуется изображением зла; он идет дальше, чтобы показать опасность, которой чревата попытка устранить его.

Бёрджесс всегда с подозрением относится к тем, кто использует власть, чтобы изменить людей, настаивая, что делается это для их же пользы. Это убеждение лежит в основе романа о Советском Союзе "Мед для медведей", одной из самых смешных книг Бёрджесса, чья сатира лишь в малой степени направлена на Россию. Контрабандно провезенные платья, потеря клейкой ленты, с помощью которой крепились фальшивые зубы, запутанные сексуальные предпочтения супружеской пары из Британии, отправившейся в

1. Роман цитируется в переводе В. Бошняка.

туристическую поездку, — всё это образует целый ряд фарсовых ситуаций. В то же время Бёрджесс, пользуясь случаем, дает нам понять, что СССР и США — всего лишь две слабо отличающиеся друг от друга разновидности механизированного, благодушно-конформистского общества, которое он презирает.

Остался еще один, самый дерзкий, роман, о котором стоит поговорить: "На солнце не похожи...". Не робкого десятка тот романист, который попытается рассказать о Уильяме Шекспире, но еще более отважен тот, кто изобразит его изнутри, его же словами. (То, что в роли повествователя выступает сам поэт, становится понятным только в эпилоге.) Бёрджесс уже наметил в общих чертах теорию о Смуглой Леди в романе "Право на ответ", в котором жадноватый владелец паба Тед Арден рассказывает о предании, из уст в уста передававшемся представителями его рода, к которому принадлежала и мать Шекспира. Теперь он обстоятельно излагает свою концепцию. Роман ничего не добавляет к моему пониманию пьес Шекспира и не слишком обогащает мое представление о его личности, и все же это — превосходный tour de force[1], триумф стиля. Избежав имитации и нарочитого подражания Шекспиру, Бёрджесс передал его словесную магию собственными языковыми средствами.

Бёрджесса можно назвать автором философских романов; вполне очевидно, что их содержание актуально для интеллектуалов. Однако его творчество скрепляет не совокупность идей, а интуитивное понимание современного мира. Ему претит культ технического прогресса, который, по его мнению, в равной степени доминирует в Соединенных Штатах и Советском Союзе. Он не верит государственной власти, особенно когда она маскируется благотворительностью, и с неизменным скептицизмом относится к Государству всеобщего благоденствия. Он придерживается своеобразной диалектики во взгляде на историю, но не слишком верит в возможность синтеза: отрицание зла приводит прямиком к другой его разновидности и так далее до бесконечности. Что же касается Пелагианства и Августинианства, если использовать терминологию Бёрджесса, то ему, не верящему в совершенство человека, ближе вторая доктрина. Не знаю, был ли Бёрджесс, подобно Ричарду Эннису, воспитан в католичестве, но он несомненно твердо придерживается концепции первородного греха.

Будучи не только знатоком языков, но и любителем слова, он обладает словесным богатством, которое позволяет сравнивать его с Владимиром Набоковым. Например, в романе "На солнце не похожи..." он, избегая затейливых и зачастую фальшивых архаизмов старомодных исторических романов, со знанием дела использует несколько чудесных слов елизаветинской эпохи.

1. Проявление таланта, мастерства (*франц.*).

Для создания комического эффекта он любит употреблять сложносоставные слова, нередко собственной чеканки, с греческими и латинскими корнями: “Под аплодисменты и барабанную дробь закружился и заколыхался живот плясуньи-гречанки — охровый, складчатый, дендросоматический”[1]. В “Вожделеющем семени” мы находим “bathcolous”, “gnatfritinancy”, “gulosity” и “formicate”. (Между прочим, последнее слово особенно хорошо, хотя его и нет в толковом словаре “Рэндом хаус”.) В “Заводном апельсине”, как я уже отметил, он изобретает подростковый жаргон, включающий в себя значительное количество русских слов. (В “балантайновском” издании имеется очень полезный глоссарий, составленный Стэнли Эдгаром Хайманом.)

В упомянутом выше эссе Бёрджесс выражает опасение по поводу создания семнадцатого романа: не станет ли он повторять сам себя? Романист, по мнению Бёрджесса, всегда должен избегать самоповторов. “Мы прекрасно понимаем Джойса, — пишет он. — В ‘Улиссе’ он задействовал ресурсы общепринятого литературного языка, причем не только чтобы создать слова-портмоне, не только для пастиша, стилизаций и пародий, но и для точной передачи действия и прямой речи персонажей. Что можно было ожидать от его новой книги? Новых самоограничений или скучных повторов, но не того, что он вдребезги разобьет язык и переплавит его в нечто новое”. (Питая теплое чувство к Джойсу, Бёрджесс написал первоклассное введение в его творчество, “О Джойсе”, которое также вошло в “балантайновское” издание.)

“Писатель экспериментирует из-за того, что ему скучно”, — пишет Бёрджесс, однако он понимает, что эксперимент ради эксперимента может быть опасен. “Читать набоковский ‘Бледный огонь’ немного скучно, зато писать, по всей видимости, было захватывающе интересно”. Некоторые из нынешних экспериментаторов, продолжает он, знают все джойсовские трюки, но им не под силу создать персонажей, подобных Леопольду Блуму и Стивену Дедалу. Боюсь, что и сам Бёрджесс не создал персонажей, столь запоминающихся, как Блум или Дедал, и что временами его одолевает страсть к трюкачеству. Но “балантайновское” издание свидетельствует о том, что он наделен живым воображением, беспощадным сатирическим даром, исключительной стилистической оригинальностью и творческой энергией, не имеющей аналогов в современности. Я обязательно прочту его семнадцатый роман, когда он мне попадется, а также восемнадцатый, и девятнадцатый. Уверен, что я буду удивлен и надеюсь, что буду вознагражден за чтение еще больше, чем до сих пор.

Saturday Review, 1967, V. 50, № 28 (July 15), p. 27–29, 36

1. Цитируется двенадцатая глава романа “Право на ответ”.

Питер Акройд

Какофония

ANTHONY BURGESS *Napoleon Symphony*. — L.: Jonathan Cape, 1974

Перевод
Николая Мельникова

Да, Бёрджесс красноречив и изобретателен, у него живое воображение; порой он бывает весьма плодовитым, о чем сам говорит в стихотворном обращении к читателю. Да вот беда с его книгой: все там хочется поставить в кавычки. Заглавие содержит аллюзию на Героическую симфонию (издатели столь любезны, что поясняют это), хотя аналогии между языком и музыкой, приемлемые в елизаветинскую эпоху, в наше время кажутся откровенно бессмысленными. Временами стиль романа своим искусственным аллюром явно напоминает наиболее бравурные пассажи оперы-буфф, но в манере Бёрджесса нередко различимы хлюпающие звуки, которые не вызывают каких-либо ассоциаций. "Он томно застыл, чтобы чихнуть, но, сильный человек, сдержался". Мне нравится это "застыл", даже несмотря на то, что оно здесь должно было рассмешить читателя.

Тайная жизнь героя — одна из неискоренимых романтических тем, которая остается довольно пошлой и сентиментальной, несмотря на все старания оживить ее. А ведь Бёрджесс действительно старался. Однако в художественной литературе есть одна закономерность: сюжетов мало, а романистов бесконечно много, и вот Бёрджесс изощряется в риторических выкрутасах, переставляя элементы своего стиля словно детские кубики. Тут вам и речевое многоголосие, и письма, и бесстрастное повествование, и стихотворные вставки (хотя Бёрджесс никоим образом не поэт). Роман открывается битвами Директории: Наполеон одерживает победы, а в это время жена изменяет ему с гвардейцем. Любой романист мог бы ей посочувствовать. Затем нашему вниманию предлагают Египетскую кампанию с ее общеизвестными ужасами. Наконец Наполеон провозглашается императором (кажется, что сам Бёрджесс не совсем понимает, как ему это удалось) и становится "Н", официальной и в то же время абстрактной силой, которая с трудом пробивает себе дорогу из России. "Да будет эта картина написана слезами", — говорит Бёрджесс в одном из немногих мест романа, где он забывает о показухе.

© Николай Мельников. Перевод, 2017

Питер Акройд (р. 1949) — английский писатель, критик; в 1970-е — литературный редактор журнала "Спектейтор". В "ИЛ" были напечатаны переводы его романов "Завещание Оскара Уайльда" (1993, № 11), "Дом доктора Ди" (1995, № 100, "Процесс Элизабет Кри" (1997, № 5), "Повесть о Платоне" (2001, № 9), "Лондонские сочинители" (2007, № 7), эссе "Человек по имени Уильям Блейк" (2011, № 3), глава из книги "Люди кроты" (2014, № 6).

Мартин Эмис

Бёрджесс в наилучшем виде

ANTHONY BURGESS *Earthly Powers*. — Simon & Shuster, 1980

Перевод
НИКОЛАЯ МЕЛЬНИКОВА

Большие романы бывают двух видов. К первому относятся чрезмерно раздутые повести; самые длинные из них — американские семейные саги, космические оперы и шпионские триллеры, из-за которых писатели систематически изводят акры лесных массивов. Напротив, романы второго типа тре-

И умирает Наполеон в ссылке, посреди лекарей, бранящихся у его тела.

Это не слишком веселая история. Зато протагонист "Наполеоновской симфонии" являет собой квинтэссенцию романтического героя, который на людях надевает личину и чьи слезы способны довести до смерти маленьких детей на улице[1]. Он — тот герой, который стремится внушить народам тщеславное чувство собственной исключительности задолго до того, как утвердится могущество национального самосознания. "Я еще не думал, как назвать это, — улыбнулся Талейран, — но раз уж вы настаиваете, предлагаю вести в оборот термин 'высшая раса'".

В романе множество подобных намеков и подмигиваний потомкам, своего рода мелодия, образующая контртему произведения: "Это девятнадцатый век, а не восемнадцатый" — и т. п.

На самом деле, перед нами лишь полный банальных выдумок роман, автор которого обращается к жестоким антагонизмам нашего времени и походя доводит его язык до полного безумия. Стремясь произвести впечатление на читателя, Бёрджесс безоглядно использует всевозможные стилевые регистры, в результате чего диалоги исторических лиц отдают фарсом. Отсылки к "Династам", имитация "Улисса" и несколько неуместных цитат из Джерарда Мэнли Хопкинса еще больше придают повествованию привкус литературщины.

Spectator, 1974, Vol. 223, № 7673 (September 28), p. 21

1. Аллюзия на последнюю строчку стихотворения У. Х. Одена "Эпитафия тирану" (1939): "...And when he cried the little children died in the street". (*Прим. перев.*)

© MARTIN AMIS, 1980. All rights reserved

© НИКОЛАЙ МЕЛЬНИКОВ. Перевод, 2017

МАРТИН ЭМИС (р. 1949) — английский прозаик и критик. В "ИЛ" опубликованы его эссе "Джон Леннон: от "битла" до "домохозяйки"" (1999, № 6), "Визит к госпоже Набоковой" (2005, № 10), "Божественное жизнелюбие" (2013, № 9).

буют большого размаха из-за сложности тех проблем, которые ставят как перед автором, так и перед читателем.

"Силы земные" — большой роман второго типа, что делает его вдвойне замечательным. В Британии масштабные романы — одна из смертельных ран, нанесенных Первой мировой войной. Энтони Бёрджесс, принадлежа к британской культуре, в то же время всегда был прирожденным бродягой — экспатриантом, который с презрением отверг Англию не из-за привычных сексуальных или фискальных ограничений, а потому что тамошняя умеренность в области искусства была противопоказана его дарованию. Свободно развиваясь благодаря разносторонним и ненавязчивым влияниям европейской словесности, он сделался разрушителем литературных условностей. "Силы земные" многим обязаны неовикторианской мощи современного американского романа. Творение Бёрджесса отличается дерзким размахом, напоминающим "Войну и память" Германа Вука, и изощренным интеллектом, которым отмечены романы Сола Беллоу: "Герзаг", "Приключения Оги Марча" и "Дар Гумбольда". (Отметим также почтительные поклоны в сторону Толстого и Пруста.)

Даже несмотря на свои шестьсот страниц, роман кажется перенаселенным, переполненным примерами маниакальной эрудиции, грубоватыми шутками, мультиязычными каламбурами. Герой-повествователь "Сил земных" — восьмидесяти однолетний Кеннет Туми, гомосексуалист, католик и никудышный романист. По ходу развития сюжета этого густо населенного романа, в котором переплетаются реальная и личная история XX века (рассказанная более достоверно и обстоятельно, чем в "Рэгтайме" Доктороу или в "Травести" Тома Стоппарда), Туми посещает Париж, Рим, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Мальту, Монако, Малайю, Берлин, Барселону и Алжир, запросто общается с Хемингуэем и Гессе, "Джимом" Джойсом, Морганом Форстером, "Редди" Киплингом, "Томом" Элиотом, "Вилли" Моэмом и "Пламом" Вудхаузом. Примечательно, что юного Туми совращает Джордж Рассел (писавший под псевдонимом АЕ) — в тот самый день, который описан Джойсом (он фигурирует в одном из эпизодов "Улисса").

По мере того как Туми рассказывает о своей жизни, мы осознаем, что с ним или, во всяком случае, около него, постоянно творятся страшные вещи. Его деверь зверски убит чикагскими гангстерами; его ближайший друг исчах от заклятия малайского колдуна; его внучатая племянница стала одной из жертв массового отравления, напоминающего Джонстаунский инцидент[1]. Туми изучает

1. В 77-й главе романа описывается массовое самоубийство членов религиозной секты, инспирированное ее основателем Годфри Мэннингом. Житейской основой этой трагедии стал так называемый Джонстаунский инцидент 18 ноября 1978 г. — гибель 909 адептов секты "Храм народов", основанной американским проповедником Джеймсом (Джимом) Джонсоном (1931–1978). (*Прим. перев.*)

изощренную жестокость природы, на собственном опыте познает неврозы, которыми одержимы разные народы (разгул цензуры, сухой закон, приход к власти Муссолини), испытывает шок от посещения освобожденного Бухенвальда: "Что это был за запах? Слишком человеческий... От меня самого так несет, от всего человечества". Жестокий нравственный вывод – ирония теодицеи и теологии, посредством которой божественное вмешательство предохраняет будущее от сектантских массовых убийств, своего рода вызов, который бросает миру писатель-католик, как будто для того, чтобы продемонстрировать мужественное упорство своей веры. Грэм Грин делает это в "Брайтонском леденце", Ивлин Во – в "Пригоршне праха", но Бёрджесс еще более радикален, чем они.

Проблемы Туми усугубляются его гомосексуальностью, которую он воспринимает как ловушку, лишающую его свободы воли. Если можно так выразиться, Туми в ужасе, оттого что любит, и потому сетует на Бога. Выводок вороватых, неопрятных катамитов, с которыми якшается Туми, без сомнения, оскорбит значительную часть ортодоксальных гомосексуалистов. Привычный к полицейским преследованиям за свой грех, Туми надеется когда-нибудь увидеть гомосексуальный брак, благословенный церковью, хотя дожить до этого у него очень мало шансов. (В конце концов, если процитировать лидера "Морального большинства" Джерри Фауэлла: "Бог создал в своем саду Адама и Еву, а не Адама и Стива".) Его единственная настоящая любовь была платонической; очень скоро силы зла погубили ее. "Единственным выходом из гомосексуализма является инцест", – говорит Туми Хэвлок Эллис. И действительно, только целомудренные, хотя и не лишенные эротизма, отношения между Туми и его сестрой Ортенс поддерживаются на протяжении всего романа.

Какое же позитивное суждение возможно в детерминистском мире Туми? Согласно Бёрджессу, единственное богоподобное деяние, доступное человеку, – создание художественного произведения – книги о добре и зле. Туми, безусловно, относится к типу бесплодных творцов, претенциозных, но, к сожалению, неглубоких, и Бёрджесс мастерски пародирует его творческие потуги: эпические произведения с пышными периодами, обреченные на неудачу оперные либретто, броские стишки для мюзиклов, переделанный на сентиментально-гомосексуальный лад миф о сотворении мира, даже теологический трактат о природе зла (написанный в тайном сотрудничестве с Карло Кампанати, большой шишкой из Ватикана, который позже стал папой римским). Как только Туми начинает творить, он проникается божественной уверенностью; по мере того как творение обретает форму, он чувствует, что не достигает цели, поскольку непредвиденные обстоятельства и житейские компромиссы обволакивают его первоначальный замысел. То, что замышлялось как нечто новаторское и безукоризненное, оказывается банальным и затхлым.

И хотя в некотором смысле "Силы земные" – такое же творение Туми, как и Бёрджесса, его можно назвать выдающимся достижением: это масштабная и замысловатая конструкция, необыкновенно устойчивая благодаря мастерскому исполнению; ее создатель преисполнен горестного великодушия по отношению к воссоздаваемому им грешному миру. Как литературная форма большой роман не свободен от недостатков и неточностей; вот и в этой книге под оживленной словесной оболочкой скрывается множество пустот. Но какими бы ни были ее несовершенства, она демонстрирует нам писателя, который достиг наивысшей степени своих сил земных.

New York Times Book Review, 1980, December 7, p. 1, 24

Пол Теру

Ш*едевр* Б*ёрджесса*

ANTHONY BERGESS E*arthly Powers*. – Simon & Shuster, 1980

Перевод
Николая Мельникова

Лет четырнадцать тому назад Энтони Бёрджесс, в то время еще проживавший в Англии, публично заявил: поскольку ему надоело платить карательные британские налоги, он вскоре переезжает на Мальту, чтобы продолжить заниматься писательством; он уже опубликовал множество книг, но теперь, облапошив налоговую службу Ее Величества, обещает создать в тишине изгнания роман "толстовского масштаба".

Мы ждали. Бёрджесс засел за работу. Он сочинял музыку и писал киносценарии, публиковал переводы из Ростана и мудреные экскурсы в творчество Джойса, написал биографию Хемингуэя, отрецензировал сотни, если не тысячи, книг. При этом он постоянно перемещался: с Мальты – в Голливуд, после турне по американским университетам (одноразовое выступление в Блумингтоне и т. д.) – в Рим, на Манхэттен и, наконец, в Монте-Карло, где живет и по сей день – скромный стоик среди сибаритов. И все это время он публиковал романы: "МФ", "Конец Эндерби", "Abba Abba", "Человек из Назарета" и в прошлом году – "1985". Это взрывчатые творения, исполненные любви к языку, звенящие каденциями, в которых Бёрджесс выражает недовольство профсоюзами, литера-

"Burgess's Masterpiece" by Paul Theroux. © 1980 Paul Theroux, used by permission of the Wylie Agency (UK) Limited.

© Николай Мельников. Перевод, 2017

Пол Теру (р. 1941) – американский прозаик. В ИЛ были опубликованы рассказ "Уроки поэзии" (1996, № 10), фрагменты книги "Моя другая жизнь" (2000, № 3), в которой изображена вымышленная встреча с Энтони Бёрджессом и его фанатичным поклонником, роман "Коулун Тонг" (2002, № 4) и путевые очерки из сборника "Все четыре стороны" (2007, № 12).

турными кликами, иерархией католической церкви, групповой преступностью, коррупцией, мертвящей бюрократией, человеческой алчностью, слабостью и безволием, порождающими жульническое псевдоискусство, род культурного артериосклероза глобальных размеров. Эти романы преисполнены толстовского пафоса, но все они явно не толстовского масштаба.

Тем не менее Бёрджесс тайно работал как раз над таким романом. Кажется почти невероятным, но, сочиняя известные нам произведения, он в то же время (но как?) упорно создавал роман, который значительно превосходил их. Роман, который он обещал все эти годы, — гигантский, соразмерный, чрезвычайно забавный, переполненный мнениями и навязчивыми идеями, на которые лишь намекал в предыдущих сочинениях. В нем изображены бурные события нашего века, дюжина стран, знаменитости и заурядные людишки. Чтение столь величественного творения интеллекта, юмора, целеустремленности и воображения доставляет такое удовольствие, что рецензируя его, невозможно не выразить восхищение.

Пересказывать сюжет "Сил земных" — значит кратко изложить историю двадцатого столетия. Герой-повествователь — восьмидесятиоднолетний писатель и драматург Кеннет Маршал Туми. Если бы я не прочел биографическую книгу Теда Моргана "Моэм", то был бы до того невежественным, что подумал, будто Бёрджесс тонко подшутил над "Королевой виллы Мориск", выбрав ее моделью для своего героя. На самом деле гомосексуальность и театральные успехи — это все, что сближает Туми с Моэмом. Туми — более популярный автор и гораздо больше путешествует: едва ли его можно счесть брюзгливым анахоретом. Он всецело вовлечен в исторические события и, хотя его писания отличаются дешевой сентиментальностью и даже вульгарностью, достаточно литературно образован, чтобы подолгу вести умные разговоры с Джеймсом Джойсом и Фордом Мэдоксом Фордом, высмеивать Нормана Дугласа и болтать с Редьярдом Киплингом. Моэм был равнодушен к религии; Туми увлечен теологией, особенно пелагианской ересью и духовной загадкой своих сексуальных предпочтений, к которой возвращается вновь и вновь. В одной из частей виртуозно выстроенного сюжета автор позволяет Туми сыграть важную роль в избрании папы — папы Григория XVII — в 1958 году, после чего, по мнению Бёрджесса, католическая церковь пошла по неверному пути.

Оказывается папа — старый друг Туми. В романе описываются их карьеры: Туми начинает как автор скандального романа (что-то вроде "Скверной улицы" Комптона Маккензи), Дон Карло Кампанати — священник, выходец из семьи с обширными связями. Ортенс, сестра Туми, выходит замуж за брата Карло Кампанати; их мать появляется в одном из эпизодов рома-

на, в котором пытается предотвратить восхождение Гитлера к власти; другой брат Кампанати погибает от рук чикагских гангстеров. Сам Туми невольно впутывается в дела Третьего рейха: подобно П. Г. Вудхаузу выступает по немецкому радио, за что британская пресса объявляет его предателем.

Циклопические мемуары Туми начинаются, как он сам замечает мимоходом, с интригующей завязки: "Было уже за полдень в мой восемьдесят первый день рождения, и я был в постели с любовником, когда Али объявил, что архиепископ прибыл и желает меня видеть"[1]. Одной фразой автор вводит нас в круг проблем, которыми поглощен Туми: Время, Плоть и Церковь. Место действия — Мальта; и вот уже Туми на бестолковой вечеринке, устроенной в честь его дня рождения: брезгливо морщится из-за напыщенных речей, которые с полным ртом извергает его любовник. Борясь с хаосом настоящего, он безоглядно погружается в прошлое, но при этом заблаговременно предупреждает нас, что воспоминаниям писателя верить нельзя:

Но главный вопрос, по-прежнему остававшийся для меня не решенным, был в том, насколько точно я могу ручаться за подлинное знание фактов собственного прошлого и не было ли в этом знании попытки художественно приукрасить факты, иными словами, не было ли искусной фальсификации? На мою память нельзя было полагаться по двум причинам: я был стариком и я был писателем. Писателям свойственно с годами переносить способность к вымыслам из профессиональной деятельности на другие стороны жизни. Куда проще, куда приятнее составлять биографию из анекдотических сплетен и болтовни за стойкой бара, перемешать события во времени, присочинить кульминацию и развязку, тут прибавить, там убавить, подыграть вкусу читателя, чем просто перечислять реальные факты. Эрнест Хемингуэй, я хорошо это помнил (хотя что значит — хорошо?), докатился до того, что, даже когда уже совсем перестал писать, оставался в плену собственных выдумок. Он мне рассказывал, что спал с красавицей-шпионкой Матой Хари и что она была в постели хороша, правда, бедра у нее были несколько тяжелые: ему тогда ведь было чуть за пятьдесят, всего на несколько лет моложе меня. Я знал, да и любые документы это подтвердят, что в то время, когда Мату Хари казнили, Хемингуэя еще не было в Европе.

Упоминание Хемингуэя весьма характерно для Туми, поскольку весь мир раскрыт перед ним, и с юности он мог общаться с разными знаменитостями. Доступ к ним давало его англо-французское происхождение, а также то, что за свою долгую жизнь он всегда оказывался в нужном месте: в Лондоне он обсуждает гомосексуальность с Хэвлоком Эллисом, в Париже обедает с Гарри и Карресс Кросби. Он немного высокомерен по отношению к Джойсу (у того "нескончаемый

1. Здесь и далее роман цитируется в переводе А. Пинского. (*Прим. перев.*)

поток слов"), но, тем не менее, помогает ему создать лексическое подобие игры в веревочку:

– Как у вас там в ваших краях называется наушник? – спросил он меня.

– Уховертка, – ответил я.

– Уха вертка, – произнес Джойс, вслепую наслаждаясь сигаретой. – Запишите мне это на пачке сигарет. Сначала, значит, ешь уху, а потом становится вертко...

В Италии, окруженный новой родней (у итальянцев крепкие семейные связи), он наблюдает, как к власти приходят чернорубашечники, и вскоре вновь отправляется странствовать. Его первая остановка – Малайя. Бёрджесс уже описывал ее в "Малайской трилогии", но здесь он не повторяется. Более того, малайские эпизоды относятся к числу лучших мест книги. Туми пишет рассказы и биографию Стэмфорда Раффлза, затем возобновляет путешествие и отправляется в Австралию, на Гавайи, в Сан-Франциско и Нью-Йорк, затем прибывает в Лондон, где присутствует на суде над романом "Колодец одиночества" ("это не очень хорошая книга"). В сильном раздражении он возвращается в Италию как раз в то время, когда Муссолини подписывает Латеранские соглашения. Он видит, что церковные споры приобретают угрожающий масштаб и отправляется в Голливуд, где между писанием сценариев и вечеринками обдумывает учение Пелагия. Голливуд, весьма правдиво изображенный Туми, ужасен, однако там он столь же успешен в качестве сценариста, как прежде – драматурга.

Несколько лет спустя он оказывается в Берлине – общается с рейхминистром Геббельсом. В Берлине ощутимы зловещие симптомы – приметы антисемитизма, – и Туми, всегда угадывающий желания публики, пишет книгу о грядущей катастрофе.

Тем временем Дон Карло Кампанати из простого священника становится монсеньором, а затем кардиналом. Туми присутствует при совершении несколько сомнительных чудес и позже, когда обсуждает расовые проблемы с новым любовником, чернокожим американцем, узнает об интригах кардинала Кампанати в Ватикане. Именно Кампанати способствовал подписанию Латеранских соглашений и вскоре – после ряда событий, слишком запутанных, чтобы их здесь пересказывать, – становится папой Григорием XVII.

В романе представлено очень многое: вырождающаяся современность, казуистические словопрения, запутанная логика, тирания туманных идей и бесплодной учености. Все это смешно, но еще и страшно. Очередная поездка по Америке окончательно убеждает Туми, что конец близок. На этой ноте и завершаются его воспоминания. Туми пытается уснуть во время ливня с грозой: "Я надеялся, что сновидений не будет".

"Силы земные" – слишком большой и хорошо скомпонованный роман, чтобы не быть тщательно продуманным. Изображая наиболее драматичным способом жизнь двух человек, твердо решивших добиться своего, он ставит перед нами

сложные вопросы. Можно сказать, что Туми делает искусство религией, а Кампанати религию — искусством: политизированным в широком смысле этого слова, бездуховным и стерильным. Мне нравятся эти двое честолюбцев. Они добиваются земной славы, но, всякий раз достигая успеха в своем деле, каждый терпит поражение как человек. Впрочем, роман рассказывает не только о них, но и о литературных течениях, религии, политике и популярной культуре. В нем много увлекательных рассуждений о языке и кулинарии (герои много едят и разговаривают). Это во всех отношениях замечательная книга.

Saturday Review, 1980, Vol. 7, № 15 (November), p. 50–51

Анатоль Бруайар

Трократный конец невинности

ANTHONY BURGESS *The End of the World News.* — N. Y.: McGraw- Hill, 1983

Перевод
Николая Мельникова

Без сомнения, Энтони Бёрджесс — талантливый писатель, однако, когда я читаю его, меня часто не оставляет мысль, что он не слишком утруждает себя и не относится серьезно ни к собственному дару, ни к литературе. Похоже, что лишь ничтожная часть из двадцати шести написанных им романов увлекла его по-настоящему: только прочитав два его романа о злополучном поэте Эндерби, я осознал, каким замечательным автором может быть Бёрджесс. “Книга для легкого чтения” — вот как он определяет свой последний роман “Конец последних известий”. Согласно Грэму Грину, у которого Бёрджесс заимствовал определение, “книга для легкого чтения” представляет собой добротный роман на несерьезную тему, иными словами, тщательно выписанный детектив или триллер. В случае Бёрджесса это определение означает, что он увлекся идеей написать роман, но или не смог, или не захотел осуществить ее.

На самом деле “Конец последних известий” — это три романа или, точнее, повести, которые объеденены самим фактом включения в один том. Бёрджесс настаивает на том, что все они о конце света, поскольку в них изображены Фрейд, Троцкий и уничтожение Земли упавшей на нее планетой под названием Линкс.

Бёрджесс подразумевает, что Фрейд покончил с нашей невинностью в области психо-

© Николай Мельников. Перевод, 2017

Анатоль Бруайар (1920–1990) — американский критик; с 1958-го по 1979 г. — литературный обозреватель газеты “Нью-Йорк таймс”; автор нескольких сборников литературно-критических статей.

логии, Троцкий представлял движение, которое, по-видимому, уничтожило наивные представления об экономике, а планета Линкс разрушила мечты о будущем. Часть, посвященная Троцкому, написана в форме мюзикла. И хотя Бёрджесс не только писатель, но еще и композитор, это, на мой взгляд, самое неудачное место в книге: не музыкальная комедия, а, скорее, комикс о Троцком.

Фрейд вроде бы представляет интерес для Бёрджесса, но это не спасает роман от окарикатуривания многих лидеров европейского психоаналитического движения. Особенно уничижительно изображен Шандор Ференци. И мы не избавлены от сомнительных шуток, когда, например, мать Фрейда говорит: "Мой сын — доктор", или вспоминает, как маленьким мальчиком он возился в грязи. Нас также потчуют неизбежной шуткой насчет сигар, когда Фрейд настаивает: он курит сигары, а "сигара — это просто сигара".

Поскольку Фрейд был великим человеком с трагической судьбой, Бёрджесс не всегда изображает его подобным образом, и тогда роман оживляется и в нем встречаются прекрасные эпизоды. Например, когда Хэвлок Эллис предостерегает Фрейда: "Бойтесь стать догматиком!", или когда Крафт-Эббинг, автор "Половой психопатии" (1886), негодует по поводу предположения Фрейда, будто даже дети испытывают половое влечение.

Возможно, самая эффектная часть "Конца последних известий" — научно-фантастический Апокалипсис или Армагеддон, в котором уничтожается наш мир или, по крайней мере, наша планета. Но хотя эрудиция Бёрджесса и его стилистический дар задействованы здесь весьма удачно, на мой взгляд, ему все же не хватило усердия на проработку деталей, благодаря которой эту часть книги можно было счесть художественной удачей. В научной фантастике мы миримся с невероятным, но не прощаем небрежности. А Бёрджесс просто не может относиться к рассказываемой истории с той степенью уважения, которую заслуживают даже "книги для легкого чтения". Например, он часто тасует эпизоды и персонажей, не делая даже строчных интервалов, которые помогли бы сориентироваться читателю.

И еще я думаю, что автор, обладающий талантами Бёрджесса, мог бы возвыситься до дерзкой иронии над концом света, а не пробавляться избитыми присказками, противопоставляющими искусство и науку. Команду космического корабля, уносящего от Земли горстку выживших, за единственным исключением составляют ученые; в корабельной библиотеке представлена только техническая литература.

Этим единственным исключением является писатель Вал, автор научно-фантастических романов и муж ученой дамы из команды космического корабля. Он должен стать летописцем экспедиции. По-моему, Бёрджесс настолько идентифицирует себя с ним, что это придает Валу некоторую привлекательность. В сущности, авторское отношение к Валу

наводит на мысль, что Бёрджесс мог бы написать превосходный научно-фантастический роман, если бы больше думал о том, как развлечь читателя, а не себя самого.

New York Times, 1983, March 12

Гор Видал

Почему я на восемь лет моложе Энтони Бёрджесса

ANTHONY BURGESS. *Little Wilson and Big God.* – N. Y. Grove Press, 1987

Перевод
ВАЛЕРИИ БЕРНАЦКОЙ

Я видел, как они вошли, полк из двух человек со знаменами[1]. Он высокий, бледный, с сузившимися от сигаретного дыма глазами (много лет норма – восемьдесят сигарет в день); она маленькая, с круглым, слегка одутловатым лицом. В уютной комнате с панелями из клееной фанеры лились крепкие напитки, и цвет английской литературы и издательского дела готовился все это выпить в честь – не совсем то слово – моего возвращения в литературу после десятилетнего отсутствия, когда я долго размышлял о происхождении христианства, в результате чего возник роман[1]. Шел 1964 год.

Она произнесла громким, чистым голосом: "Вы – и тут я перестал ее понимать, – пздрвляю скнишкой видение Жжойса вы роско конклин"[2], – мне показалось, что в конце прозвучало имя нью-йоркского сенатора девятнадцатого века. Я повернулся к мужчине – может, он биограф сенатора? – и увидел перед собой больные глаза, словно прорези для пуговиц, такие страшно увидеть во сне. "Тошна, – подхватил он. – Жжойс тоже слеп, тока крутче". Я пил достаточно, но не до такой же степени, чтоб ничего не понимать, а высокий мужчина казался трезвым. Очевидно, все связано с моей обычной проблемой с английским произношением: тихим, быстрым бормотанием, упорным придыханием, взрывающимися дифтонгами, ударением не на привычном месте и согласными, растягивающимися по мере продвижения на запад вместе с тринадцатью колониями.

© GORE VIDAL
© ВАЛЕРИЯ БЕРНАЦКАЯ. Перевод, 2017

ГОР ВИДАЛ (1925–2012) – американский писатель, критик, публицист и общественный деятель. Лауреат Национальной книжной премии (1993). В "ИЛ" были напечатаны переводы его романов "Вашингтон, округ Колумбия" (1968, №11, 12), "Бэрр" (1977, №7–10), "1876" (1986, № 4, 5).

1. Парафраз из "Песни Песней" 6:4 ("...грозна, как полки со знаменами"). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

1. Имеется в виду роман "Юлиан" (1964), посвященный римскому императору Юлиану, пытавшемуся возродить язычество.
2. Роско Конклинг (1829–1888) – американский политик.

Мы разошлись. Мне сказали, что я разговаривал с Энтони Бёрджессом и его женой Линн. Бёрджесс написал несколько комических романов о жизни к востоку от Моэма — или от Суэца[1]. Сейчас вышел его новый роман "Заводной апельсин". Я ничего не знал о Бёрджессе, кроме отличного анекдота. В одной английской газете он под чужим именем написал рецензию на свою книгу. Британцы были в шоке. Я же пришел в восторг: Уолт Уитмен делал то же самое. Кроме того, настаивал я, разве плохо, если хоть одна рецензия в Англии будет написана человеком, действительно прочитавшим книгу?

Полк снова приблизился — знамена подняты высоко. Наконец мы нашли общий язык. Линн была раздражена, что "Книжное общество" назвало лучшим романом моего "Юлиана". Но она взбесилась еще больше, когда я поинтересовался, что такое "Книжное общество". Мне представились состарившиеся сумасбродки из двадцатых, цитировавшие по памяти за сладким чаем отрывки из Дороти Ричардсон[2]. Да оно ничем не отличается от "Американского книжного клуба", прорычала Линн. Я извинился. Но это было еще не все. Недовольство носилось в воздухе. Роман Бёрджесса выбрали как лучший только в 1961-м, а ведь *он на восемь лет меня старше*. Я слишком молод, чтобы удостоиться такого почета. Тут я взобрался на своего конька, благо он уже бил копытом. "Я написал больше книг, чем мистер Бёрджесс, — сказал я, удобно располагаясь в седле. — И занимаюсь этим дольше". Мы быстро и недоверчиво подсчитывали, кто имеет больше прав, прибавляя и отнимая, а сами в это время поедали небольшие, но сытные сосиски, запеченные в тесте и проткнутые пластиковыми зубочистками. На самом деле прошло восемнадцать лет со времени выхода моей первой книги[1] (в двадцать лет) и всего лишь семь, как Бёрджесс опубликовал первый роман[2] (в тридцать семь лет), но у нее не было и тени сомнения, что муж впереди по числу выпущенных книг. Я не был в этом уверен. Но еще не успев начать долгий подсчет, я вдруг услышал от него: "Вообще-то я композитор". Это было круто, и я сразу уступил ему первое место. Но Линн не сдавалась. "Никакой ты не композитор", — накинулась она на него. Униженный женой, он недовольно поморщился и пробормотал: "Роско дж конклинг". Когда поздно вечером я уезжал, меня проводил дискант немолодого человека: "Шейн!"[3].

Через четыре года Линн умерла от пьянства, ее убил цирроз печени. В положенное вре-

1. "К востоку от Суэца" (1922) — пьеса Сомерсета Моэма (1874–1965).
2. Дороти Ричардсон (1873–1957) — английская писательница и журналистка, использовала в своей прозе "поток сознания".

1. Роман "Уилливо" (1947).
2. Речь идет о романе "Время тигра" (1956), ставшем первой частью так называемой "Малайской трилогии".
3. Шейн — романтический герой из одноименного вестерна (1953), режиссер Джордж Стивенс.

мя Бёрджесс женился на итальянке, жил в Риме, и время от времени наши пути пересекались и пересекаются. Сейчас, спустя двадцать три года после нашей первой встречи, ему вдруг неожиданно — и это поразительно! — стукнуло семьдесят (а я остаюсь, и теперь уже навсегда, на восемь лет моложе), он написал двадцать восемь романов и еще с десяток эксцентричных книг на самые разные темы, какое-то время работал на телевидении, в кино и в театре, где оставил неизгладимый след переделкой "Сирано", изменившей представление об этом широко известном, но ранее не настолько ярком "ветеране сцены".

* * *

Сейчас Бёрджесс опубликовал книгу "Маленький Уилсон и Большой Бог: Первая часть Исповеди", в которой, несмотря на ее основательный объем, писатель доходит только до 1959 года. Тогда ему исполнилось сорок два, и доктора преподнесли ему неожиданный подарок: из-за неоперабельной опухоли мозга жить ему осталось всего один год. Чтобы как-то обеспечить Линн, он начинает с потрясающей скоростью писать один роман за другим, и сейчас, через двадцать лет после ее смерти, он, можно сказать, вернувшийся с того света, продолжает делать то же самое. Несравненная английская медицина ("Кстати, доктор Баттерфингерс, вы стоите на *моем* скальпеле") в ответе за существование одного из самых интересных английских писателей второй половины столетия. Как и у Мередита, его лучшие произведения превосходны, но и худшие — достаточно хороши. Подобных писателей больше нет — это беспокоит не только других, но и его самого. Сейчас с печальной — боюсь, тщетной — надеждой, что узнав все тяготы его существования, мы сумеем простить несравненную оригинальность и продуктивность его творчества, он исповедуется не перед милосердным Богом, а перед безжалостными нами.

Герой первой части автобиографии, на мой взгляд, мало напоминает человека, который ее написал, а тот, в свою очередь, совсем не похож на того Джона Уилсона, который существовал до тех пор, пока не состоялся — в относительно позднем возрасте — как романист. И дело тут не в заведомой подтасовке фактов, а в особенности самой памяти, которая подводит, когда рассказываешь кому-то о прошлом: "Бывает, я что-то забываю, особенно имена". К тому же эта исповедь выстроена не с той продуманной затейливостью, как любой из его романов, — она сознательно слеплена как бы из подручных материалов (дневниковых записей?). Существует единичное упоминание о дневнике.

Бёрджесс рассказывает, как в 1985 году он в нью-йоркском отеле "Плаза" ждал такси, которое должно было доставить его в аэропорт. Вдруг, подобно Гиббону[1] на ступенях базилики Санта-Мария-ин-Арачели, ему

1. Эдуард Гиббон (1737–1794) — английский историк. По свидетельству самого Гиббона, мысль написать историю падения и разрушения Рима пришла ему на развалинах Капитолийского холма, где находится указанная базилика.

пришла мысль написать эту книгу. Однако не думаю, что тогда он понимал, куда собирается идти и как туда попадет. К счастью, ему неведома скука. Ему удается все сделать интересным, кроме разве тех случаев, когда он пишет закодированные послания к Н. Чомски[1] не столько по поводу лингвистики, сколько по поводу собственного глоссолалия, триумфально реализованного в сценарии фильма "Борьба за огонь".

Но рассказ шел по порядку. Джон Уилсон родился 25 февраля 1917 года в Манчестере, Англия. Вернувшийся с Первой мировой войны отец не застал в живых жену и дочь, скончавшихся от испанки. В одной комнате с умершими лежал в колыбельке маленький Уилсон и весело щебетал. Я не уверен, что каждая деталь рассказа выдержала бы проверку в суде, но в целом Бёрджесс, как все писатели — всегда под присягой (в отличие от обвиняемого на скамье подсудимых) и довольно точно излагает суть событий. Отец — музыкант, работает тапером в кинотеатрах, женится второй раз на женщине со средствами, которая держит табачную лавку. Юный Уилсон принадлежал к низам среднего класса и имел реальную возможность подняться выше по социальной лестнице, если б в его жилах не текла кельтская кровь: как католик он был чужаком среди протестантского большинства. Его послали учиться в католическую школу, где добрые братья, как у них обычно случается, сделали все, чтобы отвратить его от веры. Когда Джон Уилсон стал подвергать сомнению догматы Святой церкви, священник сказал, что тут уже начинаются отношения Маленького Уилсона и Большого Бога; отсюда и название, и в нем — проблема автора.

В книге много внимания уделено сексу. Хотя Бёрджесс вступил в сексуальные отношения с девушками в раннем возрасте и однажды видел, как мастурбировал один мальчик, сам он не знал, как заниматься онанизмом довольно долго. Также он не знал и о существовании библиотек, выдающих книги на дом, и это более грустный пробел. На мой взгляд, Бёрджесс в очередной раз доказывает, какой неинтересной кажется сексуальная жизнь других людей, когда они сами о ней рассказывают. В одном месте у него проскальзывает мысль, что почти вся мировая литература — о сексе. Если так, тогда понятно, почему нам необходима литература. Как только воображение кинетически переносит половой акт с постели на страницу, начинается эмоциональное возбуждение. Но оно отсутствует, когда писатель или кто-то другой рассказывает нам, чем он занимался в постели, или на полу, или в кустах — где Бёрджесса застукали в армии. Тем не менее и у Фрэнка Харриса, и у Генри Миллера, и у Теннесси Уильямса, и у Бёрджесса есть странное желание все нам поведать, а мы (если только не испытываем вожделения к ста-

1. Ноам Чомски (р. 1928) — американский лингвист и философ.

реющей плоти автора) начинаем листать страницы в поисках сплетен, анекдотов, сведений или просто хорошей фразы.

Конечно, Бёрджесс, как и я, воспитывался перед Второй мировой войной. В те дни во многих кругах (к счастью, не в моем) секс и грех рассматривались как одно целое, и потому в основе новой религии лежала мысль о всемирной подавленности секса (уголок буржуазной Вены символизировал этот мир). А так снять вину можно было только через исповедь. Только с возрастом Бёрджесс догадывается, что могут быть другие невинные источники радости, если на то пошло, вроде отличной работы кишечника, и о них знает страдающий запором Эндерби, поэт, по имени которого назван цикл романов. Он жаждет избавления от тяжести в кишечнике, как безумный серфингист ждет высокой волны.

Должно быть, в молодости Бёрджесса смущало наличие у него множества талантов. Во-первых, он был композитором, совершенно околдованным этой арифметической музой. Бёрджесс помнит тысячу популярных песен. С легким сожалением он отмечает, что и сейчас мог бы заработать себе на жизнь пианистом в ресторане. Но амбиций у него было больше. Он клал тексты на музыку, сочинял симфонии, пробовал силы в опере. По его словам, он и сейчас этим занимается наперекор здравому смыслу: ведь как композитор он не столь удачлив, как писатель. Бёрджесса это смущало. Правы ли критики? Годится ли он на что-нибудь? В настоящее время он пишет оперу о Фрейде ("Покажете мне ваш сон, если я покажу свой"?). Возможно, для него это путь вспомнить собственный ранний сексуальный опыт.

Однако в наше скучное время, когда любят раскладывать все по полочкам, существует негласное (ущербное) убеждение, что никто не может заниматься сразу несколькими видами искусства. Более того, в самой литературе писатель должен придерживаться одной, предпочтительно скромной, тематики, и это притом, что талант в чем-то одном часто сопровождается одаренностью еще и в другом виде искусства или даже в нескольких. Этот секрет гениев не раскрывается в университетских аудиториях, чтобы избежать нервных срывов, утраты веры и перевода с английского отделения на физику. Если Гёте, например, имел возможность пестовать свою универсальность, то от современного художника ждут, что он всю жизнь просидит в просторном колумбарии для посредственностей. Репутация нашего замечательного прозаика, мастера малой прозы, Пола Боулза[1] тоже подвергалась сомнению: ведь он был еще и талантливым композитором. Для музыкантов он писатель, для писателей — музыкант.

Помимо музыкального дара, Бёрджесс наделен еще та-

1. Пол Боулз (1910—1999) — американский писатель, переводчик и композитор. С 1947 г. жил в Марокко.

лантом рисовальщика. К счастью, писатель страдает дальтонизмом, иначе его заклевали бы до смерти злобные вороны из галереи "Тейт". В конечном счете он мог писать, но прошло много времени, пока он позволил себе примерить эту "старую калошу" искусства. Подозреваю, что Бёрджесс был серьезно уязвлен теми музыкальными критиками, которые указали его место — на галерке "Альберт-холла", и в результате он поверил, что они правы: человек может делать только что-то одно. Такому рьяному атеисту, как я, понятно, что в каждом из нас множество личностей, талантов, ощущений. Но для католика все — единство. При рождении каждый получает Одну Бессмертную душу, и ничего с этим не поделаешь. Каждому — один бог и одна муза. А в конце нас всех построят. Хорошие — направо. Плохие — налево. Вот так! А теперь послушаем голоса, возносящие Ему хвалу. Потому что Господь зде-е-есь! Бёрджесс! Меньше вибрации. Ты ведь не на небесах.

* * *

В его автобиографии прослеживаются три темы. Первая — религия. Быть католиком в низшем среднем классе в Центральных графствах Англии — это непросто; потерять веру или скорее отпасть от нее — тоже нелегко; трудно все время быть начеку, дожидаясь, что тебе откроется другая абсолютная система с твердыми понятиями обо всем. Однажды в Юго-Восточной Азии у Бёрджесса появилось искушение принять ислам. Но его испугал мусульманский фанатизм, и он дал задний ход.

Сейчас, "в пожилом возрасте, я оглядываюсь на прежние попытки отказаться от своего отступничества и примириться с Церковью. Это потому, что я не нашел ей никакой метафизической замены. Ни марксизм, не скептический гуманизм, который проповедовал Монтень, не убедили меня. Я не знаю ни одного другого института, который одновременно объяснял бы природу зла и, по крайней мере теоретически, пытался с ним бороться".

Такое странно слышать просвещенному американцу, но куда ветка отклонилась[1]... В той степени, в какой у Бёрджесса вообще были политические предпочтения, он был ярым реакционером и мог выдать "блимпизмы"[2] вроде: "В феврале на Ялтинской конференции половину Европы продали русским".

Вторая тема — секс. После избытка сексуальной вольницы в семидесятые годы и истерического страха перед СПИДом в восьмидесятые тем, кто созрел после великого перелома — Второй мировой войны, — трудно осознать, что почти единственное желание, которое никогда нас не покидало, — это с кем-нибудь переспать. Бёрджесс

1. Начало английской пословицы: "куда ветка отклонилась, туда и дерево выросло" ("as the twig is bent so grows the tree").
2. Происходит от Блимпа — полковника, персонажа английских карикатур, стереотипный образ напыщенного, чопорного англичанина.

вступил в британскую армию в 1940-м в возрасте двадцати трех лет. Спустя три года, в семнадцать лет, я записался в американскую армию. Демобилизовались мы оба в 1946-м в невразумительном звании уоррент-офицера[1]. Хотя Бёрджесс, когда его призвали в армию, был фактически женат на Линн, он тоже, как и все мы, приобщился к миру секса, когда с треском рушились все традиционные барьеры. Такую вседозволенность не знали предыдущие поколения европейского христианского мира и тем более американцы. Присоединившиеся к этой вакханалии еще до двадцати, часто не могли в более позднее время достичь подлинной близости в интимной жизни. У Бёрджесса были другие проблемы. Искренне — всегда искренне — он рассказывает о них, не думая о том, что автобиография — место для раскрытия истинной сущности, а не всей подноготной: нравоучительная болтовня Августина о грушах[2] могла бы стать для него подсказкой.

Лишившись матери в младенчестве, Бёрджесс пишет: "Никто не ждал от меня проявлений нежности. Меня воспитали эмоционально холодным... Я сожалею об этом, потому что этот эмоциональный холод, помимо прочих недостатков, вредит моим произведениям".

По меньшей мере одному тупому американскому критику это "проницательное" знание о себе Бёрджесса позволило поставить писателя на несколько ступенек ниже на иерархической литературной лестнице. Он не может любить, следовательно, не может писать. Он эмоционально холодный, значит — плохой. Бёрджесс здраво относится к своим рецензентам, и все же, думаю, не осознает до конца глубину невежества среднего американского критика, который всегда готов прославлять и защищать убийственную второсортность, присущую в последней трети столетия нашему гарнизонному государству.

Недавно для муниципального школьного совета был снят телевизионный документальный фильм об одной из наших средних школ. Совет пришел в восторг. Но когда фильм показали публике, школьный совет понял: то, чем они восхищались, а именно удачной попыткой разрушить в молодых людях индивидуальность, телевизионная аудитория (отнюдь не оппозиционная) не принимает. С тех пор как власть, а не секс — подлинный двигатель человеческой жизни, слабые часто предпочитают умереть. Вот почему теперь молодые люди не глотают золотых рыбок[1]. Они кончают с собой.

О тридцатилетнем супружестве Бёрджесса, наверное, мучительнее читать, чем его пережить. Во-первых, ему при-

1. Военное звание между сержантом и младшим офицерским составом, аналог российскому прапорщику.
2. Блаженный Августин (354—430) в "Исповеди", перечисляя свои грехи, вспоминает, как в детстве залез в сад соседа за грушами.

1. Глотание золотых рыбок — американский школьный "прикол" 1920—1930-х гг.

ходилось терпеть двух обеспеченных братьев Линн, один из которых мог ее обеспечить, чего не мог сделать Бёрджесс. Затем Бёрджесс отправился на "тусовку" под названием Вторая мировая война. В конце концов Линн рассталась с братьями, и гражданский брак Бёрджессов продолжился в новом качестве. После войны Бёрджесс преподавал в Малайе и Брунее. И он, и Линн выпивали по бутылке джина в день. У нее было много любовников, у него — любовниц. У нее был скверный характер, она требовала развода и смирилась только после публикаций его первых романов. К счастью, Бёрджессу нравится быть униженным женщиной, эта тема проходит в его романах, придавая им сексуальную остроту (взять хоть последний роман об Эндерби). Обворожительная и таинственная — как Грейс. Как бы то ни было, он любил жену, по его словам, все тридцать лет.

Религия, секс, искусство — эти три темы, в отличие от Троицы, не являются единством. В результате, несмотря на увлеченность первыми двумя, главная тема все же третья: ведь она непреходяща. Кажется, сам Бёрджесс не совсем понимает, что думать о своих романах. Мечтательно говорит о музыке, о структуре языка, хотя он, прежде всего, прозаик, романист, а иногда кино- и телесценарист. Было время, когда ко мне обращался продюсер с просьбой написать сценарий об Иисусе, или о Борджиа, или даже об Иисусе и Борджиа, и я всех направлял к Бёрджессу, который соглашался. Сейчас он лучший представитель литературного журнализма, как В. С. Притчетт[1] — лучший литературный критик. С присущей ему скромностью Притчетт предпочитает называть себя журналистом, зная, что на вершине критической мысли в настоящее время прочно обосновались академические литературоведы, которые за последние две декады осуществляют контроль более чем за шестьюдесятью процентами английской литературной продукции. Если не можешь их одолеть, лучше сменить курс.

Не хватит места (или место не позволяет, как притворно заметил Генри Джеймс, начав рецензию на какой-то слабый роман серией блестящих фальстартов), чтобы дать исчерпывающее представление о двадцати восьми романах Энтони Бёрджесса. Так что предпочту ориентироваться на то, что он сам пишет в своих мемуарах. Одно ясно: как и у большинства серьезных и ярких писателей, его природный юмор или чувство комического неразрывно связано со словесной игрой. Очарованный "Поминками по Финнегану", он мечтает повенчать высокую литературу с высокой музыкой. Когда Бёрджесс написал свой первый роман о Гибралтаре в военное время, он отдал его редактору в "Хайнеманн". "Тот назвал роман забавным. На самом деле я к этому не стремился, но принял со скромным достоинст-

1. Виктор Соден Притчетт (1900—1997) — английский писатель и критик.

вом открытие, что я комический романист". Послушный долгу, — всерьез? — он написал еще несколько романов "к востоку от Суэца", и каждый получился комическим, хотя действие в них происходило в невеселых экзотических местах, и герои были под стать окружению. Впрочем, он все время писал о болезненных, нескладных отношениях Энтони и Линн в дальних краях, о которых Гораций (но не Грили[1]) так точно сказал: "Небо, не душу меняет бегущий за море"[2]. "Бегство" часто смешно, бегство *за море* для бриттов смешно вдвойне. Трагедия оказывается комедией.

О своем четвертом романе ("Право на ответ") Бёрджесс пишет: "Это был чистой воды вымысел. То, что я сумел все сам придумать, стало для меня решающим доводом: в призвании я не ошибся". Для читателей Бёрджесса мощный поток его творческой активности открылся, когда писателю вынесли смертный приговор. Думая, что умирает, он стал писать, как бешеный.

В 1944 году беременную Линн ограбили и зверски избили прямо на лондонской улице четверо американских солдат. Она потеряла ребенка. Эта реальная история легла в основу романа, который сам Бёрджесс не очень высоко ставит, — возможно потому, что большая часть человечества в восторге от фильма "Заводной апельсин", поставленного другим мастером. Бёрджесс переносит действие в будущее, где четверо советизированных оболтусов говорят на новом жаргоне, частично заимствованном из лондонского кокни, а частично — из русского языка. Результат поразительный, это ни на что не похоже. Когда Бёрджесс отступает от истории своей жизни, его книги становятся удивительно живыми, как будто написанные чернилами на безмолвной бумаге слова могут обрести жизненную форму или хотя бы ее суррогат.

В свете трех страстных увлечений Бёрджесс стремился соединить в романе божественное начало, символизм Берлиоза и Джойса и резонирующие, подобно кимвалу, атавистические лоренцианские кровавые мифы. К счастью, ему это не удалось. Об одном из ранних романов он пишет: "Символизм был побежден реализмом. Это обычно происходит в том случае, когда романист обладает тем, чего не было у Джойса, — неподдельным влечением к изложению истории". Здесь чувствуется сожаление, признание того, что страстное увлечение Уилсона "Поминками по Финнегану" не нашло отражения в романе Бёрджесса. И далее: "Я понимаю, что роман — по существу, комическая и протестантская форма искусства — не дает возможности погрузиться в изображение религиозного чувства вины". Естественно, Бёрджесс говорит об английском романе нашего века. Все мы восхищаемся романом двадца-

1. Гораций Грили (1811–1872) — известный американский журналист и общественный деятель; сторонник отмены рабства.
2. Гораций. Послания. I. 11, 26.

того века "Доктор Фаустус", который уходит корнями в человеческий кровоток (кстати, зараженный спирохетой), что уже невозможно при нашей жалкой культуре и перенасыщенном языке.

Если в своих мемуарах Бёрджесс одержим сексом, то в романах он прибегает к нему в разумных пределах, а в лучших (он с этим не согласится) — "четверке" Эндерби: "Мистер Эндерби изнутри", "Эндерби снаружи", "Завещание заводного механизма, или Конец Эндерби" и "Темная леди Эндерби" — он использует его приблизительно, как Набоков в "Лолите", когда делает тысячу и одно замечание о литературе и жизни и об их последнем человеческом убежище — американских мотелях. Эфемерные стихотворения на случай в автобиографии сочиняет не сам Бёрджесс, а его детище, Эндерби, один из лучших современных поэтов, заслуживающий антологии и посвященного его творчеству симпозиума без всякого упоминания об Уилсоне/Бёрджессе. Я не знаю другой такой оригинальной выдумки, она превосходит по изобретательности самого создателя. Барон Франкенштейн тут просто отдыхает. Стихи Эндерби производят эффект, сравнимый с тем воздействием, которое высококлассная поэзия оказывает на читателя, наделенного литературными способностями. Они вызывают желание тоже писать стихи, превосходя самого себя.

Бёрджесс, не доверяющий своему космическому чувству и слегка шокированный тем, что его "серьезные" произведения вызывают у других смех, должен знать, что комедия, самое высокое искусство, произрастает из навязчивой идеи. Мелвиллу повезло (католическое воспитание?) создать такой шедевр как "Моби Дик". И мы смеемся — хотя и не в полную силу — над капитаном Ахавом ("Пьер"[1] — смешнее). Однако Бёрджесс проявил достаточно мудрости и позволил всем своим маниям — религии, сексу, языку — работать на комедию. Он также смог пустить в дело свою страсть — не манию — к языку и его проявлениям, и потому его живое воображение сделало значительно привлекательнее культурную жизнь конца нашего столетия. Как это ему удается, подразумевается, а порой и говорится прямо на страницах "Маленький Уилсон и Большой Бог" — книги, которую лучше бы назвать "Маленький Уилсон и Большой Бёрджесс", что означало бы: он творит не только по своей, но и по Его воле.

The New York Review of Books, 1987, May 7, p. 3–8

1. "Пьер, или Двусмысленности" (1852) — роман Германа Мелвилла (1819–1899).

Козлиный мессия

JOHN BARTH *Giles Goat-Boy*. — Seeker and Warburg, 1967

Перевод АННЫ КУРТ

В том, что перед нами литературное произведение, нет никаких сомнений. (Представляю, как приятно было Арнольду Беннету создавать и ниспровергать репутации в “Ивнинг стэндарт” в тридцатые годы.) В том, что оно огромно, можно легко убедиться (по моим подсчетам в ней 742 страницы). Написана книга американцем, а американцы, возможно, в силу эпического размаха их географии, любят длинные эпопеи и чувствуют себя в них, как пресловутая рыба в воде. Нужно ли ее прочесть, не столь очевидно (чего не скажешь о большинстве других книг не столь гигантских размеров), поскольку издатели приложили к ней ценную брошюру под названием “Рекомендации для изучения бестселлера”. Она содержит синопсис, подборку лапидарных похвал и копии американских рецензий. Отвергнув этот заманчивый и легкий путь, я прочел книгу. Почти всю. Авторство Барта несомненно.

Когда в Англии появился его роман “Торговец дурманом”, критики писали о нем настороженно, особенно когда у них не было времени, чтобы осилить необъятную вымышленную историю Мэриленда от начала до конца. Грубоватый юмор и возмутительная, извращенная ученость дают основание назвать книгу раблезианской. Многие (и я в том числе) сочли, что она представляет одно из направлений, по которому должен идти роман, для того чтобы развиваться или оставаться живым, что, в сущности, одно и то же. (Сначала я лишь

One Man's Chorus © ANTHONY BURGESS, 1998
© АННА КУРТ. Перевод, 2017

мельком отметил это, а затем, после вынужденного ухода из журналистики, прочел ее для своего удовольствия.) Она продолжает традицию Стерна, высмеивая не только предмет изображения, но и саму себя. Автор отдает дань экзистенциализму: предполагается, что романная форма умерла, а затем делается попытка построить из ее обломков нечто новое.

"Козлоюноша Джайлс" — четвертый роман Барта и второй, опубликованный издательством "Seeker and Warburg", — по всей видимости подразумевает, что форма должна вернуться к разножанровым первоисточникам и высмеять их в ряду всего прочего. Он представляет собой аллегорию, пародию, нравоучительный и религиозный трактат, миф; серьезное отношение к нему должно включать и долю несерьезного отношения.

Чтобы прочувствовать эту книгу, отсылающую нас к Свифту, Стерну и плутовскому роману эпохи Сервантеса, нужно много свободного времени, как у какого-нибудь затворника XVIII века. Прежде чем приступить к самой истории, приходится прочесть целый ряд вымышленных отзывов читателей (ироничных, как в "Дон Кихоте"). Затем вам предстоит нырнуть в прозрачную аллегорию. Джордж вырос в окружении козлов. Воспитавший его профессор Спильман из любви к миру с его самоубийственным и извращенным интересом к чистой науке становится поклонником трагедии (то есть козлиной песни), полагая, что "козлы человешней людей, а люди польше походят на козлов, шем сами козлы". Джордж, обладающий спасительным животным началом, поступает в Нью-Таммани-колледж, чтобы научиться человечности.

Таммани-колледж — крупнейшее учебное заведение Уэст-кампуса, соперничающего с Ист-кампусом. Сотрясавшие его волнения и беспорядки прекратились, после того как в колледже был изобретен WESCAC[1], с помощью которого удалось победить врагов. Понятно, что это значит?

Университет — это вселенная (то есть универсум) мертвящих аббревиатур: WESCAC может *поедать* людей (по-английски EAT: Electroencephalic Amplification and Transmission — Электроцеребральная амплификация и трансмиссия). Из-за опасности, таящейся в EASCAC[2], его превратили в компьютер-истребитель чудовищной силы. Сам Джордж — продукт Великого обучающего идеала Лаборатории селекционной евгеники[3]. Он мечтает стать мессией или великим наставником (вроде Моисея, Еноха или Тана — при желании можете продолжить этот перечень). Таков сюжет книги. Герой отвергает НЕКОМИНС (Неконцептуальное мышление и интуитивный синтез) и даже саму науку, а также президента университета и завзятого оптимиста: он не трагичен (то есть непричастен к

1. Western Campus Computer — компьютер Уэст-кампуса.
2. Eastern Campus Computer — компьютер Ист-кампуса.
3. По-английски: Grand-tutorial Ideal: Laboratory Eugenical Selection — сокращенно GILES, ДЖАЙЛС.

козлиной песне) и вместе с тем не козлоподобен (здесь, чтобы прояснить дело, необходима пародия, причем пространная, на царя Эдипа). Продолжать, наверное, не стоит.

Это волнующее творение возникло благодаря счастливому и странному стечению обстоятельств: Великие Современные Американские Писатели, имеющие доходные места при университетах, получили возможность шесть лет подряд работать над одной книгой. (Так было с Бартом.) Если искать столь же масштабное произведение литературы в Англии, то не у профессиональных писателей, а у наших университетских преподавателей (так называемых донов). "Козлоюноша Джайлс", подобно небоскребу, не производил бы такого впечатления, будь он меньше объемом.

Когда доктор Джонсон сказал, что путешествие Гулливера — всего лишь размышление о лилипутах и великанах, он посеял зерно неприглядной правды вместе с предвзятой глупостью. В "Козлоюноше Джайлсе" поражает скорее идея (помимо объема книги), нежели ее воплощение. А идея доступна любому смышленому старшекурснику. С другой стороны, книга замешана на самокритике, и как бы я ни умалял ее, автор заранее позаботился об этом. Рядом с ней большая часть современной английской беллетристики кажется легковесной. Можете толковать мои слова как вам угодно.

Spectator, 1967, Vol. 218, № 7240 (March 31), p. 369–370

Произносится Vla-DEEM-*ear* Nah-BOAK-*off*

ANDREW FIELD *Nabokov. His Life in Art.* — Boston: Little Brown, 1967

Перевод АННЫ КУРТ

Эндрю Филд в своей книге "Набоков: его жизнь в искусстве" утверждает, что Владимиру Набокову принадлежат "два из восьми литературных шедевров XX века". Вместе с тем даже его почитатели упорно делают ошибки в произношении его имени. Секретарь его издателя как-то сказал: "Мистер Филд пришел сюда, чтобы прочесть рецензии на Nahba-cocoa". Отныне ни у кого не может быть оправданий: "Нашего автора зовут Vla-DEEM-ear Nah-BOAK-off", — пишет мистер Филд. Так возникает эффект отчуждения. Если кто-то из нас называл его NA-bo-koff, переместив, как зубную пасту в тюбике, ударение на первый слог, то лишь из естественного желания дерусифицировать это имя и включить его в пантеон великих англоязычных писателей. (Он был не столь любезным, как Юзеф Теодор Конрад Коженёвский.) Поскольку Филд в своем исследовании настойчиво призывает нас не обращать внимания на его двуязычие (на самом деле Набоков вла-

One Man's Chorus © ANTHONY BURGESS, 1998
© АННА КУРТ. Перевод, 2017

дел тремя языками, хотя сочинения на французском составляют лишь малую часть его трудов), он не может оценить истинный размах его достижений.

Джеймс Джойс, с которым плодотворно сравнивать Набокова, был первым великим литературным изгнанником XX века. Вобрав в себя всю Европу, он должен был впитать все европейские языки и под конец создал собственный литературный диалект: английский по своей структуре и синтетический по своей семантике. Изгнанник поневоле (в отличие от Джойса), Набоков не зашел так далеко, но его английский язык — инструмент столь же *высокого качества*. Он похож не на естественную кожу, а скорее на вызывающий наряд денди. Его язык всегда точен, правилен, даже, по мнению многих, чересчур, но никогда не бывает вполне непринужденным. Набоков не испытывает затруднений, в отличие от большинства англоязычных писателей, сознающих, как баснословно богат их родной язык, в котором разговорная речь при малейшей возможности легко переходит в высокопарность. Набокова не смущает это богатство, поскольку он не принимает его всерьез: его ирония водонепроницаема. Набоков ни на минуту не забывает, что его родной язык — русский, и сожалеет о том, что английский, который он превозносит, всегда будет ему уступать. Так мы осыпаем самыми неистовыми признаниями в любви женщину, на которой не можем жениться.

С легкой горечью он признает, что англоязычные поклонники, не знающие русского языка, не способны понять его. Недостаточно просто любить "Пнина", "Лолиту" и "Бледный огонь", а также его ранние книги, которые он сам перевел. Мы должны почувствовать его восприимчивость, наилучшим образом выразившую себя при помощи русского языка. Мы должны быть благодарны Филду за то, что он напомнил нам о подлинном масштабе и ценности прозы и поэзии Набокова, написанной по-русски. Чтобы оценить писателя, следовало бы выучить его родной язык (и нам приходится осваивать языки, которые выдумал автор "Поминок по Финнегану". Но почему современная литература создает такие трудности для человека, который всего лишь любит читать книги?). Чтобы понять двуединую природу Набокова, лучше всего обратиться к его переводу и исчерпывающему комментарию к "Евгению Онегину".

Набоков выбирает слова, как великий певец берет ноты: большинство из нас вынуждено довольствоваться лишь узким диапазоном. Филд напоминает нам о полемике Набокова с Эдмундом Уилсоном, уверявшим, что знает русскую литературу в подлинниках. Почему, недоумевает Уилсон, Набоков перевел слово "обезьяна" из "Евгения Онегина" как "sapajou"? К чему этот эксцентричный архаизм, если словарь дает нам слово "monkey"? Набоков с удовольствием ему ответил. Действительно, пишет он, "слово 'monkey' (обезьяна) обозначает любой вид этих животных, но дело в том, что ни 'monkey', ни 'ape' в

Произносится Vla-DEEM-ear Nah-BOAK-off

данном контексте не вполне подходят”[1]. Дальше Набоков объясняет, что в этом отрывке из “Евгения Онегина” Пушкин специально приводит по-русски фразу из своего письма к брату, написанного по-французски и хорошо известного его читателям. “Замечу только, что чем меньше любим мы женщину, тем вернее можем овладеть ею. Однако забава эта достойна d’un vieux sapajou du dis-huitieme siècle”[2].

Sapajou в переводе с французского не только обезьяна, но и развратник. Набоков, по его словам, “с нетерпением ждал, чтобы кто-нибудь придрался к этому слову и дал мне повод нанести ответный удар таким чрезвычайно приятным способом — отсылкой к письму Пушкина. Уилсон оказал мне такую услугу — ну так примите, сами напросились”[3].

Филд комментирует: “Русские читатели, конечно, прекрасно знают эту крылатую фразу Пушкина”.

Поэтому, позволяя себе нападки на Набокова, мы должны быть очень осторожными. Он шахматный игрок и хорошо обдумывает свои партии. (Филд точно подметил шахматные аллюзии и аналогии в его романах.) Он создал первый русский кроссворд. В этой необычной форме искусства нет места словесной нечеткости.

Гроссмейстер Гумберт за шахматной поверхностью различает ясную стратегию там, где его противник, старый мошенник Гастон, видит лишь “мутный ил и облако сепии”. За сюжетной канвой “Лолиты” скрывается целая “база данных”: коннотации, реминисценции, символы. Филд обостряет наше восприятие подводной жизни книги. Враг и соперник Куильти (qu’il t’y mène — пусть отведет тебя туда) приоткрывает дверь в сюрреалистический мир, где непонятно, кто есть кто, враг — альтер эго героя, а действие напоминает сон. Каждое новое прочтение книги (я прочел ее раз десять), предлагает более внимательный подход. “Бледный огонь” можно распутывать до бесконечности. Эта книга — образец постджойсовской литературы: мы сталкиваемся с праздничным волшебством на первой же странице. Большинство романистов отдали бы все за то, чтобы хотя бы приступить к созданию этой книги, не говоря о том, чтобы дописать ее до конца.

Новый роман Набокова[1] (который, как мы надеемся, он завершит в следующем году) представляет собой “науч-

1. Бёрджесс цитирует полемическую статью “Ответ Набокова” (Encounter, 1966, Vol. 26. № 2, p. 80–89), в которой Набоков полемизировал с Эдмундом Уилсоном по поводу своего прозаического переложения “Евгения Онегина”. Позже, в расширенном виде и под другим названием (“Ответ моим критикам”) статья вошла в сборник “Твердые суждения” (1973). Здесь и далее цитаты из нее приводятся в переводе В. Г. Минушина по книге: Набоков о Набокове и прочем: Интервью, рецензии, эссе / Ред.-сост. Н. Г. Мельников. — М.: Издательство: Независимая Газета, 2002. — С. 551.
2. Старой обезьяны восемнадцатого столетия (*франц.*).
3. Набоков о Набокове и прочем. С. 552.

1. “Ада, или Эротиада” (1969), четвертую часть которого составляет “текст в тексте” — трактат протагониста “Ткань времени”.

ный трактат о природе времени, в котором метафоры и сравнения... постепенно обретают самостоятельную жизнь и маскируются под рассказ, после чего истекают кровью и рассыпаются на части, а затем сходят на нет в заумном эссе, с которого начинается роман". Мистер Филд склоняет голову (и мы вслед за ним) перед новым витком в эволюции жанра, который, по мнению многих критиков, давно умер.

Однако писатели и читатели благодарны Набокову не столько за созданные им новые формы, сколько за его бесподобную уверенность в английском языке, которая ощущается в каждой его книге.

Нам слишком долго твердили о достоинствах простого и ясного стиля (Хемингуэй и Моэм). Сбитые с толку, мы позабыли, что простой и ясный язык нередко бывает вялым и дряблым (по иронии судьбы, этот стиль предпочитали самые хваленые и мужественные авторы). Набоков продемонстрировал, что педантизм может быть щегольски изысканным, а экстаз и великолепный юмор не худшие наложницы. Филд справедливо напомнил нам, что Набоков — один из остроумнейших писателей нашего времени.

Завершая столь необходимое для нас исследование, мы вынуждены переместить выбранный эпиграф в конец текста: "Подходить к романам Набокова без полнейшего смирения не просто самонадеянно, но и глупо". По-моему, слишком сильно сказано. Изречение отдает ученым джойсопоклонством, превращающим статирические и очень человечные книги в сакральные тексты. Набоков дарит нам радость. Правда, весьма своеобразную, представляющую собой смесь любовной интриги с шахматной задачей. В "Поминках по Финнегану" встречается выражение "crossmess parzle" — помесь рождественского подарка (Christmas parcel) с паззлом из кроссворда (crossword puzzle). Эта радость сродни удовольствию, которое мы получаем от Рабле, Стерна, Пруста и Джойса. (Набоков добавил бы к ним Пушкина.) Благодаря Набокову, Америка влилась в великий поток мировой литературы, хотя Набоков *все еще* остается русским писателем.

The New York Times Book Review, 1967, July 2, p. 1, 20

Дурные сны Уильяма Берроуза

WILLIAM S. BURROUGHS *Cities of the Red Night.* Holt, Rhinehart & Winston, 1981

Перевод АННЫ КУРТ

Я с интересом прочел все написанное Уильямом Берро-

One Man's Chorus © ANTHONY BURGESS, 1998
© АННА КУРТ. Перевод, 2017

узом и нередко был глубоко восхищен им. Он очень самобытен. Он слывет певцом наркомании ("Голый завтрак" в ряду прочего рассказывает о власти наркоторговцев, которые могут вас съесть на завтрак живьем). Во всех его книгах присутствует элемент научной фантастики; Берроуз везде узнаваем: голубой огонь вспыхивает из зада, оргазмы чрезвычайно красочны, насилие совершается весьма небрежно. Мы имеем дело не с реальными событиями, а скорее с поэтическими символами ужаса. К сожалению, сундук с его символами наполовину пустой, и повествование нередко кажется довольно однообразным.

Именно поэтому я считаю роман "Города красной ночи" неудачей. Когда на каждой странице нам упорно показывают совокупления гомосексуалистов, вскоре начинаешь зевать. Автор с увлечением описывает, как собирают сперму у повешенных; "сексуальные удушения" — еще одна назойливая и быстро приедающаяся тема.

Теперь читателю хотелось бы узнать, о чем все-таки эта книга. В предисловии автор дурачит нас, рассказывая вымышленную историю капитана Миссьона, который упоминается в книге Дона С. Сейтца "Под черным флагом". В середине XVIII века капитан Миссьон организует пиратское братство. Он поднимает не черный флаг, а белый флаг свободы, убежденный в том, что пираты помогут защитить новую свободу от тирании государства, а Южная Америка — хорошая экспериментальная площадка для изучения человека.

Одна из сюжетных линий романа, в котором переплетаются разные исторические периоды, рассказывает о команде пиратского судна. Они провозглашают свободу, избавляясь от продажных политиков и тиранов с помощью смертельных доз опиума, и проповедуют терпимость ко всем сексуальным извращениям.

Мечта о новом Эдеме, конечно, разбивается вдребезги в нашем падшем мире. Вымышленные города, когда-то находившиеся в пустыне Гоби, становятся рассадниками ужасной болезни, связанной с сексом. Она вызывает отвратительные язвы и извержение семени.

В главах, относящихся к нашему времени, мы вновь встречаемся с Клемом Снайдом по прозвищу Частная Жопа (некоторые персонажи прежних книг Берроуза смешиваются с новыми героями, в том числе с доктором Бенвеем, который однажды заявил, что его первой любовью был рак). Снайд изучает магическую казнь и сам "практикует магию". Позже, где-то вроде Мехико, он получает фантастические книги, рассказывающие о фантастических городах красной ночи, и тогда XVIII и XX века совмещаются.

Если искать мораль в этом запутанном повествовании, то намек на нее можно увидеть в последнем абзаце:

Я вспомнил свой детский сон. Я иду по прекрасному саду. Но когда я пытаюсь дотронуться до цветов, они вянут прямо у меня под руками. Свет заслоняет громадное грибовидное облако, и кошмар-

ное ощущение безысходности захлестывает меня. Немногие успеют пройти сквозь врата. Я, как и Испания, привязан к прошлому[1].

Все это нам хорошо известно. Мы все упустили возможность построить иной, прекрасный, мир и предпочли ему зловонную дурь нашего бесконечного голого завтрака.

Берроуз, несомненно, одаренный писатель, но он избрал для себя минимум интеллекта, поэтому его фантазии — всего лишь произвольный коллаж, в котором нет ничего нового: все те же дозы наркотиков, задний проход, освещенный бенгальскими огнями, или насилие, которое пытается совершить человек с неразвитой мускулатурой.

Книге недостает цельности: она напоминает долгую каденцию барабанщика, играющего на большом барабане с педалью. Возможно, Берроузу необходима богословская система. Блейк был куда более великим фантастом и всей своей жизнью доказал, что ни один поэт, как бы он ни был одарен, не способен создать собственное богословие.

Saturday Review, 1981, Vol. 8, № 3, p. 66

1. Роман цитируется в переводе А. Аракелова. (*Прим. перев.*)

Авторы номера

Николай Георгиевич Мельников [р. 1970]. Литературовед, критик, кандидат филологических наук. Лауреат премии имени А. М. Зверева [2008].

Автор книг *О Набокове и прочем: Статьи, рецензии, публикации* [2014], *Портрет без сходства: Владимир Набоков в письмах и дневниках современников (1910–1980-е годы)* [2013]; редактор-составитель антологий: *Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве Владимира Набокова. Критические отзывы, эссе, пародии* [2000], *Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве И. А. Бунина: Критические отзывы, эссе, пародии (1890-е – 1950-е годы)* [2010], *Русское зарубежье о Чехове: Критика, литературоведение, воспоминания* [2010]. Постоянный автор *ИЛ*.

Энтони Бёрджесс Anthony Burgess [1917–1993]. Английский писатель, критик, композитор.

Автор романов *Время тигра* [*Time for a Tiger*, 1956; рус. перев. 2002], *Враг под покрывалом* [*The Enemy in the Blanket*, 1958; рус. перев. 2002], *Восточные постели* [*Beds in the East*, 1959; рус. перев. 2002], *Заводной апельсин* [*A Clockwork Orange*, 1962; рус. перев. 1991], *Мистер Эндерби изнутри* [*Inside Mr. Enderby*, 1963; рус. перев. 2002], *Влюбленный Шекспир* [*Nothing Like the Sun: A Story of Shakespeare's Love Life*, 1964; рус. перев. 2001], *Эндерби снаружи* [*Enderby Outside*, 1968, рус. перев. 2003], *Наполеоновская симфония* [*Napoleon Symphony*, 1974] и др., многих литературоведческих исследований — о Шекспире, Дж. Джойсе, Э. Хемингуэе. Кроме того, Э. Бёрджессом написан ряд музыкальных произведений, в том числе симфоний. В *ИЛ* опубликованы его романы *Трепет намерения* [1991, № 12] и *Железо, ржавое железо* [2004, № 1–3], статья *Ивлин Во: переоценка* [2016, № 4], эссе *Шекспир как поэт* [2016, № 5].

Переводчики

Елена Юрьевна Калявина
Музыкант, филолог, переводчик с английского и польского языков. Победитель конкурса на лучший перевод стихов Т. Ружевича [2013] и В. Шимборской [2016]. Лауреат премии имени С. К. Апта [2015].

В ее переводах опубликованы романы Р. Кляйн, Э. Страут, Э. Уортон, К. Мак и Д. Кауфман, рассказы Ф. С. Фицджеральда, Э. Манро, впервые на русском языке опубликована поэма Дж. Керуака *Море* из романа *Биг Сур*, переводила стихи У. Блейка, Р. Л. Стивенсона, Э. Дикинсон, С. Тисдейл, П. Г. Вудхауза, Ф. С. Фицджеральда и др. с английского языка, Б. Лесьмяна, В. Шимборской, Т. Ружевича — с польского. В *ИЛ* в ее переводе напечатаны стихи Т. Ружевича [совместно с А. Ситницким; 2014, № 6], Ф. С. Фицджеральда [2014, № 6], Р. Брука [2014, № 8], П. Г. Вузхауза [2015, № 10], В. Шимборской [2016, № 8] и эссе Г. Миллера [2015, № 5].

Александр Александрович Авербух
Переводчик с английского, преподаватель. По образованию биолог.

В его переводе вышли книги Э. Маккинти *Деньги на ветер* [2012] и Д. Лихэйна *Прощай, детка, прощай* [2013]. Переводил также фильмы для студий SDI-Медиа и СВ-Дубль. В *ИЛ* в его переводе опубликованы рассказы Э. Энрайт [2016, № 3], Д. Паркер [2016, № 12] и повесть Р. Форда *Прочие умершие* [2016, № 10].

Валерия Ивановна Бернацкая
Литературный критик и переводчик с английского, кандидат филологических наук.

Автор книг *Четыре десятилетия американской драмы (1950 — 1980)* [1993] и *Онассис: любовь и бизнес* [2000], а также статей по американской и английской литературе. В ее переводе опубликованы произведения Э. Олби, Д. Мэмета, В. Аллена, Г. Брентона, Г. Лавкрафта, У. Фолкнера, Т. Уильямса, А. Азимова, Дж. Болдуина, Г. Миллера, А. Конан Дойля и др. В *ИЛ* публиковались ее переводы повести Дж К. Оутс *Черная вода* [1997, № 3], рассказов Т. Вулфа [1998, № 10], фрагментов биографии *Я, Феллини* Ф. Феллини и Ш. Чэндлер [2002, № 3], фрагментов дневников [2006, № 4], *Дневники (1965—1972)* [2016, № 7—8] Д. Фаулза.

Виктор Петрович Голышев
[р. 1937]. Переводчик с английского. Лауреат премий *ИЛ* [1990 и 1993], *ИЛлюминатор* [1997], *Малый Букер* [2001], *Либерти* за перевод [2003], *Мастер* [2012].

В его переводе изданы произведения Р. П. Уоррена, У. Фолкнера, К. Кизи, И. Макьюэна, Т. Уайлдера, Т. Капоте, Ч. Буковски, У. Кеннеди, А. Ислера, Р. Хьюза, Д. Хэммета, У. Фолкнера, У. Гасса, Дж. Гаррисона, Э. Леонарда, У. Тауэр, С. Сонтаг и др. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Анна Владимировна Курт
Поэт, переводчик, публицист.

Автор сборника стихов *Две розы*. В ее переводе опубликованы *Лекции по русской литературе* В. Набокова, *Прощай, Берлин* К. Ишервуда, *Эссе о литературе* У. Х. Одена, *Капля Божественного меда* и *Познание Востока* П. Клоделя, *Кровь бедняка* Л. Блуа [совместно с Анной Райской], *История свободы* И. Берлина, стихи Д. Сент-Джона, Д. Лемана, Д. Мэйсона. В *ИЛ* опубликованы сонеты Ж. дю Белле [2010, № 6], а также переводы статей литгидов *Полвека без Ивлина Во* [2016, № 4] и У. Х. Одена [2017, № 1].

Светлана Владимировна Силакова
Переводчик с английского и испанского языков. Лауреат премий *Странник*, присуждаемой издательством Terra Fantastica [Санкт-Петербург, 1996], имени А. М. Зверева [2007] и *Иностранка* [2008].

В ее переводах опубликованы романы Д. Адамса, Дж. Барнса, Э. Энрайт, М. Фигераса, П. Теру, Д. Делило, Дж. Сондерса, Д. Шепарда, М. Спарк и др.
Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи.
Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.
Льготная подписка оформляется в редакции
(понедельник, вторник, среда, четверг
с 12.00 до 17.30).

В оформлении номера использованы шаржи Уильяма Раштона, Ричарда Уилсона, Дэвида Левина, KAL'a (Кевина Калахера), MAN'a, Глена Уильямса.

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.
Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Исполнительный директор Мария Макарова.

Адреса редакции: 115035, г. Москва,
Космодемьянская наб., д. 44/2, корп. А
(юридический);
119017, г. Москва, Пятницкая ул., 41, стр. 1, 2
(почтовый);
г. Москва, Ленинградский просп., д. 68, стр. 24,
м. "Аэропорт" (фактический).
Телефон (495) 225-98-80.

Купить журнал можно:
в Москве:
в редакции;
в киоске "Москва" (ул. Арбат, д. 20);
в киоске "Лингвистика" (Библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино Николоямская ул., д. 1);
в книжном магазине "Русское зарубежье" (Нижняя Радищевская, д. 2; м. Таганская-кольцевая);
в киоске "Книжные мастерские" (ул. Тверская, д. 23, в фойе Электротеатра Станиславского);
в Санкт-Петербурге:
в магазине "Книжные мастерские" (Каменноостровский пр., д. 10);
в книжном магазине "Все свободны" (набережная реки Мойки, д. 8, второй двор, код ворот 489);
в книжном магазине "Мы" (Невский просп., 20, 3-й этаж);
в магазине "Книжные мастерские" (набережная реки Фонтанки, д. 15);
в киоске "Книжные мастерские" (набережная реки Фонтанки, д. 49А, 3-й этаж, новая сцена Александринского театра);
в Пензе:
в книжном магазине "В переплете" (ул. Московская, д.12),

Официальный сайт журнала:
http://www.inostranka.ru
Наш блог:
http://obzor-inolit.livejournal.com

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство ПИ № 8С77-63040 от 18 сентября 2015 г.

Подписано в печать 16.01.2017
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 25,20.
Уч.-изд. л. 24.
Заказ № 4725.
Тираж 2700 экз.

Отпечатано в ОАО "Можайский полиграфический комбинат".
143200, г. Можайск,
ул. Мира, 93.
www.oaompk.ru, www.оаомпк.рф
тел: (495) 745-84-28, (49638) 20-685

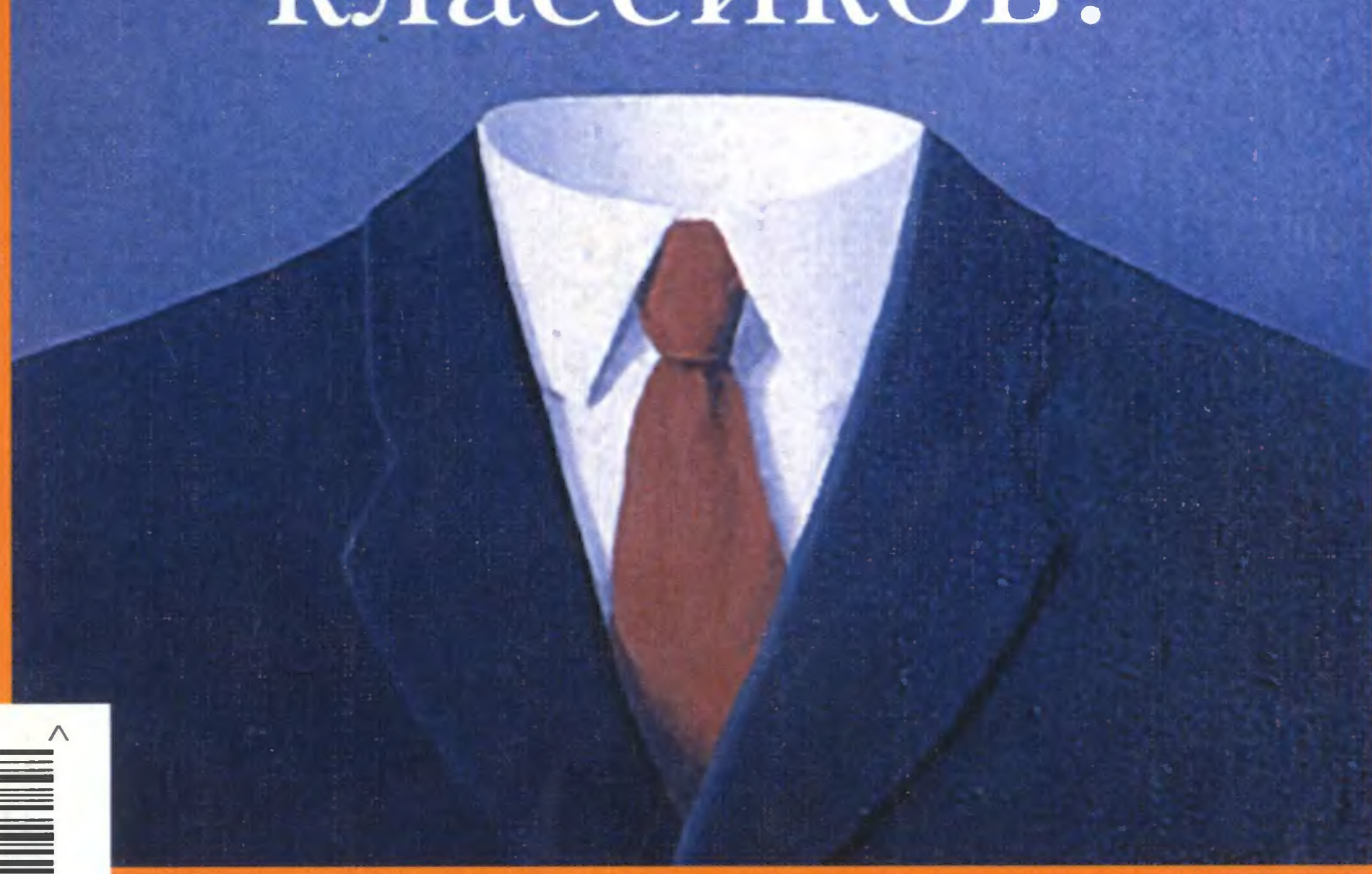
Присланные рукописи не возвращаются и не рецензируются.

[3] 2017

ПЬЕСА ДЭВИДА МЭМЕТА “РОМАНС” / РАССКАЗЫ ХЕЛЛЕ ХЕЛЛЕ / СЛОВЕНСКИЕ ПОЭТЫ В ТРИЕСТЕ: МАРКО КРАВОС И МИРОСЛАВ КОШУТА / РОМАН ЭДУАРА ДЮЖАРДЕНА “ЛАВРЫ СРЕЗАНЫ” В РУБРИКЕ “ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ” / ПИСАТЕЛЬ ПУТЕШЕСТВУЕТ: “АТЛАС РОБКОГО ЧЕЛОВЕКА” КРИСТОФА РАНСМАЙРА

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Узнай завтрашних классиков!



Подписка во всех отделениях связи России,
подписной индекс 70394

Адрес редакции журнала “Иностранная литература”:
г. Москва, Ленинградский проспект,
д. 68, стр. 24, м. “Аэропорт”.

ИНДЕКС 70394

“ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА”, 2017, №2, 1–288

ISSN 0130-6545

ISSN 0130-6545 17002
9 770130 654770